

ГРАНИ

GRANY

36

1957

Postverlagsort: Frankfurt (Main), 1. 10. 1957

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XII

№ 36

Октябрь - Декабрь 1957 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

БОРИС ПАСТЕРНАК — Стихи	3
Л. РЖЕВСКИЙ — Парень из Москвы, повесть	11
Русская поэзия в СССР: А. Ахматова, В. Луговской, Н. Заболоцкий, С. Кирсанов, Л. Мартынов	43
Б. ШИРЯЕВ — Кудеяров дуб, повесть	56

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ.

СЕРГЕЙ МАКОВСКИЙ — Н. С. Гумилев	132
Г. НЕО - СИЛЬВЕСТР — Охтенская «богородица»	153

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ЗАВАЛИЩИН — Александр Блок и русская революция	163
К. ФОТИЕВ — Нетленная краса (О романе Б. Пастернака «Доктор Живаго»)	185

ПУБЛИЦИСТИКА

Н. РУТЫЧ — Россия и революция в 1917 году	194
А. СВЕТОВ — Коммунизм и мир	201
Ю. МАРГОЛИН — О свободе (Окончание)	211

БИБЛИОГРАФИЯ

И. Гусев — «Звезда» — 1957 (Годовой обзор журнала)	224
--	-----

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Документы за октябрь — декабрь 1957 г.	230
Обращение российского антикоммунистического изд-ва «Посев» к деятелям литературы, искусства и науки поработанной России	236

Борис Пастернак

СТИХИ

Из девяти помещаемых ниже стихотворений Б. Пастернака четыре — «Гамлет», «Объяснение», «Осень» и «Земля» по-русски публикуются впервые. Остальные были напечатаны в различное время и в разных советских изданиях. Все девять, как и напечатанные (тоже на русском языке впервые) стихотворения в предыдущем номере «Граней» (№ 34-35) под названием «Стихи из России», являются поэтическим приложением к роману «Доктор Живаго» и взяты редакцией из рукописей, ходящих по рукам в России.

ГАМЛЕТ

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске
что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю Твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма.
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

МАРТ

Солнце греет до седьмого пота,
И бушует, одурев, овраг.
Как у дюжей скотницы работа,
Дело у весны кипит в руках.

Чахнет снег и болен малокровьем
В веточках бессильно синих жил.
Но дымитесь жизнь в хлеву коровьем,
И здоровьем пышут зубья вил.

Эти ночи, эти дни и ночи!
Дробь капельей к середине дня,
Кровельных сосулек худосочье,
Ручейков бессонных болтовня!

Настежь все, конюшня и коровник.
Голуби в снегу клюют овес,
И всего живитель и виновник, —
Пахнет свежим воздухом навоз.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Жизнь вернулась так же беспричинно,
Как когда-то странно прервалась.
Я на той же улице старинной,
Как тогда, в тот летний день и час.

Те же люди и заботы те же,
И пожар заката не остыл,
Как его тогда к стене Манежа
Вечер смерти наспех пригвоздил.

Женщины в дешевом затрапезе
Так же ночью топчут башмаки.
Их потом на кровельном железе
Так же распинаят чердаки.

Вот одна походкою усталой
Медленно выходит на порог
И, поднявшись из полуподвала,
Переходит двор наискосок.

Я опять готовлю отговорки,
И опять все безразлично мне.
И соседка, обогнув задворки,
Оставляет нас наедине.



Не плачь, не морщь опухших губ,
Не собирай их в складки.
Разбередишь присохший струп
Весенней лихорадки.

Сними ладонь с моей груди,
Мы провода под током.
Друг к другу вновь, того гляди,
Нас бросит ненароком.

Пройдут года, ты вступишь в брак,
Забудешь неустройства.
Быть женщиной — великий шаг,
Сводить с ума — героизм.

А я пред чудом женских рук,
Спины, и плеч, и шеи
И так с привязанностью слуг
Весь век благоговею.

Но как ни сковывает ночь
Меня кольцом тоскливым,
Сильней на свете тяга прочь,
И манит страсть к разрывам.

БАБЬЕ ЛЕТО

Лист смородины груб и матерчат.
В доме хохот и стекла звенят,
В нем шинкуют, и квасят, и перчат,
И гвоздики кладут в маринад.

Лес забрасывает, как насмешник,
Этот шум на обрывистый склон,
Где сгоревший на солнце орешник,
Словно жаром костра опален.

Здесь дорога спускается в балку,
Здесь и высохших старых коряг,
И лоскутницы осени жалко,
Все сметающей в этот овраг.

И того, что вселенная проще,
Чем иной полагает хитрец,
Что как в воду опущена рожа,
Что приходит всему свой конец.

Что глазами бессмысленно хлопать,
Когда все пред тобой сожжено,
И осенняя белая копоть
Паутиною тянет в окно.

Ход из сада в заборе проломан
И теряется в березняке.
В доме смех и хозяйственный гомон,
Тот же гомон и смех вдалеке.

ОСЕНЬ

Я дал разъехаться домашним,
Все близкие давно в разброде,
И одиночеством всегдашним
Полно все в сердце и в природе.

И вот я здесь с тобой в сторожке.
В лесу безлюдно и пустынно.
Как в песне, стежки и дорожки
Позаросли наполовину.

Теперь на нас одних с печалью
Глядят бревенчатые стены.
Мы братья преград не обещали,
Мы будем гибнуть откровенно.

Мы сядем в час и встанем в третьем,
Я с книгою, ты с вышиваньем,
И на рассвете не заметим,
Как целоваться перестанем.

Еще пышней и бесшабашней
Шумите, осыпайтесь, листья,
И чашу горечи вчерашней
Сегодняшней тоской превысьте.

Привязанность, влечение, прелесть!
Рассеемся в сентябрьском шуме!
Заройся вся в осенний шелест!
Замри, или ополоумей!

Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковой кистью.

Ты — благо гибельного шага,
Когда житье тошней недуга,
А корень красоты — отвага,
И это тянет нас друг к другу.

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Как летом роем мошкara
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.

Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На озаренный потолок
Ложились тени.
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка
Со стуком на пол,
И воск слезами с ночника
На платье капал.

И все терялось в снежной мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздыхал, как ангел, два крыла
Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

СВИДАНИЕ

Засыпет снег дороги,
Завалит скаты крыш.
Пойду размять я ноги:
За дверью ты стоишь.

Одна в пальто осеннем,
Без шляпы, без калош,
Ты борешься с волнением
И мокрый снег жуешь.

Деревья и ограды
Уходят вдаль, во мглу.
Одна средь снегопада
Стоишь ты на углу.

Течет вода с косынки
За рукава в обшлаг,
И каплями росинки
Сверкают в волосах.

И прядью белокурой
Озарены: лицо,
Косынка и фигура
И это пальтецо.

Снег на ресницах влажен,
В твоих глазах тоска,
И весь твой облик сложен
Из одного куска.

Как будто бы железом
Обмокнутым в сурьму
Тебя вели нарезом
По сердцу моему.

И в нем навек засело
Смиренье этих черт,
И оттого нет дела,
Что свет жестокосерд,

И оттого двоится
Вся эта ночь в снегу,
И провести границы
Меж нас я не могу.

Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?

РАССВЕТ

Ты значил все в моей судьбе.
Потом пришла война, разруха,
И долго-долго о Тебе
Ни слуху не было, ни духу.

И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я Твой завет
И как от обморока ожил.

Мне к людям хочется, в толпу,
В их утреннее оживленье.
Я все готов разнести в щепу
И всех поставить на колени.

И я по лестнице бегу,
Как будто выхожу впервые
На эти улицы в снегу
И вымершие мостовые.

Везде встают, огни, уют,
Пьют чай, торопятся к трамваям,
В течение нескольких минут
Вид города не узнаваем.

В воротах вьюга вяжет сеть
Из густо падающих хлопьев,
И чтобы во-время поспеть,
Все мчатся недоев-недопив.

Я чувствую за них, за всех,
Как будто побывал в их шкуре,
Я таю сам, как тает снег,
Я сам, как утро, брови хмурю.

Со мною люди без имен,
Деревья, дети, домоседы.
Я ими всеми побежден,
И только в том моя победа.

ЗЕМЛЯ

В московские особняки
Врывается весна нахрапом.
Выпархивает моль за шкапом
И ползает по летним шляпам,
И прячут шубы в сундуки.

По деревянным антресолям
Стоят цветочные горшки
С левкоем и желтофиолем,
И дышат комнаты привольем,
И пахнут пылью чердаки.

И улица запанибрата
С оконницей подслеповатой,
И белой ночи и закату
Не разминуться у реки.

И можно слышать в коридоре,
Что происходит на просторе,
О чем в случайном разговоре
С капелью говорит апрель.
Он знает тысячи историй
Про человеческое горе,
И по заборам стынут зори,
И тянут эту канитель.

И та же смесь огня и жути
На воле и в жилом уюте,
И всюду воздух сам не свой,
И тех же верб сквозные прутья,
И тех же белых почек вздутья
И на окне, и на распутье,
На улице и в мастерской.

Зачем же плачет даль в тумане,
И горько пахнет перегной?
На то ведь и мое призванье,
Чтоб не скучали расстоянья,
Чтобы за городской гранью
Земле не тосковать одной.

Для этого весною ранней
Со мною сходятся друзья,
И наши вечера — прощанья,
Пирушки наши — завешанья,
Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия.

ПАРЕНЁК ИЗ МОСКВЫ

ПОВЕСТЬ

*«Мы ходим все, согнувшись до земли,
Мы прячемся, боясь чужого взора».*

Петефи.

1.

Этого юношу, почти мальчика — на вид ему было девятнадцать, не больше, встретил я в . . . (Совсем механически написав эту фразу, вспоминаю, что должен, как это нынче в обычае, камуфлировать обстоятельства этой встречи, всяческие «как», «где» и «когда»; географическая мизансцена, таким образом, будет в этом повествовании произвольна, что впрочем не так уж и важно для общего замысла). Итак, встретил я его в одном отеле, где мы внезапно оказались соседями, так что даже двери наших номеров выходили на общий один балкон. Там я и заговорил с ним, следуя эмигрантскому обычаю пробовать и смаковать случайных гостей «оттуда», как какой-нибудь редкий сыр. Необычайным оказалось лишь то, что мы с ним так уж быстро и обстоятельно разговорились.

Может быть, помогли этому грецкие орехи (их была у меня целая горка, и мы сразу же за нее принялись, одалживая поочередно друг другу щипцы), может быть — то, что оба мы были москвичи, — один, с эмигрантским упрямством, несмотря на многолетнюю отлучку, все еще слышал, казалось, под подошвами шорох московских тротуаров; другой всего несколько месяцев как отбыл из Москвы. Да и внешне что-то в нем меня располагало: и имя — Валерий, и вся его тонкая юношеская стать, а в лице с чуткими прямыми бровями и еще неокрепшим ртом мелькнуло как бы даже нечто знакомое, виденное где-то, когда-то, давно. Словом, мы сидели, перебрасывались недлинные фразы, будто бы и не в чужом краю, а на какой-нибудь подмосковной завалинке, а потом, когда орехи кончились, подошли к перилам — взглянуть на город: над черепичной россыпью крыш и башенок висела словно бы невидимая хмарь, солнечно синяя, однако ж прозрачная, так что выступали сквозь нее и дальние горы, и ломтик озера — все тоже сизое, без яркости, как на флейте сыгранное. Был фён.

— Фён! — сказал я. — Здешняя примечательность. Некоторые от него здесь, говорят, болеют и даже сходят с ума. . .

Внизу, под нами, цепочкой бежали блестящие верха автомобилей. Он сказал, что количество автомобилей больше всего поразило его на Западе. Тогда я предложил поехать, покуда не стемнело, на моей ма-

шине за город — выпить где-нибудь пива, поболтать. Подумав немного, он (к моему удивлению) согласился.

Я повез его на восток, чтобы не било в глаза спускавшееся солнце, в одно живописное захолустье, где бывал раньше. Тоже и в пути говорили мы мало — о статистике (на сколько человек приходится автомобиль здесь и у нас), которую он знал лучше меня, и насчет попутного пейзажа, уже зацветшего кое-где по полям желтыми цикориями и маргаритками. В пейзаже восхищался он, впрочем, больше дорогами, усердно рассматривая устройство моей машины. «А у нас дома «Победа», — сказал он небрежно. — «Зеленая, а колеса розовые, пришлось выкрасить алюминиевой краской. Ветровое стекло у вас лучше, наше было плоское, но вообще недурная машина. . . Я много проездил-таки», — добавил он, ерзая на сиденьи. Не выдержав этого ерзанья, я предложил ему поправить. Мы пересели, и он повел машину весьма легко и бойко, даже слишком бойко, потому что на одном перегоне, прямом и зеркальном, спидометр перелез уже за сто.

Вылезли мы у деревенского трактирчика, игрушечного убранства и размеров, с резными стульями, с рогами на стенках, совсем пустого, как я и предполагал.

— А все-таки вы странный человек! — заявил он вдруг, отхлебнув из каменной пивной кружки и подняв брови: на смугловатых его щеках лежал теперь теплый румянец, а на верхней губе молочными усиками пена от пива, что придавало ему вовсе мальчишеский вид. — Не задаете мне никаких вопросов. Первый раз встречаю, с тех пор как на Западе!

— Каких вопросов?

— Ах, ну разных там. . . Популярен ли Хрущев среди студенчества? почему в Москве модельная обувь? про венгерские события. . . — их штук десять, вопросов, всегда одинаковых, я знаю уже их наизусть и отвечаю, как пластинка. Вы единственный, кого это не интересует.

— Очень даже интересует, но я замечал, что если расспрашивать, самого важного никогда не добыть. Другое дело — рассказ. Вот если бы вы рассказали мне что-нибудь. . .

— Что именно?

— Ну, не знаю. . . Эпизоды какие-нибудь из студенческой жизни, что-нибудь автобиографическое, что запомнилось.

— Да ведь это надо уметь — рассказывать. . .

Подавальщица, хорошенькая девчонка в местном костюме с вышитым корсажем и какими-то бубенчиками, принесла нам соленые крендельки к пиву, и Валерий следил за ее движениями, раздумывая.

— А знаете: у меня и в самом деле вроде как охота вам кое-что рассказать! — начал он неожиданно, кромсая пальцами на скатерти бретцель. — Как вот мы сейчас с вами ехали, и эта пивная и деревня — «все мне на память приводит бывшее», не по сходству, правда, а скорее по противоположности: вспомнил один наш автопробег, втроем, в «Победе», всего месяцев пять назад. . .

— Вот и рассказывайте.

— Не знаю, получится ли. Был этот автопробег для нас, между прочим, вроде первой вылазки «в народ», со многими последствиями, общими, так сказать, личные я отброшу. . . или нет, не удастся, пожалуй, отбросить личное, ну — увидим. «Мы» — это студенты, я, мой

друг Клим и Кира, наша приятельница, все третьекурсники... Нужны анкетные данные? Вот: Клим^а отец был герой Советского Союза, с памятником, потому что погиб в войну. Клим сирота, а брат его — капитан дальнего плавания. А у Киры папаша — полковник в Берлине. Мы всегда держались вместе, вся тройка, нас даже прозвали трех... Впрочем, это не важно... (запнулся он, как я понял, чтобы не называть мне этого прозвища из конспирации, но все равно проговорился потом). Я кивнул ободряюще...

— Чорт возьми, как же начать! — развел он руками и очень хорошо улыбнулся. — Ну, представьте себе октябрьский полдень — собрались с утра, но Кира на три часа опоздала. Дождь. Нет, дождь был накануне, а просто серый московский денек. Про дождь же вспомнилось, потому что — дороги! Мы нарочно поехали, куда глаза глядят, без всякого почти маршрута. Сперва по Ленинградскому, потом поворотили на Волоколамское и с него тоже свернули, проселками... И в общем, знаете, отцовскую «Победу» я за малым не угробил... Нет! — перебил он сам себя, — чувствую, выходит у меня нескладно. А с вами, наверное, держи ухо востро в смысле критики?

Я сказал, что совсем не нужно «востро» и что не жду от него чего-нибудь непременно сюжетного, с «треугольником», а пусть рассказывает, как может, про троих в «Победе». При слове «треугольник» он словно бы немного смутился, разом вытянул пиво и передохнул...

— Так вот к вечеру занесло нас в один заплесневелый городишко. От скачков по ухабам да по булыжнику машину всю разболтало, да не только машину — и нас. У Киры мигрень, Клим уж на что крепок, и тот сдал... Городишко вполне феодальный — настоящая миргородская лужа посреди главной улицы, стоптанные домишки вокруг... Мы думали отыскать ресторан, а потом на ночевку, в гостиницу. Но...

Но тут я переложу его повествование по-своему. (Прошу читателя, если такой случится, прикинуть трудность этой задачи: и не мое — потому что не присочинял почти своего, и не его — потому что пришлось лепить все из кусочков и строить «мостики». Скажу заранее: заинтересовала меня в его рассказе в первую очередь и больше всего именно тема «треугольника», которую он сперва все притупшевывал, а потом уж не мог — на ней и спускался до конца, как на парашюте).

«ТРОЕ В «ПОБЕДЕ»

Они переехали через лужу, разбрызгав во все стороны вздохматившуюся желтую воду. Коза, чисто канатная плясунья, мостившаяся бочком на узкой бровке между лужей и частоколом, ругнулась беззвучно, разъяв чертячье лукавое рыльце, и снова стала оципывать заборные кустики. В Москве об эту пору начинались часы «пик», а здесь ровно все вымерло. Миновав лужу, побуксовали по серому вязкому песку, а выползши, свернули за угол, на главную улицу, судя по каланче и церкви с обкушенным верхом — в перспективе. Машина заплясала гопак во все четыре, взыгравшие по булыжнику, колеса.

— Ва-а-лик! — взмолилась Кира, взлетая на пружинах. — Давайте здесь остановимся. Я, кажется, больше не вынесу...

— Кто хотел непременно Русь деревянную? — спросил, притормаживая, Валерий. — Ты хотела? Значит — терпи! Ну-ну, не хмурься, ладно, причаливаем. . .

Клим вылез первый на досчатый тротуар — доски под ним спружинили, щелкнув, как клавиши:

— Хорошо, когда твердь под ногами! Вон как раз и закусим. Глядите: вывеска! . .

В бревенчатых сенцах ресторанчика пахло капустой; из-за гардины с ободранными кисточками на дверях тянуло синим махорочным дымком. Около вешалки лепился плакат с какой-то цитатой в живописной рамке из фруктов, дичи и вин. Фамилия под цитатой была заклеена.

— «Характерная особенность нашей революции состоит в том, что она дала народу не только свободу, но и материальное благо, но и возможность зажиточной и культурной жизни», — прочел Валерий. — Иными словами: «Ты знаешь край, где все обильем дышит» и так далее. Феодалный плакат! Но — посмотрим. . .

В зале капустно-махорочный дух сгущался до липкости, но было почти пусто: обвалившись плечами, сидел над стопкой рабочий в синем комбинезоне; плоская самокрутка, мокро искуренная, дымила спиральной, налипнув на краешек стола. В дальнем углу два парня в рубахах с засученными рукавами тянули стаканы к третьему, в пиджаке, — угощали, должно быть. Женщина за буфетом, с красной ленточкой по взбукленному лбу, повернула голову.

— «Ты знаешь край, где все обильем дышит». . . — снова протянул Валерий сквозь зубы, оглядывая пустую стойку. — Чем угощаете?

— Винегрет. . . — сказала женщина. — Борщ есть обеденный, если желаете. Ну и, понятно, напитки. . .

— Неуютно, мальчики! — вздохнула Кира. — Тут вот сядем, давайте. Хотя между прочим есть ничего не хочется. Вся как побитая. . .

— Как называется твой доклад в НСО *), «Пути-дороги»?

— «Тема дороги в русской литературе», Валерий, ты же знаешь, — сказала Кира, косясь на синий комбинезон напротив: самокрутка дымила все сильнее и огненный тусклый глазок подобрался уже к скатерти. «А он и не смотрит». . .

— Вот бы и рассказать тебе о нашем автопробеге. Эпиграф из Пушкина «Теперь у нас дороги плохи». Тезис: теперь, то есть сто с чем-то лет спустя, еще хуже, принимая во внимание замену переключенных автомобилями.

— Что ж, если бы тема была такая. . . экономическая, то и рассказала бы.

— Ой ли? Слабó!

— Не зли меня! Я и так сейчас злая. Сам ведь знаешь, что ничуть не слабó. Рассказала бы откровенно.

— Ну и продрали бы тебя с песочком на бюро. В лучшем случае — не заметили бы «откровенности».

— Почему не заметили бы?

*) Научное Студенческое Общество.

— Почему, почему... Потому что — рыжая.

— Валерий!

— Я читал, — вставил Клим, до сих пор все молчавший, — при Петре было будто закон, что рыжий и, если не ошибаюсь, косой «не могут свидетельствовать на суде, понеже Бог шельму метит».

— Клим, и ты! Вот не люблю, милые мои, когда вы начинаете, особенно ты, Валерий, как какие-то... циники. Я знаю, это мой «пунктик», но ведь не нормально то, что мы так привыкли всё замалчивать, вместо того, чтоб... ну, в общем, честно заявить, что ложь...

— Это нам задано, дорогая моя...

— Маруся! Две по двести и три кружечки! — крикнули в углу, и женщина за стойкой прошла туда, позвякивая стопочками. «Сжег скатерть, друг!» — сказала она по пути человеку в комбинезоне, смахнув на пол занимавший Киру окурок. — Человек непонимающе поднял вслед ей лицо с мокрым ртом. — «Пьян... Слава Богу, кажется, она не сет теперь нам»...

— «Ложь — религия рабов и хозяев» — говорится у Горького, — снова начал Валерий, вороша вилкой винегретную лиловую грудку. — Увы! также и наша. Что такое наш «социалистический реализм», о котором мы столько толкуем, все вокруг да около, не по существу? Это реализм за п р е т и т е л ь н ы й. Не важно в конце концов, о чем и как, важно — ч е г о н е л ь з я ни под каким соусом. Чего нельзя — это и есть правда, а писать, значит, воленс-неволенс разрешается только ложь.

— А Дудинцев, например? Написал же правду?

— Что ж, по головке его не погладят. «Табу» нарушать никому не позволено. В этой вот, я извиняюсь, мерзости... — Валерий морщась вытянул из тарелки длинный в мелких масляных капельках волос, — в этом вот винегрете мне разрешается видеть только лишь витамины, а напишу про волос — скажут, что нигилист, особенно если обобщу, так сказать, природу такой волосатости...

— Перемени пластинку, Валерий, — сказал Клим недовольно, покосившись на притихший вдруг столик в углу. — Главный вопрос на повестке другой: винегретом единым мне, например, не насытиться...

— В машине бутерброды, мальчики. С сыром и ветчиной, два часа делала. Или это уж после, в гостинице?...



Стайка ребятишек, налипших было на «Победу», проводила через весь почти город, топоча шоколадными от грязи ногами по узким гнутым мосткам. — В гостинице был ремонт; девочка-портье, похожая на ту, что показывала когда-то Чичикову дорогу к Манилову, молча и заворуженно разглядывала затворы-молнии на валериевой куртке: большой — вдоль и два маленьких поперек, на кармашках. «Может, койки есть свободные, общежитие»? — допытывались у нее. «Не-а»?.. — шмыгала девочка носом, и зеленая капля над верхней ее губой то набухала, то укорачивалась... — Пришлось ехать дальше, чтобы сыскать ночлег засветло. Сразу же за огородами булыжник поредел и, озорно пошвыряв колесами, исчез вовсе. Начался широкий большак,

изрезанный вперекос колеями, как ладонь морщинами; по сторонам бежали оливкового цвета кочковатые поля, вдали уже синие. По-вечернему шелково поблескивали водой ухабы. Перед самым крупным Валерий, загодя втягивая голову в плечи, притормаживал. Впереди, над дальним узким, как бархотка, концом большака, висел дымно-красный слоеный закат.

— Прямо Левитан! — сказала Кира. — И едем куда глаза глядят. Хорошо!..

*

Смеркалось уже, когда подкатили к небольшой деревушке, свернув на травяную обочину у первой же, на отшибе, избы. За колодцем, на куче осиновых плашек, старик в керзовых сапогах и солдатской шапке-ушанке наживлял какой-то длинный заскорюзлый ремень. Услышав «нельзя ли переночевать?», ответил с готовностью, и кругловатые его чуть выпуклые глазки засуетились. Рассказал, что живет бобылем, что «племяш» лет двенадцати сейчас на картошке, что будет сам спать на печи, «а на пол можно настлать соломки свежешней»; повел в избу через темные пахнувшие куриным пометом сени. Изба — комната с печью — ничего себе, чистая, но видно по нескребанным лавкам и столу, что без женской руки. — «Чего? — суетился старик. — Молочка, говорите, барышня? Чего нет, того нет. Не держу коровы, а ферма у нас — три версты, оно, молочко-то и текёт мимо рта. Как говорится, «было времечко, грызла баба семячко, а теперь и жмут, да не всем дают»... Самоварчик вот можно наставить. Разом, только огонь засвечу»...

— Похож на Мусоргского, — шепнула Валерию Кира. — Только борода подлиннее. И старше, наверно...

— Шешдесят! — ухитрился расслышать старик. — Трех войн участник, в последнюю — до Берлина дошел, медаль имею... — Он снял с пустой божницы керосиновую лампешку, поджог, размяв пальцами, узкий фитиль и осторожно, как бы не раздавить, втиснул в зубчики пузырчатое стекло. В вылегший на столе рыжеватый световой кружок вползли вдруг тонкие, подвижные усики.

— Таракан! — сказала Кира упавшим голосом.

— Прусак! — уточнил Клим. — В Пруссии, в бывшей то есть Пруссии, и в Берлине, где мы с Валерием надеемся продолжать образование, их называют «русскими». Между прочим, в первый раз вижу, что ты вроде боишься, Кира. Ночевала ты когда-нибудь в крестьянской избе?

— Никогда прежде. Может, в эвакуацию, но мне тогда было пять лет. Кстати, я не боюсь, а просто противно...

Старик принес самовар, побурчал что-то насчет посуды, которую «окаянный хлопец почитай всю пококал», но отыскал все-таки две кружки без ручек и граненый стакан; от коньяку в валериевой фляге сперва отказался, решив почему-то, что сладкое («не в коня корм»), но потом выпил три крышечки-стопки и оживился пуще прежнего.

— Вы, стало, ребята, московские? Через наш город проезжали ай как?

— Через него, — ответил Клим, жуя бутерброд. — Тоже мне — город! Лужехранилище посреди улицы, и хоть бы одно деревцо высадили.

— Деревья козы обглаживают. Развели их до чорта. А город захирел, это правильно. Электричество и то когда функционирует, когда нет из-за топлива. С этой вот лампочкой Ильича сидят, вроде нас.

— Не дошло сюда, выходит, великое преобразование?

— Ну, как сказать, не дошло... — старик вставил в ухо твердый землистого цвета палец, заболтал им, пригнув голову, так что виден был один только круглый глаз. — Как сказать... В раскулачку преобразовывали, кого побогаче — повытащили, говорится, с корнем... Опять же и при Берии, враге народа, хватали людей порядком...

— Ничего себе толкование социализма! — Кира, ты слышишь?

— Угу! — кивнула Кира, щурясь на стенку, на черные щели и трещины вдоль проконопаченных пазов, где, посверкивая, толклись полированные спинки и усики. — Мальчики, они нас тут сгложут!

— Тараканье? — никак не изведу проклятушших!.. Если очень гребуете, барышня, то можно бы и в нашем сарае, на сене. Вы, вижу, все некурящие...

Старик раскопал и принес — подостлать — какую-то хламидку. От нее отказались — в машине были одеяла и плед. Вышли на улицу, сине-черную, звездную, в крупной холодной росе под ногами. В сарае, подсаживая друг друга, вскарабкались по самодельной лесенке, обрушились в топь. «Голубчики, запах какой феодальный! — закричала Кира. — Я — здесь вот, я заворачиваюсь в плед, а вам — одеяла... Швырни мои туфли вниз, Валик. Ох, как замечательно!»...

— Счастливо переночевать! — сказал старик, прикрывая ворота. — А денек на завтра будет вполне подходящий. Ишь как вызвездило!

Улегшись, долго смотрели на узкую, в густую звездную крапинку, щель между срубом и драночной крышей; тек из нее холодок, пахнувший грибной сыростью, и деревенская чуткая тишина, мешаясь с парным духом и шелестом сена. Говорить сперва не хотелось: только дышать и слушать.

— Вы не спите, мальчики? — начала Кира шопотом. — Во всех впечатлениях разберусь завтра, сейчас не могу... Забавный он, наш этот хозяин...

— Колоритный старик.

— Берлин брал, вы ведь слышали?... Кстати о Берлине. Это когда выяснится, поедете вы за границу?

— В декабре министерство обещало ответить.

— Шансы у вас, я сказала бы, равные... Только вот Валик совсем отстал от актива. Я помню, Сергей Сергеич Тесемкин твердил: «пошлем только лучших из лучших»...

— Актив! — сказал Валерий, и по шороху сена Кира поняла, что даже приподнялся всердцах. — Это как где-то у Лескова, «одна заматерелость в предании и никакой идеи». Остались идеи у нас в комсомоле? Пусть он дает толковое задание, Сергей Сергеич, тогда я готов...

— В общем, я думаю, пошлют обоих. Очень хочу, чтоб обоих... А я поеду в Берлин самотеком. К папке. И будем снова втроем...



В этом, помнится, месте я перебил рассказчика. Во-первых, чтобы съесть что-нибудь — мы заказали девчонке с бубенчиками шницель. Во-вторых — чтобы расспросить про Тесемкина, с которым был когда-то знаком. — Что он, давно у вас в институте?

— Профессор Тесемкин? Года два всего, уж при мне. Секретарь партбюро факультета и читает «марксистскую эстетику».

— Интересно читает?

— Как сказать... Цитаты из Маркса-Энгельса-Ленина, немножко из Плеханова, осторожно, а остальное «от противного», то есть, что, скажем, Шиллер там или Шеллинг — это не эстетика, Кант — тоже не эстетика и реакционно, как и «искусство для искусства», эстетизм и прочие «измы» — у него их до черта... И только заикнешься насчет «формы», сразу попал в формалисты. А между тем разве не ясно, что эстетическое значение имеет именно форма, которая включает содержание, потому что это есть «форма содержания», и значит исходить надо от «как», а если только от «что», то получается Бабаевский... Ну а как вам мой рассказ? Не напрасный труд? Сгодится?

Я похвалил. Попросил только попортретнее — «треугольник» был пока что довольно безличный и вполне, так сказать, равнобедренный.

— Будет и личное. А насчет портретности... Может, я лучше сразу вам их опишу. Например, Клим. Он немножко бирюковат, но имеет неплохой спортивный разряд и значок ГТО второй степени. Начитан, упрям... Что еще? Кира?... эта тоже упрямая. Я уже говорил, кажется, что рыжая, русой такой рыжины... Впрочем... — Подумав, он вытащил бумажник и из него фотографию, протянул мне. — Вот поглядите. Хотя, конечно, полностью не передает...

Фотография, паспортного формата, обрезанная вкрай и в трещинках, и вправду, может быть, не передавала подлинника (стылое лицо в три четверти, толстоватая нижняя губа и много вихров), но я знал, что в жизни такие лица весьма подвижны и переменчивы. У этой, например, жидковатые брови, сплывающие к самой переносице, очень должны быть выразительны. Глаза, может быть, зеленоватые, и когда улыбается, то шевелится кончик носа. Последнее предположение я высказал вслух, и Валерий необычно оживился.

— Точно, шевелится! А улыбается она постоянно, если не злится. Но откуда вы знаете?

— Угадал! — сказал я, возвращая карточку, и он спрятал ее, тщетно пытаясь под небрежной усмешкой скрыть смущение.

— Что ж, буду продолжать? — спросил он.



Проснулись они запоздно. Раньше других — Валерий, которому первому полилось на лицо через щелку под крышей тепло невысокого солнца. И сзади, к лопаткам, прильнуло тепло — Кирина локоть: во сне она подкатилась поближе, по-прежнему закутанная в клетчатый плед, как кокон. Когда он осторожно повернулся на спину, солнце пролилось

и на Киру, раззолотив рыжеватые космы волос и лицо с сонными губами, а поверх зажгло золотисто-синий воздушный косячок с толкущимися в нем пылинками. Валерий тотчас же вспомнил, о чем долго думал вчера, когда остальные заснули, — о том, как Кира сказала насчет поездки в Берлин: «и будем снова втроем»... Втроем! Они давно, со второго уж курса, держатся так вот втроем. В институте кто-то и кличку придумал для них, не без яду, — «Кирики»... Ладно, пусть! Но докуда же так? Среди разных своих увлечений и «побед» Валерий считал привязанность к Кире самым большим, настоящим. Но «победой» Кира ничуть не была. Напротив: иногда казалось ему, что Клим она больше принимает всерьез; иногда — что настоящего чувства нет у нее из них ни к кому; иногда — что она сама «выбывает», колеблется, ждет, что кто-нибудь из них двоих первый нарушит «конвенцию». Да, в общем, конечно — конвенцию: в том, что Клим, молчаливый и сдержанный, любит Киру не меньше, чем он, — Валерий не сомневался. «Конвенция» сперва занимала, была вновинку. Потом стала в тягость...

Он снова приподнялся, вытянул шею: Клим спал, прикрыв голову одеялом; сверху клочками и клеверными сухими головками натрусилось сено. Солнце еще пуще разгорелось на Кирином лице — видны были совсем невнятные веснушки у переносицы, тонина кожи и мелкие, как булавочные головки, капельки над верхней горячей, должно быть, губой. Что-то вдруг зашло у него в груди, не то в горле, мешая дышать. Чувствуя, как сыплется за ворот сено, он потянулся неловко и поцеловал ее в губы, которые сразу же потеряли расплывчатость. Поцеловал еще раз, уже упругие, и почти смятенно увидел, как потекла по ее щекам пунцевая жаркая краска... «Неужто не спала? Ну, пусть, все равно»...

Он лег на спину, стараясь ровно дышать. Муха или шмель — не разглядишь — жужжала прерывисто над головой, пощелкивая сразлету о дранку... Потом он услышал, как Кира зашуршала сеном, высвобождаясь из пледа, села, подобралась к краю, спустив ноги... Съехала вниз и сказала «Ой!»

— Ты что?

— Ногу подвернула. Нет, подожди, не слезай! Ох, как больно... — Охнув еще разок, она открыла ворота, вышла, напустив полный сарай света, так что стали видны над головою стропила, серая чешуя дранки в паутине и мелких щелочках и жужжащая синяя муха.

Через несколько минут Валерий тоже спустился и вышел. Утро было все в солнце, в холодно-осенних деревенских запахах — квелой ботвы с огородов, свежей ржаной соломы и пригретых солнцем бревенчатых стен. Кира сидела боком к нему на осиновых плашках, где сидел вчера дед; обхватив горстью у затылка рыжую свою гривку, расчесывала пушистый султан круглой гребенкой, взблескивающей на солнце. Услышав его шаги, отложила гребенку и, ловко мелькая пальцами, перевязала перехват ленточкой, которую держала в зубах. Чулок с одной ноги она стянула — он висел тут же, на бревнышке, длинный, прозрачный и мокрый внизу от росы.

— Ты что ж по росе босая? Как нога?

— Растянула, наверно, связку. Тут вот, у косточки, — показала она, не оборачиваясь. — Не страшно, уже проходит.

— Дай я размассирую, — предложил он, приземляясь. Но она качнула отрицательно рыжим султаном и подогнула ногу под подол. Он неловко поднялся, ощупывая сразу замокшие от росы коленки.

— Ты зачем это сделал, Валерий? — строго спросила она, глядя на улицу, где копошились куры, ища пригрева.

Он молчал, больше от досады: вот, значит, кончится все головомойкой и — точка.

— Ты что... меня любишь? — продолжала она, все так же не смотря на него, и что-то звякнуло в ее голосе: волнение или, может быть, смех.

— А ты как думаешь? — ответил он грубо, сам для себя неожиданно, — теперь уж несомненно надо было ждать взрыва.

Вместо взрыва, Кира уперлась о плашки ладонями и повернулась лицом, снова высвободив голую ногу.

— Правда, Валик?.. — взглянула она на него снизу вверх, и Бог знает, что именно блестело в ее зеленоватых чуть прищуренных глазах, отчего неловкость его и досада выгорели вмиг, — да, был, пожалуй, и смех: двигался кончик носа, но губы и улыбались, и как-то необычно вздрагивали, растягивались...

Дождаться ответа она не стала — вскочила и пошла к «Победе», на ходу втискивая в туфлю узкую голую ступню и прихрамывая.

— Отомкни мне машину, Валерий. Я там переоденусь, сено натрусилось под платые. Я быстро, сейчас...

Он пошел было к улице, всполошив пригревшихся кур, но вернулся — далеко отходить не хотелось; стараясь не смотреть на ветровое стекло, мутно мелькавшее чем-то белым и розовым, заглянул в черный раструб колодца, дохнувший заплесневелым холодком. Крутанув железную рукоятку ворота, стал спускать вниз деревянную в ржавых ободьях бадейку. Она бесконечно долго сплывала в глубину и наконец глухо шлепнулась днищем, но не потонула; он прикрутил ворот, поднял и снова пустил ее вниз — бадейка накренилась, нырнула, и теперь уж вытягивать надо было напрягшись — даже заныло плечо; но ему сейчас почему-то очень нравились эти усилия и особенно — водопадный шум, журчанье и бульканье, которыми вдруг наполнился доверху колодезный сруб. С натугой втащил он на бревенчатое ребро бадейку, стремительно истекавшую тонкими струйками в щели, как петергофский фонтан. Старик говорил давеча, что эту воду не пьют — кто-то ценят потопил либо кошку. Но можно помыть машину...

Они и начали мыть, вооружившись тряпками, когда Кира кончила с переодеванием. Теперь на ней было что-то толубое, безрукавное, и руки сразу же избрызгались серыми кляксами грязи по локоть.

— Бог в помощь! — крикнул Клим, выходя из сарая и на ходу стягивая через бритую голову майку. — Здорово проспал! Сейчас я только — зарядку и — к вам!..

*

Они едва успели помыться, поливая друг друга, как на улице раздались голоса. Вернулся с картошки старик, забеспокоился, что они еще не поели, долго шарил в закуте яиц, шурша соломой и баня

за глупость и безответственность где попало несущихся кур. Потом, за яипенкой и остатками коньяку, как и накануне, повеселел.

— А вы, папаша, я вижу, передовик? — сказал Клим, кивая на еще свежую грамоту в красных знаменах, прибитую к стенке гвоздиком. — Я, признаться, подумал вчера, что иждивенец.

— Не, милоч. Трудодней у меня хватает. Да прок-то от них... Есть тут у нас парень, один только и остался безусый, на весь поселок. Так как заложит сюда — старик показал пальцем на жилистую шею, — «отдаю, кричит, все свои трудодни за литру!» Вот как...

— Есть же в районе и побогаче хозяйства. Я читал...

— Ну, когда читал, стало есть... А я вот летось ездил к брату в Заволжье. Там, правда, леса, но обратно в колхозе никто не работает. — Уголь выжигают, смолу собирают живицу, церпентин, что ли, ложкарничают, готовят корье, луб... А в колхозе на трудодни хлеба вовсе, бывает, не выдают. Без лесу бы и ноги протянуть...

— Что ж, земля плоха, что ли?

— Она не плоха, она, как бы сказать, обиженная. Кабы ей да язык, она бы криком кричала: отчего мы ее, матушку, не как жену, а как девку гулящую — извиняйте, барышня, — созорничал и пошел... Не в охоту, а вроде как на четвереньках работаем.

— Однако, папаша, хлеба мы в этом году наготовили довольно. Не вы, так другие, — заметил Клим.

— Да кто ж говорит... Оно и на четвереньках наготовить можно. Ну а все-таки... — старик поболтал пальцем в ухе и подмигнул почему-то Кире круглым смешливым глазом, — впрямки да в полную свою волю — было б способнее...

Когда собрались домой, старик поехал в «Победе» до околицы: «Там у меня починка складена — грузовичок рассыпался, кузов. Он и весь-то бросовый, грузовичок, утиль на колесах, да один у нас».

— Новый затребуйте.

— Куды там! Это сколько ж дистанций руководящих ворошить надо! До второго пришествия не добьешься. Небось сами знаете: сурьезный у нас аппарат. Вот тута тпру... прощайте, ребята! — Он выбрался, кряхтя, у последней в порядке избы. На узкой скамейке под окнами свалены были какие-то планки, скобы с гайками и болты. Изба была прежде, наверно, колхозным правлением: на толстой ветле с галочьими серыми гнездами забыто висели две доски — «красная», почета, и «черная», — теперь с одинаковой, беспристрастной щедростью испещренные бело-пестрым пометом.

— Так сурьезный, говоришь, у нас аппарат? — спросил, усмехаясь, Валерий, опустив боковое окошечко.

— Очень сурьезный! — отозвался старик с готовностью, нацеливая в ухо палец. — Оно ж по-другому и не выходит. К казенной, скажем, и гайке надоть приставить присмотрщика, для порядка и чтобы не крали; обратно — инструктора, как завинчивать, да контролера, да буллахтера для учета, да самого главного плановика, чтобы распределять, куда они требуются, — эна сколько начальства. Не протолкаешься!

— Что ж у вас, локтей нету?

— Мы не руководящие, мы производящие. Это другой оборот. Ну, счастливо доехать!...



— Лукавый старикан! — усмехнулся Валерий, притормаживая (дорога шла под гору). «Руководящие и производящие»... А колхоз этот липовый я бы разогнал.

— Да уж ты бы... — пробурчал Клим, устраиваясь поудобнее на заднем сиденьи.

— Ты — против?

— Я за то, чтобы можно было обсуждать свободно, разогнать или нет. — Понимаешь?

— Голубчики, хватит о политике! Поглядите лучше, как красиво!..

Косячок тонконогих сквозистых осинок в красных прядках листа сбегал рядом с ними в низину. Разогнавшись под горку, осинки высыпали на луг, спотыкаясь о кочки: луг тянулся далеко, спереди — стоптанный, в пепельных с прочерью пятнах от летних костров, дальше, где по нему петляла река, — в матовой мелкой отаве, буро-зеленый и дымчатый. Краски везде были словно фарфоровые. («Удивительный все-таки этот наш деревенский пейзаж! — сделал в этом месте Валерий небольшое лирическое отступление. — Я только теперь разобрался, сравнивая. Ведь какой тут экспрессионизм в природе! В сто цветов, а всё как-то смахивает на декорацию. А у нас в общем «рязанские лощины, коломенская грусть», как говорится в какой-то пародии на Есенина, вовсе неярко, а на каждом шагу вспоминается. Въелось...»).

Они переехали мостик с проминающимся настилом и выбрались на чиненый большак. Ухабы и рытвины были здесь, словно нарочно, вытянуты поперек, и машина скакала по ним, скрежеща, как по шпалам. Все устало молчали, даже и на коротких привалах. Оживились лишь, разглядев вдали телеграфные столбы и яркобелые на солнце шоссежные тумбочки, отмечавшие въезд.

— Ну, как, Кира, поездка? — спросил Валерий, расправляя плечи, когда выкатили на асфальт.

— Чудесная! — сказала она горячо, но, поймав его взгляд, вспыхнула, оглянувшись на Клима, и стала смотреть в окно. Редкие, попадались навстречу машины, сплошь почти грузовые с обшарпанными бортами и вмятыми крыльями. Водители их с любопытством пробегали глазами по нарядной «Победе».

— А что мы с вами, мальчики, «руководящие» или «производящие»? — спросила вдруг Кира. — Сейчас, конечно, пока никто, но вообще?

— «Вообще» для старика, вероятно, руководящие, — решил Клим. Все помолчали.

— Радищев, Герцен, декабристы тоже были «руководящие»... в этом смысле, — снова начала Кира, с безмятежностью опуская промежуточные звенья своих размышлений.

— Радищев, декабристы!.. — повел плечами Валерий. — Другое время, другие люди! Готовность была к подвигу, бесстрашие, чувство собственного достоинства... А теперь... «Все тонет в фарисействе», как сказал один поэт, которого мы не печатаем.

— Вот я и говорю: надо начинать с... ну, как бы это сказать, это ведь назрело среди молодежи, ты знаешь... С морального похода на ложь...

— «Похода»? Экая утопия!

— Почему утопия? Как ты, Валерий, не понимаешь. Я говорю о практическом, последовательном внедрении правды...

— Да какой правды? — воскликнул Валерий, и даже машина рванулась вперед, сердито буркнув под прижатой педалью. — Какой правды? Карманной? Для настоящей большой правды есть у нас условия? Скажи ты правду пооткровенней — и ты конченный человек. Отчего наши литературные «пророки» превратились в «блюстителей дум»? Оттого, что запуганы либо задобрены. Это, кажется, Фридрих Второй прусский говорил, что профессора и девку можно купить. У нас купили еще и писателей.

— Так то было прежде... — сказал Клим.

— Постой... Недавно к отцу приходил один из маститых. Не стану фамилию называть, но вы его книжки знаете. Плакался долго, бил себя в грудь, что много-де лакировал, отступая от правды. Я слушал и думал: а кто тебя тянул за язык врать, если ты не куплен? А если ты куплен и дорожишь дачей в Переделкине, то врать станешь и дальше. И что же: напечатал недавно в «Литературной», что социалистический реализм самое для него родное и навек нерушимое... Начал, говорит, новый роман о целине, то есть, значит, будет опять выдумывать показательных героев и клеветать на нас.

— Ну вот, теперь уж и «клеветать»? Все гиперболы... И убавь, между прочим, скорость, а то горячишься, и загремим, чего доброго, в канаву.

— Нет, именно клеветать, я тебе объясню... Вот, например, писатель заставляет девушку, свою героиню, быть «показательно» бдительной. К кому, спрашивается? — К собственному отцу: он, видите ли, по слухам, неверно решает какую-то лесоводческую проблему. Что это такое, по-твоему? Или еще герой, который переживает, что любимая девушка, прихворнув, отказалась притти на идиотский субботник. По-моему, это именно клевета на нас, молодежь. Мы умней. Времена Корчагиных прошли. Это отцы. А дети хорошо понимают, что за родину, в бою, жизнь отдать следует, а за субботники и кукурузу — нет никаких резонов... И нечего подсовывать нам для примера разных кукурузных Мересьевых!

— Опять врешь... Мерсеев — тема подвига, утверждение воли, — заметил Клим.

— И «Старик» Хэмингуэя тоже утверждение воли. Что ж, спрашивается, был бы он со своей рыбиной убедительнее, если бы снабдить его партийным билетом?

— Что ж ты предлагаешь, Валик, практически?

— Ничего не предлагаю, а чувствую... чувствую, например, как это правильно у Гете:

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день идет за них на бой.

— Вот мы и идем... — сказал, помолчав, Клим. — Полегоньку, но верно...

— Я не гожусь в реформисты-постепеновцы...

— Погоди, дай досказать. Идем, говорю, в верном направлении. Стену лбом не прошибаем, на ветряные мельницы не набрасываемся.

— Ну, я на Донкихота не похож! — сказал с досадой Валерий и включил третью скорость.

Шоссе теперь бежало отличное; солнечно мелькали белые столбики на асфальтовых рукавах въездов; свистя рассекаемым воздухом, проносились мимо легковые машины — тонконогие «Москвичи», тяжеловатые «Зимы» и «Волги»...

— Смотрите, уж Москву видно! — сказала Кира.

В самом деле: над лиловой слоистой далью, в которую втекало шоссе, прозрачно синели контуры высотных зданий. Еще немного — по сторонам побежали белые блоки рабочего поселка. Наконец началась и московская улица — такая обычная для московских окраин смесь облупленных домиков и громадин в сухой штукатурке, с гранитными цоколями. Они обогнали желто-синий блестящий лаком троллейбус и стали: первый милиционер, подняв палочку, словно перекинул с нее в светофор красный тугой огонек.

— Вот она, Москва моя милая, — вздохнула радостно Кира...



Когда Валерий кончил, уже темнело — оленьи рога на стенах трактирчика стали таять и словно куститься в потемках. Мы довольно долго молчали: он, верно, вспоминал дальше свое, я — рассказанное. Не то чтобы нашел я там особенно много новостей — к этому времени можно было уже прочесть кое о чем (в том числе и о «руководящих-производящих») в некоторых «оттепельных» произведениях и между строк, — но, например, разговоры «тройки» мне были вновь (так в мое время не разговаривали), и особенно захватил колорит: на другой еще день, в самолете, глядя из-за облаков на так плотно обжитую немецкую землю, всю в пестрых клинушках и белых жилках дорог, — представлял я себе «деревянную» Русь, в стороне от «бобровой шапки», непролазные ее большаки и проселки, по которым вот уже сколько лет скачет и не может доскакать до человека электрический свет. Вечером, под крылом самолета, рассыпался этот свет бисером по бархатной черни земли, бежал во все стороны как на машинке простроченными, золотыми стежками фонарей — и я мысленно помещал на невидные улицы зеленую забрызганную грязью «Победу»...

— Вы, конечно, понимаете, — сказал я Валерию, — что очень меня разохотили слушать. Это ведь была только завязка. Что будет дальше с «треугольником», заграничной поездкой — и прочим — мне совершенно необходимо услышать. А завтра утром я улетаю.

— Знаете, — сказал он, подумав, — а может, мы и еще раз встретимся? Вы ведь в Англии живете, мне говорили? (при этом «говорили» я, по привычке, насторожился: кто это «говорил?»). У меня как раз через пару месяцев туда запланирована поездка. Студенческий один съезд. Вот если бы знать адрес либо телефон, я бы... Тут он, в свою очередь, вдруг замялся немного, но в таком, я бы сказал, симпатичном замешательстве, что моя настороженность исчезла (и что, в самом деле, какой там секрет — все равно, в любом найти можно справочнике!)...

2.

Словом, мы встретились с ним в ту же весну, в мае, сперва — там, где вообще нельзя было разговаривать: в библиотечном зале. Позже, в курилке, выслушав наскоро дорожные всякие его впечатления, я сразу же перешел к «Трое в «Победе» и — продолжению.

— Я уже думал об этом, — ответил он с готовностью, — на случай, если встретимся... Я могу поотстать от своих до следующего парохода. Потом догону в К. Два часа в нашем распоряжении, если хотите...

— Скажите, пожалуйста, поточнее, что такое собственно «фён», — спросил он меня шопотом, уже снова в читальне. — Помните, фён был, когда мы в первый раз виделись...

Я нашел на полке и раскрыл перед ним «Краткий словарь иностранных слов» московского издания. Там стояло:

«Фён — теплый и сухой ветер, возникающий при наличии более или менее значительной разницы атмосферного давления по ту и другую сторону горного хребта, горной цепи и т. д.»

— А ведь ловко подходит! — зашептал он обрадованно. — Я между прочим и собирался как раз рассказать вам про эту «разницу давлений» и всякие там ветры с Запада, через границу, и как мы это у себя ощущали и реагировали... Мы, то есть все та же наша тройка. Но это, конечно, после, когда будем вдвоем...

Затем нас (то есть их, а я присоединился) повели узкими переулочками к университету. Осмотрели аудитории, профессорскую, где по стенам, в хронологическом порядке, висели огромные портреты университетских канцлеров, в том же порядке теряя пышность причесок и одеяний — от волнистых париков ниже плеч и малиновых мантий на горностае — до современных проборов и фраков. Оттуда пошли в собор и поспели (было двенадцать) как раз к бою часов: высоко в каменном полумраке двое всадников-рыцарей, сражающихся вот уже пять веков, двенадцать раз с металлическим хрустом скрестили шпаги; герольды протрубили в тонкие трубы сигнал, подхваченный каменным эхом — открылись дверцы — и вокруг Богородицы на престоле, по полукружью, проплыла вереница приносящих дары... Потом, когда другие вместе с прочими зеваками повалили к главному выходу, мы вышли через боковой. Сели у соборной стены, отыскав свободный кусок скамьи. К нашим спинам приныкал каменный шестнадцатый столетний холодильник, а спереди резал глаза голубой теплый воздух с ветряным привкусом недалекого моря и весенней суетой: тяжело перелетали из парка в парк декоративные утки, сновали, постанывая, чайки...

— Так начинать? — спросил Валерий, потягиваясь. — Значит — про фён. То есть про венгерские дни у нас и как все переполошились. Только и разговоров, что про Венгрию. Наслушаются дома «Голосов», и потом друг другу — новости, слухи. Дискуссии шли, конечно, закулисные. Вы ведь знаете наш институт, эти полукруглые коридоры на антресолях? Так вот из вестибюля снизу видать: там станут двое, шепчутся, там — целая группка. Были и вопросы на лекциях, и наверно что-нибудь «нездоровое», потому что руководство решило провести факультетское собрание. Это, помню, уже много после праздников, во второй, кажется, половине ноября. Народу нашло битком, на окнах

даже сидели, наверно и с исторического пришли... Они пригласили генерал-полковника Н. — слышали, верно? — он был начштаба какого-то Украинского фронта, когда наши освобождали Венгрию и Будапешт. Об этом и был доклад, понимаете, чтобы отвлечь... А потом говорил профессор Тесемкин, он же и председательствовал... Чорт возьми! У меня весь рассказ начинается с этого самого собрания, но как же о собрании расскажешь? Мудрено!

— Да вы как-нибудь, отдельными штрихами, а я уж после разберусь, что к чему... (Опять рассказываю своими — и не своими — словами его историю).

Ф Ё Н

«Ленинская» аудитория (Ленин когда-то здесь выступал), самая крупная из всех, с хорами и ступенчатыми рядами вниз, выходящие гудела и шаркала. Валерий вошел в самую верхнюю боковую дверь и сразу же отыскал глазами рыжеволосую голову Киры в одном из средних рядов. Сел, однако, сам у стены, на последней скамейке: они сговорились все трое не очень держаться вместе на глазах в институте. Стол президиума на эстраде был еще пуст, но в глубине главного входа, рядом с цоколем ленинского памятника, золотели погоны докладчика — с ним стояли Тесемкин и Бычко, секретарь комсомольского курсового бюро. Кири́н пушистый плюмажик, подхваченный на затылке голубой лентой, летал то вправо, то влево: кого-то высматривала среди входивших. Бритая голова Климá вдруг показалась справа вверху, на хорах. Сощурившись, он повел по рядам глазами, разглядел Киру, махнул ей рукой, и она положила на свободное место рядом с собой черную лакированную сумочку. Через полминуты Клим появился в дверях и стал протискиваться по ее ряду, чуть сутуля широкие плечи. «Зачем это он? ведь мы же улаживались»... — удивился Валерий, без всякой, впрочем, досады: товарищеская честность Климá была без сучка, без задоринки; теперь, после «выбора» Киры, он был по-прежнему дружелюбен и ровен, и как ни в чем не бывало, бросил им недавно «Привет!», встретив в фойе Колонного зала, на концерте. В следующем антракте они тоже сошлись втроем и говорили о рембрандтовской выставке. «Вот выдержка! А ведь он ее любит»...

В вестибюле затрещал звонок, последние кучки курильщиков протиснулись в зал и лесенкой стали вдоль стенки. Двери закрылись. «А ведь все чего-то волнуются!» — подумал Валерий, глядя на Тесемкина, с напряженным лицом поднимающегося на эстраду — открывать собрание, и на двух черноволосых первокурсниц впереди, сидевших, как на иголках, — до него то и дело долетал их шопот и запах дешевых духов. Профессора встретили жидким хлопком, и еще раз похлопали — когда утвердили президиум. Одна из беспокойных голов впереди наклонилась к другой, Валерий услышал слово «волынка» — и тут же мелькнул полупрофиль с пальцем, предостерегающе прижат к губам. Ему пришло в голову, что вот, может быть, и Клим уселся с Кирой, вопреки уговору, чтобы предупредить какую-нибудь выходку с ее стороны во время этого митинга — с нее ведь станет... Он машинально беззвучно поаплодировал (на кафедру взобрался до-

кладчик) и тут же решил, что да, так именно и получилось: Клим подсел для опеки, на него это очень похоже; но почему у самого Валерия заботливости такой не нашлось? Нет, бесспорно, Клим из них двоих был наиболее «положительным» героем... Отсюда виден был его бритый круглый затылок и крупные плечи — есть в них что-то надежно-спокойное. Кирия рыжий султан неподвижен: глядит, как докладчик раскладывает перед собой записки, брошюры с закладками; вот вешает карту. Бычко ему помогает. Снова идет за кафедру, наливает воду в стакан. Откашливается... Еще раз откашливается... Начал!

Генерал читал по бумажке, сиповатым голосом, и только когда брался за указку, чтобы показать на карте маршрут или рубеж обороны противника, — начинал помыкивать, запинаться, словно съезжая с рельс, и — оживал. Доклад о так называемой «Будапештской операции 1944 - 45 года» оказался совсем не «сухомятиной», как предполагал Валерий. Рассказывая об ударе Толбухинских войск Второго украинского фронта на Мишкольц и форсировании Дуная, докладчик сам волновался, нервно дыша, и все были сильно захвачены. Когда же генерал, сведя вместе ладони, протаранил над кафедрой в воздухе воображаемую линию «Маргариты», по залу прокатились хлопки. Однако потом, рассказывая о боях в самом Будапеште, он почему-то увял, и доклад затянулся. Когда кончил, хлопали дружно, но и с облегчением, и гудящая пауза затем показалась особенно напряженной и выжидательной. Тесемкин аплодировал дольше всех, подняв ладони над самыми генеральскими орденами. Валерию показалось: он все поглядывал на стол президиума, где с краю лежала всего одна единственная записка-вопрос. «Рассчитывали, наверно, на больше вопросов — и сорвалось! Придется Сергей Сергеичу теперь самому выкарабкиваться»... Так и вышло: перешепнувшись с кем-то в президиуме, Тесемкин оперся разведенными руками о край стола, качнувшись вперед. — Товарищи, — начал он и недовольно отодвинул в сторону графин с водой, услужливо подставленный Бычко. — Прослушанный нами доклад особенно ценен сейчас, когда, как вы знаете, распоясавшиеся реакционеры в Венгрии взорвали памятники советским воинам, павшим в боях за освобождение венгерского народа от гитлеровских орд...

Говорил Тесемкин броско, с нажимом, слегка сбывчив голову с запавшим подлобьем и лишь изредка разрешая себе в конце фраз митинговые протяжные интонации. «Под Ленина», — подумал Валерий, — «впрочем так же говорит он и на лекциях. А фразы все понабрал из газет. Удастся ему этим отделаться?» — В тишину зала уже вползал тот особый шершавый шумок беспокойного шевеленья и шопота, который обычно возникает с окраины к центру, не наоборот, и всегда означает неодобрение аудитории.

— Имре Надь оказался пособником контрреволюционных сил, — говорил Тесемкин; руки его, пружина в локтях, все сильнее упирались в красную скатерть ладонями. — По просьбе народного правительства Венгрии правительство нашей страны дало согласие на ввод советских военных частей, чтобы помочь венгерской народной армии...

— Какого «народного правительства?» — шепнула, вскинувшись, черноголовая первокурсница впереди, а в зале плеснулся сдержанный гул.

— Профессор! — слетел с хор звонкий девичий голос. — Можно просить вас — поуглубленное. Официальная информация хорошо нам известна.

— Верно, известна! Все знают...

— Зачем повторяться!

— Ти-ше!..

— Как понимать ваши слова о венгерской народной армии? Она, значит, против мятежников? — перекрывая говор и шиканье, спросил другой голос, мужской, тоже откуда-то сверху.

— Вопросы, товарищи, в письменной форме! — поглядел на хоры Тесемкин, и скатерть под его ладонями собралась в складки. — Я скоро кончаю...

«Да, уж, разумеется, в письменной форме... Сейчас накидают!» Как ветром поддутые, полетели к столу президиума, кувыркаясь через спины и головы, белые хлопья записок. Бычко, расправляя, клал их около графина. Гул стоял теперь в зале негромкий и ровный, как зыбь, равнодушный, казалось, к падавшим в него словам...

— Ход событий в Венгрии привел к полному поражению реакции. В Будапеште установлен порядок. Его нарушают только отдельные банды уголовных преступников, выпущенных контрреволюционерами из тюрьм...

«Ведь какая школа!.. Ползалы знает, что бои продолжаются, а ему нипочем, врет и не кашляет! Вот и эти, впереди, знают, шерочка с машерочкой, и этот, рядом со мной...» — думал Валерий, читая на лицах вокруг то самое выражение неловкости и досады, которое, должно быть, было у него самого. Ему казалось, что даже генерал, сидевший рядом с Тесемкиным в президиуме, побагровев и напрягившись, красен так потому, что ему совестно. Вытянув шею поверх двигавшихся голов, Валерий нашел Киру — султан торчал на самой макушке: она тоже писала записку — Клим, наклонившись, заглядывал через ее плечо. Их, записок, с завивающимися краями, лежала теперь на скатерти целая горка — Бычко все подкладывал, прижимая ее тяжелой стеклянной пепельницей. «Кажется, он закругляет, переходит в контр-атаку... Ага! «Неустойчивые элементы, поддающиеся провокационным вражеским слухам»... «Элементы» это, конечно, мы... А щеки у него серые, и вообще не хотел бы я быть на его месте перед этой горой записок. Ладно, посмотрим»...

— «В коммунистической партии Венгрии было 900 тысяч членов. Объясните их позицию в отношении путча», — прочел Тесемкин первый вопрос и, опустив руку с запиской, провел по губам языком. — Товарищи! В ряды Венгерской социалистической партии просочилось немало людей непроверенных, слабо подкованных политически...

— Также «утоловников»? — спросил кто-то над самой головой Валерия, с хор. — Негромко и словно про себя, но услышали многие. В зал сверху прыгнул смехок, побежал по рядам, навстречу шопоту («Что? что он сказал») и возгласам: «Не мешайте профессору гово-

рить»... Нахмурясь, Тесемкин бегло просмотрел две-три верхние записки, сунул их снова в горку и взял следующую... Но тут уже заговорили и закричали сразу в разных концах:

— Не выбирайте вопросов!

— По порядку, пожалуйста...

— Без пропусков... Про-о-сим...

— Многие вопросы идентичны, товарищи! — поднял руку Тесемкин. — Или затрагивают частные мелкие факты. Отвечать на них у нас просто нет времени... Вот, например, вопрос о позиции венгерского писателя Ацеля...

— Сталинского лауреата! — крикнули с задней скамьи.

— Да, лауреата... Но у меня нет о нем позднейших данных, товарищи...

— Ответьте вообще о писателях!

— О венгерской интеллигенции!

— О студентах!

— Про-осим...

«Ну-ну, разошлись»... — подумал Валерий, глядя почему-то, главным образом, на Бычко, застывшего у стола президиума с очередной запиской в руках и раскрытым большим ртом, — вряд ли эта аудитория, с тех пор как получила почетное имя «Ленинской», когда-нибудь так гудела и шаркала. Он заметил вдруг, что и сам тоже возит подошвами по полу, стараясь производить больше шума... «Теперь у Сергей Сергеича один только выход: бить челом генералу, чтобы ответил на пару вопросов попроще. Ага, так он и делает!»...

.

— Мою записку — я видела — он под самый под низ положил! — кипела по лестнице Кира с пунцовыми щеками и распушившимися вокруг лба вихорцами. — Почему?? И эта резолюция, которую мы приняли!.. Что ты хмуришься, Клим, никто же не слышит сейчас, такой гвалт... — Пойдемте в буфет, мальчики. Умираю — пить хочу!

В буфете, однако, по случаю собрания стояла крутая толчея, и все было мигом выпито и съедено. Очередь, в которую стал было Клим, рассыпалась, прежде чем он добрался до стойки.

— Домой как-то сейчас неохота. У меня редколлегия, но не пойду тоже... Не терплю между прочим нашего редактора: «умные» очки и говорит всё цитатами. Это он, кстати, придумал нам прозвище «Кирики».

— Из ревности?

— Нет, он давно перевлюбился: я как-то ему заметила, что если всё будет цитировать — не скажет в жизни никогда ничего оригинального, — с тех пор... Так что ж будем делать?

— А поедем ко мне на дачу! — предложил Клим. — Всего полчаса на электричке. Пейзаж живописный: снег лежит. В метро напьешься, а у меня закусим. Идет?

Она подумала немного, наморщив переносицу.

— Ищите мне пятнадцать копеек на автомат. Позвонить маме. .



За городом действительно белел первый непрочный снежок, желто таял на дорожках, мешаясь с глиной, а под придорожные елки еще не успел подобраться, и они стояли в сине-зеленых травянистых кружках, как на подставках.

— О чем же был твой вопрос? — спросил Киру Валерий.

— Об этом правительстве, которое попросило у нас поддержки. Откуда взялось и какие у него сторонники.

— В Венгрии, я слышал, шутят, что кто найдет в народе хотя бы одного сторонника Кадара, тому выдадут премию, — сказал Клим.

— Где это ты «слышал»?

— В «Голосах». Сегодня передавали о венгерских событиях. Между прочим часа через три повторят. Если хотите, можно будет послушать.

— Спрашиваешь!.. Нам папа прислал приемник, тоже немецкий, но что-то в дороге испортилось, и молчит... Ах, это собрание! Ну к чему такая информация, ведь бессмысленно?

— Резолюция принята единогласно. Значит, не бессмысленно.

— Я руки не подняла, спроси Клима.

— Ну, ты, ты... Много ли таких!

— Будет много, я знаю... Между прочим, недавно нашли в «Литературной» стихи, тебе не попались, Клим? — автор ищет в сугробах подснежник, понимаешь — в сугробах, потому что верит в неотвратимость весны. Я конец даже запомнила, вот... — Она подкинула вверх подбородок, прочла:

И так я верю в это чудо,
Так я хочу его найти,
Что каждый день, наверно, буду
В сугроб сворачивать с пути.

Я верю! Хоть нельзя проверить,
Найти и к сердцу приложить...
Мне просто нужно в это верить,
Чтоб ждать, мечтать и честно жить...

— Верно, хорошо? Клим, твоя ведь дача у леса. Есть у тебя мелкокалиберная? Мы сходим поохотиться...

— Это, собственно, заповедник. Но — можете. Здешний лесник — мой приятель, а главное — все равно ничего не убьете...

Убили белку («Варварство, конечно, но мы закажем чучело, мальчишки!»), и она, в слипшихся капельках крови и талого снега на шкурке, свешивается с подоконника, похожая, если не замечать хвоста, на крысу. Кроме нее, в дачной комнате Клима все очень уютно: постреливающая искорками печка-временка (Клим растопил ее шишками), желтый кружок на письменном столе от лампочки вполнакала, остальное — в полупотемках: книги, приемник в углу, диван, на кото-

ром можно с ногами, и за теплой створчатой занавеской кусок синего черного холодного стекла в лес.

— Всегда у тебя так тихо, Клим?

— Зимой. В остальные сезоны — лягушки рядом, в пруду. Только недавно заглохли. Ты чего скис, Валерий? Хочешь коньяку? Как раз есть по рюмке.

Валерий не скис, — он весь, как под парным душем, в неожиданном уюте дивана, полумрака и Киры рядом. Он чувствует рукой ее поджатое колено, ее тепло, ему хочется придвинуться к этому теплу как можно ближе, теснее, тоскливо оттого, что этого сделать нельзя, и стыдно перед Климом за это чувство... «Ладно, пусть лучше считает, что скис», — думает он, и зевает:

— Коньяку так коньяку.

— Выпейте, милые, за встречу в Берлине. Или за мою контрольную по французскому. Ох, через две уже недели!

— Что вы читаете?

— «Человек, который смеется». Адаптированное, правда, издание, но...

— Ладно, за Берлин и за «Человека, который смеется». Подняли! Из печки выпрыгивают красные искорки; пахнет горелой хвоей.

— Так как же, — смотрит Клим на часы. — Слушаем «Голоса»? У меня видите, какой заграничный комод. Брат привез...

Огромный «Сименс» с двумя откидными створками, похожий немножко на ленинский мавзолей, потрескивает и ухает. Зеленый глазок взмаргивает судорожно, потом застывает, распрялясь. Тягучее «гау-гау-гау»... втекает вдруг в комнату, пухнет в ноющий гул — словно огромный танк-амфибия где-то там, в беспредельности, плывет по эфирным волнам, плюща их гусеницами. Гау-гау-гау...

— Ну, это голос — отечественный! — говорит Валерий.

— Отстроимся... — Обычно это циклами, потом отходит. Они сейчас должны повторить «Хронику будапештских событий»...

Гау-гау-га...

Рев будто сворачивает в сторону, и, выскочившись, выплывают слова — русские слова из нерусского далека. Вздрагивает зеленый глазок, вздрагивают все трое.

«... Ночь с третьего на четвертое ноября — говорит женский вибрирующий голос, — Будапешт в железном кольце... Революционные силы готовятся отстоять свою свободу...» Гау-гау-гау...

— Эх, глушат! За одно только это глушение я бы...

— Молч-ч-и, Валик!

«Воскресенье, четвертое ноября... В шесть часов утра улицы города заняли советские танки. Революционные силы — армия, милиция, отряды молодежи отказались сложить оружие... Идут бои на приступах к зданию парламента, где заседает правительство Венгрии... Советские танки...» гау-гау-гау...

— Клим, миленький, ради Бога... неужели нельзя как-нибудь...

«Воззвание Имре Надя, в котором он умоляет советских солдат и офицеров не стрелять в народ, остается без ответа. На улицах Будапешта льется кровь венгерских патриотов... гау-гау... Радио «Петефи» передает обращение венгерских писателей ко всему миру о помощи...» Гау-гау-гау...

Рев ожесточается, слова гложут. Не оборачиваясь, Клим говорит скороговоркой, и пальцы его на рубчатом регуляторе вздрагивают:

— Тут у них... один эпизод драматический... Несколько отчаянных голов остаются в осажденном здании... Понимаете? радируют до последнего... Вот...

Выплывшие слова — уже венгерские — звучат глухо, прерывисто, в странном эхо и рокоте. Торопливый, срывающийся голос переводит по-русски:

«Советские танки подошли к самому зданию... Нашим юношам и девушкам на баррикадах нечем отстреливаться, у них почти нет оружия... Мы не знаем, сколько продержимся, но мы решили держаться до конца... Гау-гау-гау... гау-гау-гау... Всем, кто слышит нас... гау-гау... Советские танки открывают огонь... Всем, кто слышит нас, всем друзьям... Спасите Венгрию!»

— Документальная запись... — бросает Клим сквозь зубы. — Слышите: выстрелы...

— Наши? — спрашивает Кира свистящим шопотом, со сплетенными втиснутыми в круглое колено пальцами кренясь навстречу зеленому глазку. — Клим! Мальчики! Неужели, неужели — наши?

«Советские самолеты бьют из бортовых орудий... Мы слышим крики и стоны раненых... Наше здание горит... Братья, мы боремся за свободу Венгрии, мы боремся за свою свободу...»

Глухие залпы. Сквозь них — выкрики. Валерий чувствует вдруг, что ему трудно дышать. Тепла вокруг уже нет — по спине — зябкие струйки. Кирина щека рядом совсем белая, мраморная.

«Ко всем, кто нас слышит... Спасите Венгрию! Помогите нам!.. Помогите...»

Гау-гау-гау...

Слова тонут, раздавленные. Минута, другая... Нет, не возвращаются. Танк взял верх. Слышно только, как продирается он в эфире, воя и грохоча по небесным обочинам. Сквозь его завыванье, у уха Валерия — судорожно-сдавленный всхлип. От него в комнате словно вдруг становится холодно. Кира плачет. Все так же, не мигая, глядит на вздрагивающий зеленый глазок, а по щеке влажная дорожка, на нижних ресницах — крупная, с чечевицу, слеза, не успевшая скатиться. Клим с серым лицом, стараясь не глядеть в их сторону, поднимается с колен, прикручивает регулятор. Теперь тихо, и снова слышно, как трещат в печке шишки.

Кира порывисто тянется за платком в сумке, переводит дыхание, спрашивает, по-прежнему шопотом:

— Мальчики... Это можно забыть? А? Можно, если хоть раз услышал? — И, вытерев щеки:

— Это все, Клим?

— Должен, помнится, быть еще комментарий. На ту же тему. Но — стоит ли?

— Нет, включи обязательно. Есть у тебя бумага? Я, может быть, застенографирую. И этот твой карандаш четырехцветный. Спасибо... Вот, кажется, начинается...

В приемнике опять женский голос. Отчетливо:

«Четвертого ноября танки и пушки советской армии задушили национальную свободу и независимость Венгрии, добытую кровью всех слоев населения»...

.

— Для чего ты это записала? — спрашивает Клим, когда они уж собираются на поезд. — Дай-ка сюда, я порву.

— Нет, оставь. Ты думаешь, кто-нибудь, кроме меня, может расшифровать такие каракули? Вообще-то говоря, надо бы даже и распространить. Назло нашему сегодняшнему собранию. Вывесить, например, на доске...

— Слабó! — говорит Валерий.

— Ты что ее подна... подзадориваешь? — поворачивается к нему Клим, и впервые со времени их дружбы Валерий в его серых сузившихся глазах видит неприязнь, почти ненависть. Впрочем, это тотчас же исчезает. Может быть, только показалось...

— Я же шучу! — пожимает Валерий плечами.

— А я — нет! — встряхивает Кира рыжим султаном, и обернув вокруг четырехцветного карандаша исписанную бумажку, кладет ее в сумочку.

— Проклятый карандаш! — сказал Валерий, когда мы добрались до этого места в его рассказе. — Заграничная выдумка, с четырьмя графитами — черный-синий-красный-зеленый, но в общем — жестянка, пружинки постоянно слабеют. Подумать только, что из-за такой петрушки чуть все не засыпались. Да... Вы верите в случай, «Его Величество случай», управляющий судьбами? Я лично думаю, что верить в случай нельзя, можно только признавать, иногда — предвидеть... Кстати, не тронуться ли нам? Било уже, кажется, два. Не знаю, как поспею рассказать, что хотел, еще три — нет, даже четыре эпизода, а мне только час остался... Я буду коротко, отрывками, самое нужное...

Он и рассказывал эти свои эпизоды «отрывками», покуда шли на вокзал; последние два уже в вагоне — пришлось проводить его до пристани, чтобы дослушать до конца. Так же мозаически, вперемежку с его отступлениями и нашими разговорами, записываю его повествование.

*

— Когда мы снова с ней встретились, с Кирой? — На другой же день после дачи, в институте, утром. Было «окно», какая-то лекция выпала, и я пошел в читалку. Там она и сидела, Кира, за пустым столом, над французскими словарями и переводами. Я, помнится, взял «Известия» просмотреть — так, у стойки, но она показала глазами, чтобы сел рядом. Сейчас же заметил, что какая-то беспокойная, словно вся на шарнирах, и то и дело глядит на часы, на свои и над дверью, знаете — как на экзаменах, когда вот-вот позовут. Но, разумеется, и в голову мне не пришло, в чем тут дело...

— Довольно тебе шести минут на газету? — спросила Кира шопотом. — А потом выйдем вместе, пожалуйста...

Он кивнул и, вытянув средний лист, стал читать правительственную декларацию об уменьшении международной напряженности. Одного взгляда сбоку хватило ему убедиться, что Кира и не смотрит в тексты перед собой, ни в записи, а куда-то «в себя», покусывая нижнюю пухлую губу. «Что бы это с ней?» — подумал Валерий, отложил серединку и развернул двойной лист, держа навесу перед глазами. Кира, скрипнув стулом, подвинулась ближе (потом он понял, что этак газета загораживала ее от других), раскрыла общую тетрадь в клеенчатой обложке, повернула поперек — там лежал вкладыш в пол-листика, исписанный тесно на пишущей машинке, с каким-то заголовком, отчеркнутым малинового цвета карандашом. Приподняв обложку, чтобы вкладыша не было видно со стороны, она стала читать, не наклоня лица, только краешком глаз под приспущенными веками пробегая по строчкам. Потом потянулась было за карандашом, взяла и снова положила, почти бросила, и он покатился, журча гранями, по столу в сторону Валерия. Это был тот самый четырехцветный карандаш, который дал ей давеча Клим, когда слушал радио. Смешной и ничтожный, тронул вдруг Валерия микроб ревности — и он протянул руку. «Да, возьми, отдашь Климу», — шепнула Кира, и он сунул карандаш в боковой карман, зацепив за металлический язычок. Они посидели еще с минуту. Потом Кира закрыла клеенчатую тетрадку с вкладышем; повыпрямившись, вздохнула порывисто, поправляя обеими руками на затылке султан, и поднялась. Тетрадку взяла подмышку...

— Что с тобой нынче? Стряслось что-нибудь? — спросил Валерий, когда они вышли.

— Нет, ничего... Потом! — качнула она головой и заторопилась к лестнице. Что он должен идти за ней, разумелось, видимо, само собой...

Они спустились, шагая через ступеньку, этажом ниже, в такой же коридор, устроенный полукругом, хорами, с белыми перильцами в сторону вестибюля и вереницей дверей в кабинеты и аудитории. Коридор был пуст: везде шли занятия. Было очень тихо; снизу из-за перил, с каменного паркета, слышалось робкое хрустящее шарканье нескольких ног у стэндов, каких-нибудь случайных, вероятно, посетителей; совсем издадека звякали в буфете посудой.

У коридорного сгиба Кира остановилась, больно сжала пальцами его локоть и огляделась по сторонам.

— Ты что?

— Теперь постой здесь... — шепнула она побелевшими вдруг губами. — Если кто покажется — шикни... Понятно?

— Да что у тебя... — начал он растерянно.

— Потом, потом, потом... все — потом! Стой, я сейчас...

В тупике коридора, шагах в десяти от них, висела большая доска объявлений. Только теперь, следя, как Кира на цыпочках, чтобы не стучать о паркет каблучками, подходит к ней, — понял Валерий, что она затеяла. Вчерашнее радио у Клима, стенограмма, она же — вкладыш в клеенчатой тетрадке, и эта доска, на которой еще оставались

с осени пожелтевшие списки принятых в институт, с гербовой лиловой печатью в нижнем закоробившемся углу, — все стало на место. Сумасшествие! Догнать? вырвать листок? — поздно, она уже у доски... Все ведь идет на секунды... Похолодев вдруг при мысли, что мог у же прозевать, Валерий повернулся, как она приказала, лицом к длинной дуге коридора. Слава Создателю, никого! Все по-прежнему пусто, ни одна дверь не открывается... А шорох за спиной, такой страшно неслышимый, длится, кажется, вечность! Вот, наконец, шаги...

— Теперь исчезни, Валик! — сказала Кира, неровно дыша, и провела рукой по его волосам. — Сейчас будет звонок...

— Так вот и вывесила свою венгерскую сводку! — продолжал Валерий. — Как мог я раньше не догадаться — в толк не возьму! Позабыл, что она накануне сказала... то есть, значит, забрала себе в голову...

— Что ж, вышел переполох?

— Еще бы!.. Правда, больше слухи и разговоры, потому что начальство, по всей видимости, не хотело делать рекламу. Но сразу было решено провести на неделе курсовое комсомольское бюро с активом. В тот же вечер, после заседания НСО, научного нашего общества, меня вызвали к Бычко. Я о нем уже говорил — наш секретарь, парень в общем добрый, но загнанный — то у него комитет, то партбюро, то конференция в районе... Загнанный и очень послушный: когда глядит на Тесемкина, раскрывает от преданности рот. Многие у нас, между прочим, звали его «Суд Бориса», потому что как-то на вечеринке, где было трое хорошеньких девчат, он поднес одной яблоко и сказал, что это «Борисов суд», вместо «парисов»... Так вот отправился я к нему, и тут произошел со мной второй ляпсус за один и тот же день. Да, почти катастрофа...

«Суд Бориса» сидел в факультетском бюро, под лампой на стрекозиной ножке, за столом, засыпанном бумажными четвертушками, которые он с устало-сосредоточенным лицом засовывал в пухлую папку-скоросшиватель. В других углах комнаты вязли потемки, в окна ветер швырял ледяную крупу.

— Жду, жду! Присаживайся... — показал Бычко на стул и, отложив папку, принагнул, очень похоже на Тесемкина, голову, собираясь начать объяснение. — Вот какое дело...

Дело заключалось в том, что, по мнению Бычко, Валерию следовало на расширенном бюро обязательно выступить. «Сергей Сергеевич тоже так думает, сам называл тебя... Тема — о нездоровых настроениях на курсе... Поглубже развить и заклеить беспощадно, особенно отдельные вылазки наших доморощенных нигилистов — ты понимаешь, о чем я говорю. Надо, наконец, провентилировать как следует воздух...» На этом «провентилировать», то есть на общей цели бюро, Бычко задержался подробнее. «И чего тянет, упражняет на мне красноречие!»... — думал с досадой Валерий. — «А отказаться нельзя, придется отвечать «да», а там, может, как-нибудь заболею...»

— Минут на пятнадцать, на двадцать, не меньше, — заключил, наконец, Бычко.

— Это ведь уж целый доклад, если на двадцать. Нет, уволь, если можно. Будут же другие крупные выступления, сам, верно, будешь говорить... В прениях, понятно, я выступлю...

Против обыкновения, Бычко не настаивал. — Позвони Сергей Сергеичу, — сказал он, подумав. — Он сейчас нездоров, дома, и повестку все равно сам хотел просмотреть. Знаешь телефон? — Запиши...

— Минуту!.. — сказал Валерий, шаря карандаш.

— Вон он у тебя! — кивнул Бычко на его пиджачный кармашек, и Валерий вытащил оттуда карандаш Клима, который так и позабыл с утра возратить хозяину. Номер телефона был весь в восьмерках, и уже на второй из этих малиновых восьмерок (такой попался графит) Валерий почувствовал взгляд Бычко, испуганно-любопытно зацепившийся вдруг за карандашный кончик, и понял, что случилось нечто непоправимое. — Точно такого же цвета малиновой чертой, вспомнил он, холодея, был отчеркнут заголовок на листке, который вывесила на доску Кира. Бычко, разумеется, видел этот листок, не мог не видеть... Ясно, чем он сейчас так заинтересовался... Ветер швырнул в стекло горсть ледышек, и они со стуком отлетали на жезл подоконника, как показалось Валерию, целую вечность. «Главное — выдержка, не выдать себя ничем, покуда он соображает... Надо уже поднимать голову... Смогу?»

Он смог: захлопнув блокнот, откинулся небрежно на спинку стула. Откинулся на своем и Бычко, смыкая приоткрывшийся было рот. — Растерянность на его лице придавала Валерию бодрости.

— Все? — спросил он, поднимая брови. — Могу быть свободным?

— Договорились! — Это... твой карандаш?

— Да, забавный... в четыре цвета! — повертел Валерий карандаш в пальцах. — Но выделка дрянная, даже марки фабричной нет... Ну, пока!..

Нестерпимо долгими казались эти четыре шага до двери. Как хорошо, что у Бычко такие замедленные реакции!

— Так я сегодня же позвоню Сергей Сергеичу! — крикнул Валерий уже из коридора и, притворив за собою дверь, вытер вспотевший мелкими бисеринками лоб.

— Вот какой криминальный случай! — развел Валерий руками. — И дальше все, как говорится, пошло под откос. То есть собственно разоблачения мы не боялись — в тот же вечер собрались втроем (Клим нас час битый отчитывал, никогда его раньше таким злым не видал!) и установили, что не так страшно: в этом окаянном карандаше сменили графитики — так что улик не было. Но, понимаете, наведена тень...

— Бычко рассказал кому-нибудь?

— Тесемкину, думаю. Ничего не приврал, он парень честный, но поделился. Сужу по тому, что уж через три дня папаша устроил мне интервью... Я вам говорил, что он у меня заместитель министра, старый член партии. Ночью был разговор, он поздно вернулся. Позвал в кабинет и потребовал выложить все мои «ереси», как он выразился. Ну я изложил целый ряд пунктов, всего не перечислишь. Самые глав-

ные были, помню, насчет «руководства» и личности, как ее у нас туркают... Тоже про «производящих» — из впечатлений нашей автовылазки и, разумеется, насчет Венгрии. Долго говорил, с час, он трубок пять, я думаю, выкурил, пока слушал. Потом сделал свое резюме... без права на апелляцию, как у нас водится. Со стороны все напоминало известную картину, знаете — «Петр Первый и царевич Алексей». Мне пришло это сходство в голову, когда его слушал...

... «Коллектив, — говорил зам-министра, осторожно, чтобы не обжечь палец, приминая в трубке вспухшую пепельную горку, — не давит личности, как ты полагаешь, а воспитывает; равно как и партия не подавляет коллектива, а ведет, и во всем этом сила и коллектива, и личности...

— Сильные личности на поводу не идут, они возглавляют, а прочие слушаются.

— Но сперва эти сильные личности учатся слушаться сами. Отметь на свой счет.

— Я же не о себе...

— А я как раз — о тебе. И я тебя не перебивал... Ересь очередная: о якобы отрыве от народа. Ты что, аристократом себя чувствуешь? Мой отец в молодости валенки подшивал, а брат, как ты знаешь, слесарь-ремонтник. Кстати: я хочу, чтобы ты съездил к нему теперь недельки на две, но об этом после... Так вот: думаешь ты, что он и ему подобные видят в нас чужаков, как, скажем, в свое время крестьяне видели чужаков в помещиках, хотя бы и самых разлиберальных? Думаешь, они не доверяют нам, руководящим, потому что у нас «Победы», а у них пока нету? Ошибаешься! Кровь у нас с ними одна, рабочая, не голубая. В минувшую войну они шли с нами одною грудью, и это было чувство класса и голос крови. Пойдут за нами и в будущем, если случится, не сомневайся...

... Ересь насчет венгерского мятежа, — продолжал он, отложив трубку, и длинные вертикальные, словно матерчатые, складки по бокам рта стали резче, делая лицо чужим. — «Наши танки... кровь»... Ты что, толстовец? Почитай историю. Когда, какой имперский союз, тем более союз мировой динамики, утверждался бескровно? Пусть эти самые «Голоса», которые ты слушаешь, расскажут тебе, как утверждали себя их хозяева. «Льем кровь»... А нашу кровь венгерские реакционеры жалеют? Ты говоришь, понятие «реакционер» у нас условное. Неправда, безусловное! В драке нет лишних критериев: кулак или за тебя или на тебя. Тот, который на тебя — неправый, если веришь в свое дело. А мы верим... «Революция», «контрреволюция» — все это, по существу, второстепенно, первостепенно одно: брешь в стене собственного дома, через которую полетят в тебя после гранаты, могут допустить только глупцы или слюнтяи. Побеждают же самые умные и — неоглядывающиеся. История будет судить нас не за как, а за что удалось нам построить. И мы не позволим желторотым, вроде тебя, обшикивать нас из-за угла и сеять панику... Не позволим! — Он стукнул ребром ладони по столу, и из лежавшей на боку трубки вывалилось несколько дымящихся крошек. — На этом вашем активе выступишь и скажешь все, что нужно. А вообще, если

на практике не изживешь ересей, — зам-министра помолчал, смахивая ладонью крошки в пепельницу, — поедешь на целину, вместо за-
границы!

— Ну и как же, выступили вы на бюро? — спросил я.

— Ничего же не оставалось. Выступил, сказал с места, что, мол, в основе всего лежит вопрос о доверии к нашей партии, которой мы, разумеется, доверяем, ну и так далее, вы знаете... Несколько фраз всего — и завял, чувствую: дальше развить не могу, и даже сделалось жарко... Спасибо Бычко выручил, подхватил тезис, догадался, может быть, что иначе я завалю... Потом долго подытоживал все Сергей Сергеич — о природе «нигилизма», как это у нас теперь называется. Впрочем, я, помнится, был тогда на этом собрании весь в другом, вполне, признаться, личном, не знаю, стоит ли даже об этом...

Он отвернулся к окну. Поезд наш уже вбегал в стремительную путаницу путей, стрелок и электромачт конечной станции. Членились и снова бросались друг к другу ленты рельс, словно даже поцелкивая сразбега на стыках. Море вдали, дымчато-серое, сливавшееся с серым же берегом, не столько виднелось, сколько угадывалось по сизым контурам подъемных кранов и мачт.

— Нет, доскажу, — начал снова Валерий. — Нужна же развязка, а это как раз и было тогда, после собрания...

... «Эти искатели личной жизни, позорящие наше советское студенчество, — говорил Тесемкин, как всегда, упираясь ладонями в стол, — рассчитывают на успех своих нигилистических теориек. Не выйдет!»...

«В самом деле он в ударе или «наигрывает»? — думал Валерий, все еще с неприятной, вязкой неловкостью в теле после своего скомканного выступления. «Или просто подготовился хорошенько за бо-
лезнь, недаром отложили из-за него бюро почти на неделю»...

Всю эту неделю Валерий не виделся с Кирой. По телефону последний раз она отговорила какой-то работой из латинского, которую, он знал, она делала с Климом. На бюро опоздала, пришла как раз перед выступлением Валерия и села сзади, у двери — он раза два оборачивался, но она не смотрела в его сторону, ему показалось — намеренно. Клима почему-то на активе не было. «Почему?» — думал Валерий, тоскливо ожидая конца тесемкинского заключения, чтобы поговорить с Кирой.

«Стиляги с галстуком-бабочкой, — говорил Тесемкин, — и стилиаги «критикующие» — явление, по существу, одного порядка. Первые находят оправдание наплевательскому отношению к нашему коллективу — в шашлыках, которые так здорово готовят в «Арагве», или — в нечистых встречах на углу улицы Горького и Охотного. Вторые ищут лазеек в идеологии. Ухватятся за критику культа личности — и попытаются подорвать весь наш советский порядок... Корни нигилизма у этих «слонов-отшельников» нашей молодежи, — рубил Тесемкин, и в голосе его появились угрожающие, рокошующие тембры, — обычно в уродливом воспитании, рождающем иждивенческие настроения. Начинается с «Лешенька, Лешенька, сделай одолжение, выгучи, Ле-

шенька, хоть первое спряжение» — как у Барто, а кончается — распущенностью, анархией и хулиганскими выходками в стенах института... Демагогическое «свободолюбие» нас не обманет, товарищи! Мы говорим прямо: мы поддерживаем в критике, в творчестве и общественной жизни лишь такую свободу, которая не противоречит принципам партийной идеологии. Замахиваться на эти принципы и сеять анархию — нет, этого мы им не позволим!»...

— «Не позволим!» — прервал в этом месте рассказ Валерий. — Сколько раз, на каждом почти шагу, слышал я у нас в последнее время это «Не позволим!» Вот если хотите критику — а вы наверное хотите! — то здесь — пожалуйста! Здесь у нас, я бы сказал, совершенно уже откровенный, программный антигуманизм! Англичанин Рассель, я прочел уже тут, за границей, определяет свободу как право для всех быть «иного мнения». У нас это право, вы знаете, только за партией, а от личности, от человека отбирается начисто. Человек — гвоздь, — помните об этом у Тихонова? И значит ложись покорно под молот, и пусть тебя расплющит. Вот еще проповедь самопожертвования! Тут многие протестуют также. Ведь это отвратительнее, чем саможжение у раскольников? Там пусть изуверская, но была идея. А за что, спрашивается, должен самосожигаться я? Во имя чего?.. В общем, надо признаться, мутит тебя иногда от этого... Но ладно, будем закрутляться!

Когда бюро кончилось и все стали выходить в коридор, Валерий заспешил, чтобы захватить Киру в раздевалке, но она стояла тут же, за дверью, что-то перебирая, наклонясь, в открытом навесу портфельчике. «Я сейчас — в библиотеку за книжкой, — сказала она скороговоркой. — Встретимся у автобусной — знаешь, не нашей, а дальше, около киоска, подожди меня там»...

На улице был снег, с ветром, косой и мокрый. Покуда Валерий прошел три квартала до безлюдной остановки «по требованию», снег залепил ему всю спину и шею, противно стаивая за ворот. Отряхнувшись, он стал за газетный киоск спиной к словно бы теплой фанере, бездумно глядя на поземку вдоль улицы, укладывающую у тротуаров волнистые снежные дюнки. Как раз показался и автобус с заштрихованным снежными хлопьями фасом. Валерий помахал рукой водителю, едва видному в расчищенное дворником полукружье, и автобус проехал, не останавливаясь. До следующего — десять минут... Он постоял еще минут пять, начиная уж зябнуть, потом вышел на тротуар и, щуря от ветра глаза, увидел подходившую Киру. Ветер раскосматил ее, повывуд наперед рыжие прядки; отяжелев, они, все в снежинках и бисерных капельках, липли на лоб и щеки, и лицо от этого казалось чужим и холодным. А может быть — оттого, что она не улыбнулась навстречу.

— Ты знаешь, что Климу отказали насчет заграницы? — спросила она, став к нему в профиль и смахивая варежкой снег с воротника и волос.

— Как «отказали»? Кто сказал? Ведь уже решено...

— Перерешили... Вчера узнал в министерстве.

— Но почему?

— Была предистория. Его вызвал к себе на дом Тесемкин. Форменный устроил допрос... Все насчет той моей... ну ты понимаешь. Обиняками, но допрос. Спрашивал, между прочим, и об этом несчастном карандаше. Его, оказывается, у всех нас троих заприметили... В общем, конечно, ерунда, не улика, но Клим сказал, что карандаш — его.

— Зачем?

Она пожала плечами, взглянув на него чуть удивленно. — Хуже всего, что Клим взбесился и наговорил лишнего — всяких критических там суждений, «вредных» и «ошибочных»...

— Как это он мог!

— Ну, ты же знаешь Клима! — качнула Кира султаном, и в этом движении и в голосе, как она это сказала, он уловил что-то похожее на гордость. — Такой уж всегда, если заденут и вызовут на прямоту...

— Где он сейчас? Надо бы встретиться...

— Был у себя на даче. Может быть, вечером... Впрочем, не знаю... Какая мерзость эта погода!

Поеживаясь, она нетерпеливо, как казалось ему, смотрела в мутно-белую перспективу улицы, откуда должен был придти автобус, вот-вот уж должен был придти. Пережить здесь другого, на этом снежном ветру, было немыслимо, поехать с ней — тоже, она очевидно не хотела, чтобы их видели вместе, а на следующей остановке обязательно влезут наши... То, что случилось с Климом, было трагично, но все же Валерию мучительно хотелось повернуть разговор на их личное, и он не знал, как. Кира повернула сама.

— Ну а у тебя что, по-прежнему? — спросила она, все так же выжидательно глядя вглубь улицы.

— Да, все по-старому. Еду послезавтра в Куйбышев, к дядьке, недели на две. Отец посылает, — сказал он и сделал паузу, ожидая, что она удивится, спросит, зачем? — в конце концов можно бы и настоять на своем, не поехать... Но она молчала. — Да, а после, когда вернусь, скоро, значит, и за границу... Ты ведь тоже хотела приехать к лету в Берлин... Поедешь, как думаешь? — спросил он и сам удивился как бы робости, с которой вопрос прозвучал.

— Вот идет, кажется... — Поеду ли я к папе? Кто знает теперь, как сложатся обстоятельства... Да, идет, слава Богу, а то я замерзла совсем. — Она снова стала отряхивать воротник варежкой. Больше всего Валерия мучило, что у нее, очевидно, не было для него сейчас слов. Да и автобус шел уже близко, весь в снегу спереди, как в набрюшнике.

— Как бы нам встретиться вечером, поговорить?

— Вот не знаю. Ты ведь уже — послезавтра?.. Завтра мама тянет к родственникам, в гости. Обещала ей...

«А сегодня?» — едва удержал он вопрос, самолюбиво сжав губы. Спрашивать впрочем было некогда — автобус уже подходил, и оба подняли руки.

— Сегодня я занята, — сказала Кира и вспыхнула — не от смущенья, он знал, а от досады на себя, что не смогла сказать прямо, кого сегодня ждала.

Автобус стал, дрожа лакированным запорошенным боком, тоже как будто от холода; с запотевших изнутри окон слезливо стекали капли. Отползла, нехотя, пневматическая дверка.

— Встретимся еще в институте... — сказала Кира, уже с подножки. — Или позвонишь, когда твой поезд, приду проводить... Клим, может, тоже... Пока!

Мелькнул рыжий султан, и дверка тут же заслонила его со вздохом.

«Уж лучше бы с треском захлопнулась! Больше б подходило к моменту!» — усмехнулся Валерий. Пошел вслед автобусу, навстречу ветру, принагнув голову, чтобы не дуло в шею, и отыскивая какие-нибудь «нейтральные» мысли, чтобы не думать пока о главном. Снежные хлопья стали теперь еще гуще, мгновенно покрыли грудь, залепляли ресницы...

... И падал снег. И много много
Неслось снежинок мне в лицо

— вспомнились строчки откуда-то — чьи, он не знал, забыл и остальные две и стал сейчас припоминать с напряжением. Рифма к «лицо» могла быть «крылыцо» либо «кольцо». Нет, «крылыцо» вряд ли, «кольцо» скорее. Но как же читается вся строфа?..

✱

Высокий на колесиках трап отлип с крутого плеча парохода и откатился. Зарокотали машины. Валерий с кормы, среди взлетевших в воздух платочков и чаек, помахал мне шляпой. Когда пароход отчалил, я пошел параллельным с ним курсом по набережной, покуда он не заворотил к молу. Оттуда, от мола, несло пронзительным ветром, в серых створках его сядилось дымное солнце; розовой свечкой на сером блестел маяк. Я навел бинокль на корму, уже опустевшую, — Валерий один стоял там у самого флага, голубого с желтым, — заметил, махнул снова шляпой несколько раз.

От вокзала до пристани было рукой подать — не разговоришься; все же я спросил о самом для себя интересном: что же случилось дальше дома, уж после того, как поехал он за границу.

— Кире я не писал — так, как-то нескладно расстались. Но потом раз как-то съездил все-таки к полковнику, ее отцу, у меня был адрес... Совсем на нее не похож — невидный такой из себя, круглый и рыхлый. Принял не очень-то ласково — о наших институтских делах, наверно, дошло кое-что до него. «Нет, говорит, ее (Киру) сюда не возьму. Тут, понимаешь (у него поговорка такая — «понимаешь»), если будет болтаться без дела, так и разные, понимаешь, излишние впечатления... словом, лучше не надо. А девка она с фантазиями, похоже, что и дома, на учебе, чего-то там надурила...» — В общем рассказал, что у них — у Киры с Климом — неприятности в институте, у Климана особенно, чуть что не исключать его собрались, и что она очень с ним дружит... Прочел, как водится, наставление: «Какие, мол, за вас головы думают всё и решают! Гениальные головы! Тут, понимаешь, всем нам только исполнять положено да слушаться, а

не партизанишь, понимаешь, или будировать на идеологическом фронте»... В общем, просил я его передать привет, так ничем этот визит и кончился...

Кончая, предвижу недоумения и попреки в свой адрес: разглядел, мол, во всем, что ему рассказали, фабулу романтическую и самую незамысловатую; а где же социально-психологические глубины и проблемная сторона? Что поделаешь! Разглядывал я, как умел, с той стороны, которая понятнее и сама раскрывалась... Впрочем, когда стояли в хвосте у паспортного контроля, задал я Валерию и сакраментальный, так сказать, вопрос об отношении к Западу. Как, если ощущать вблизи, выглядит фён и вообще западный воздух? Каюсь, присоединил небольшой пропагандный панетирик этому «воздуху», где нет «не позволим!» полицейского или другого какого надзора и окрика. Даже и из Пушкина привел:

... для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи,
По прихоти своей скитаться здесь и там...
Вот счастье! Вот права!

Реакция, против ожидания, была довольно кислая. И сам он, отвечая, даже почужел как-то, словно выгнали его из уютного какого-нибудь полумрака на свет и на люди, где надо держаться степенно, застегнутым на все пуговицы. «Вялость воли и духа» — вот что, видите ли, поразило его на Западе. Еще — равнодушие ко всему и прежде всего к вопросам, которые ему самому казались животрепещущими. — До нас им... — пожал он плечами, вытаскивая бумажник, — ни самомалейшего дела. Разве только — чтобы не помешали пищеварению. Спросят, не собираемся ли воевать и почему в Москве костюмы, — и весь интерес. «Ступай, голубушка, куда захочешь, люби, кого замыслишь»... Видите, я вам тоже из Пушкина... Нет, здесь нам рассчитывать не на кого. Идти ведь нельзя за тем, кто стоит. Какие у стоящего перспективы? Разве — музейные»... Он усмехнулся вдруг довольно недобро и в лице его (мне по крайней мере так показалось) появились черты, напоминающие скорее его папу-министра, чем прежнего Валерия. «Один мой дружок в Берлине, — продолжал он, — как-то фантазировал насчет здешних перспектив. Здесь, по его рассуждению, через пару десятков лет должен стать непременно музей. Этаким, понимаете, музей западно-европейской культуры и быта досоветской эры человечества. Отделения: Англия — там будут показывать могилу Карла Маркса и очередную коронацию; Франция, Париж — здесь, конечно, Фоли-Бержер, кризис министерства и курсы гастрономии, затем Италия, Капри с домиком Горького, и папа римский, Испания — там оставим бой быков... Ну и так далее. Жить будут все туристами из СССР и Америки... Виноват! — Он прошел через контрольную будку и остановился против меня по другую сторону барьера, рассовывая по карманам визы и кредитки с королевскими фасадами.

— А валюта будет везде наша! — добавил он, засмеявшись на этот раз уже как прежде, по-мальчишески добродушно...

Русская поэзия в СССР

В этом номере мы даем подборку стихов советских поэтов старшего поколения, написанных или опубликованных в последние годы. Все нижеследующие стихи были напечатаны в советских периодических или книжных изданиях. В полиграфическом отношении мы везде следуем подлиннику, только в случае «Кондо-Озеро» Луговского мы решили заменить маловыразительную «лесенку» разделением на строфы.

Анна Ахматова

ПЕТРОГРАД 1916

Сучья в иссиня-белом снеге;
Коридор Петровских Коллегий
Бесконечен, гулок и прям.
 (Что угодно может случиться,
 Но он будет упрямо сниться
 Тем, кто нынче проходит там.)
До смешного близка развязка:
Вкруг костров извозчичья пляска.
Над дворцом черно-желтый стяг . . .
Все уже на местах — кто надо;
Пятым актом из Летнего сада
Пахнет . . .
 Звонко поет моряк.
. . . Словно в зеркале страшной ночи
И беснуется и не хочет
Узнавать себя человек,
А по набережной легендарной
Приближается не календарный —
Настоящий Двадцатый Век.



Есть три эпохи у воспоминаний.
И первая — как бы вчерашний день.
Душа под сводом их благословенным
И тело в их блаженствует тени.
Еще не замер смех, струятся слезы,
Пятно чернил не стерто со стола —
И, как печать на сердце, поцелуй,
Единственный, прощальный, незабвенный . .
Но это продолжается недолго . . .
Уже не свод над головой, а где-то
В глухом предместье дом уединенный,
Где холодно зимой, а летом жарко,
Где есть паук, и пыль на всем лежит,
Где истлевают пламенные письма,
Исподтишка меняются портреты,
Куда, как на могилу, ходят люди,
А, возвратившись, моют руки мылом
И стряхивают беглую слезинку
С усталых век, и тяжело вздыхают . . .
Но тикают часы, весна сменяет
Одна другую, розовеет небо,
Меняются названия городов,
И нет уже свидетелей событий,
И не с кем плакать, не с кем вспоминать,
И медленно от нас уходят тени,
Которых мы уже не призываем,
Возврат которых был бы страшен нам.
И, раз проснувшись, видим, что забыли
Мы даже путь в тот дом уединенный
И, задыхаясь от стыда и гнева,
Бежим туда, но (как во сне бывает)
Там всё другое: люди, вещи, стены,
И нас никто не знает — мы чужие.
Мы не туда попали . . . Боже мой!
И вот когда горчайшее приходит:
Мы сознаем, что не могли б вместить
То прошлое в границы нашей жизни,
И нам оно почти что так же чуждо,
Как нашему соседу по квартире,
Что тех, кто умер, мы бы не узнали,
А те, с кем нам разлуку Бог послал,
Прекрасно обошлись без нас — и даже
Всё к лучшему . . .

Владимир Луговской

ФОТОГРАФ

Фотограф печатает снимки.
Ночная, глухая пора.
Под месяцем, в облачной дымке,
Курится большая гора.

Летают сухие снежинки,
Окончилось время дождей.
Фотограф печатает снимки —
Являются лица людей.

Они выплывают неожиданно,
Как луны из пустоты.
Как будто со дна океана
Средь них появляешься ты.

Из ванночки, мокрой и черной,
Глядит молодое лицо.
Порывистый ветер нагорный
Листвой засыпает крыльцо.

Под лампой багровой хохочет
Лицо в закипевшей волне.
И вырваться в жизнь оно хочет
И хочет присниться во сне.

Скорее, скорее, скорее
Глазами плыви сквозь волну!
Тебя я дыханьем согрею,
Всей памятью к жизни верну.

Но ты уже крепко застыла,
И замерла волн полоса.
И ты про меня позабыла —
Глядят неподвижно глаза.

Но столько на свете хороших
Ушедших людей и живых,
Чей путь через смерть переброшен,
Как линия рельс мостовых.

А жить так тревожно и сложно,
И жизнь не воротится вспять.
И ведь до конца невозможно
Друг друга на свете понять.

И люди, еще невидимки,
Торопят — фотограф, спеши!
Фотограф печатает снимки.
В редакции нет ни души.

КОНДО-ОЗЕРО

Вьются листья — червонные козыри.
Ходит синей волной Кондо-озеро,
Кондо-озеро, ширь тревожная,
На отцовскую землю положенная.

С моря Белого журавли летят,
К морю Черному журавли трубят.
Снова тянется песня вечная,
Перелета нить бесконечная.

В небе древний клич уходящих стай.
Уплывает путь за верстой верста.
Сердце птичье томит даль безумная,
Пелена морей многошумная.

Что же, карта какая мне выпадет,
И какая дорога выведет?

Всё, что рвется, как гром, в журавлиной груди,
Жадно вторит тому, что лежит впереди
Влажным маревом, сонной дымкою,
Непонятной для нас невидимкою.

А в сыром бору темный гул стоит.
Двухсотлетний бор сердце тайн таит.
Всё, что бродит в земле, всё, что дышит в земле,
Он выносит к небу в седом стволе.

Слушай, милая, ты взошла из земли,
Будет жизнь твоя сметена с земли,
Но вовек не уложится в небытие
Кондо-озеро синее — сердце твое.

Ибо мир целиком умещается в нем —
В нежном сердце, налитом осенним огнем.

В тех пустотах, где меркнет последний свет,
Для тревожного сердца границы нет.
И оно утверждает, как высшая власть,
Вечность жизни, простор ее, силу и страсть.

Все березы стоят, замороженные,
Листья кровью кружат, на смерть брошенные.

Осень, осень, червонный летучий лист.
Синева ледяная, синичий свист.
Дикий камень гранит, что на зорях звенит.
Пни, болота, мхи, рыжих туч верхи.

Жизнь с тобою, Север, не пройдена —
Богатырская моя родина.
Там, где выются дороги нехоженые,
Там, где сердце России положено,
В земляном сундуке чернокованном,
До конца еще не откопанном.
Столько звезд в нем сокрыто до времени —
Млечный Путь не выдержит бремени.

В мире я не слышал такой тишины.
И Россия заслушалась у волны.
В первом, утреннем инее нежит ее
Кондо-озеро синее — сердце твое.

Николай Заболоцкий

НОЧЬ В ПАСАНАУРИ

Сияла ночь, играя на пандури,
Луна плыла в убежище любви,
И снова мне в садах Пасанаури
На двух Арагвах пели соловьи.

С Крестового спустившись перевала,
Где в мае снег и каменистый лед,
Я так устал, что не желал нимало
Ни соловьев, ни песен, ни красот.

Под звуки соловьиного напева
Я взял фонарь, разделся догола,
И вот река, как бешеная дева,
Мое большое тело обняла.

И я лежал, схватившись за каменья,
И надо мной, сверкая, выл поток,
И камни шевелились в исступленьи
И бормотали, прыгая у ног.

И я смотрел на бледный свет огарка,
Который колебался вдалеке,
И с берега огромная овчарка
Величественно двигалась к реке.

И вышел я на берег, словно воин,
Холодный, чистый, сильный и земной,
И гордый пес, как божество спокоен,
Узнав меня, улегся предо мной.

И в эту ночь в садах Пасанаури,
Изведав холод первобытных струй,
Я принял в сердце первый звук пандури,
Как в отрочестве — первый поцелуй.

ГУРЗУФ

В большом полукружии горных пород,
Где, темные ноги разув,
В лазурную чашу сияющих вод
Спускается сонный Гурзуф,
Где скалы, вступая в зеркальный затон,
Стоят по колено в воде,
Где море поет, подперев небосклон,
И зеркалом служит звезде, —
Лишь здесь я познал превосходство морей
Над нашею тесной землей,
Услышал медлительный ход кораблей
И отзвук равнины морской.
Есть таинство отзвуков. Может быть, нас
Затем и волнует оно,
Что каждое сердце предчувствует час,
Когда оно канет на дно.
О, что бы я только не отдал взамен
За то, чтобы даль донесла
И стон Персефоны, и пенье сирен,
И звон боевого весла!



Когда вдали угаснет свет дневной
И в черной мгле, склоняющейся к хатам,
Всё небо заиграет надо мной,
Как колоссальный движущийся атом, —

В который раз томит меня мечта,
Что где-то там, в другом углу вселенной,
Такой же сад, и та же темнота,
И те же звезды в красоте нетленной.

И может быть, какой-нибудь поэт
стоит в саду и думает с тоскою,
Зачем его я на исходе лет
Своей мечтой туманной беспокою.

ПРОЩАНИЕ С ДРУЗЬЯМИ

В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадами своих стихотворений,
Давным-давно рассыпались вы в прах,
Как ветки облетевшие сирени.

Вы в той стране, где нет готовых форм,
Где всё разъято, смешано, разбито,
Где вместо неба — лишь могильный холм
И неподвижна лунная орбита.

Там на ином, невнятном языке
Поет синклит беззвучных насекомых,
Там с маленьким фонариком в руке
Жук-человек приветствует знакомых.

Спокойно ль вам, товарищи мои?
Легко ли вам? И всё ли вы забыли?
Теперь вам братья — корни, муравьи,
Травинки, вздохи, столбики из пыли.

Теперь вам сестры — цветики гвоздик,
Соски сирени, щепочки, цыплята . . .
И уж не в силах вспомнить вам язык
Там наверху оставленного брата.

Ему еще не место в тех краях,
Где вы исчезли, легкие, как тени,
В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадами своих стихотворений.

НОЧНОЕ ГУЛЯНЬЕ

Расступились на площади зданья,
Листья клена целуют звезду.
Нынче ночью — большое гулянье,
И веселье, и праздник в саду.

Но когда пиротехник из рощи
Бросит в небо серебряный свет,
Фантастическим выстрелам ночи
Не вполне доверяйся поэт.

Улетит и погаснет ракета,
Потускнеют огней вороха . . .
Вечно светит лишь сердце поэта
В целомудренной бездне стиха.

Семен Кирсанов

ЧЕРНОВИК

Это было написано начерно,
а потом уже переиначено
(пере — и, пере — на, пере — че, пере — но . . .),
перечеркнуто и, как пятно, сведено,
это было — как мучиться начато,
за мгновенье — как судорогой сведено,
а потом —
переписано заново, начисто
и к чему-то неглавному сведено.

Это было написано начерно,
где всё больше, чем начисто, значило.
Черновик — это словно знакомство случайное,
неоткрытое слово на «нео»,
когда вдруг начинается необычайное:
нео-день, нео-жизнь, нео-мир, нео-мы,
неожиданность встречи перед дверьми
незнакомых — Джульетты с Ромео.
Вдруг —
кончается будничность!
Начинается будущность
новых глаз, новых губ, новых рук, новых встреч,
вдруг губам возвращается нежность и речь,
сердцу — биться способность,
как новая область
вдруг открывшейся жизни самой,
вдруг не нужно по делу, не нужно домой,
вдруг конец отмиранию и остыванию,
нужно только, любви покоряясь самой,
удивляться всеобщему существованию,
и держать,
и сжимать эту встречу в руках,
все дела посторонние выронив . . .

Это было написано всё на листках,
рванных, разных размеров, откуда-то вырванных.

Отчего же так гладко в чистовике,
так подогнано всё и подобрано,
так уложено ровно в остывшей строке
после правки и чтения подробного?
И когда я заканчивал буквы стирать
для полнейшего правдоподобия —
начинал, начинал, начинал он терять
всё свое, всё мое, всё особое,
умирала моя черновая тетрадь,

умирала небрежная правда помарок,
мир, который был так неожидан и ярок
и который увидеть сумели бы вы.
В этом сам я повинен, в словах не пришедших,
это было как встреча
двух мимо прошедших,
как любовь, отвернувшаяся от любви.

Леонид Мартынов

З Н О Й

О зное
Скажу лишь одно я:
Он был
И вернется назад.

. . . Решеток железо резное
По грудь опоясало сад.
И весь он наполнился зноем.
И даже в тени, под стеной,
Под гравием, под перегноем,
Повсюду он был, этот зной.

Настала
Погода сырая.
Но он и неделю и две,
На теплые капли взирая,
Таился в намокшей листве.

И что-то
Еще подрастало,
Где мелочь цветная пестра.
Но все-таки осень настала,
Листву взворошили ветра.

Ночь
Будет холодной и лунной, —
И быть ей не должно иной, —
Но там, за решеткой чугунной,
Останется всё-таки зной.

Он
Будет почти незаметен,
Когда на него смотреть,

Но всё-таки будет иметь он
Способность светить и греть.

Управится
Ветер с листвою,
Окрепнет массив ледяной,
Но будут какие-то двое
Сидеть на скамейке одной.

К чему бы
Сидеть и молчать им
У клумбы, что вовсе бела?
Но, видимо, этим объятьям
В избытке хватает тепла.

Недаром
И галочья стая
Кричит у нагого куста,
Где даже и в стужу густая
Таится в снегах теплота.

УСТАЛОСТЬ

И всё, о чем мечталось,
Уже сбылось,
И что не удавалось,
То удалось.
Отсталость наверсталась
Давным-давно.
Осталась лишь усталость.
Немудрено!

Усталость разрасталась
В вечерней мгле;
Усталость распласталась
По всей земле;
Усталость становилась
Сильнее нас.
Но где ж, скажи на милость,
Она сейчас?

Прилег ты напоследки,
Едва дыша.
Но ведь в грудной-то клетке
Живет душа!
Вздохнул. И что же сталося?
Твой вздох, глубок,
Повеял на усталость,
Как ветерок.

Вот тут и шевельнулась
Она слегка,
Как будто встрепенулась
От ветерка
И — легкая усталость,
Не на века, —
Развеялась, умчалась,
Как облака.

КАМИН

... И в Коломенском осень ...
Подобны бесплодным колосьям
Завитушки барокко, стремясь перейти в рококо.
Мы на них поглядим, ни о чем объяснения не спросим.
Экспонат невредим, уцелеть удалось им.
Это так одиноко и так это всё далеко.
Этих злаков не косим.

Упасло тебя небо,
И пыльщик к тебе не суров,
Золоченое древо
В руках неживых мастеров,
Где на сучьях качаются, немо и жалобно плача,
Женогрудые птицы из рухнувших в бездну миров ...
Вот еще отстрелявшая пушка,
Вот маленький домик Петров,
Походящий на чью-то не очень роскошную дачу ...
Ну, и что же еще?
Лик святого суров;
Тень Рублева
И Врубель впридачу.

Ибо
Врубелем сделан вот этот камин.
Это — частный заказ. Для врача ...
Что касается дат и имен — вы узнаете их у всезнаек,
А сюжет — богатырь. Величайшая мощь силача.

... Нет врача. И сейчас между тусклых керамик и всяких
музейных мозаик
Пасть камина пылает без дров, словно кровь и огонь горяча.
... Нет врача. Нет больного. Осталась лишь правда живая.
Разве этот камин обязательно надо топить?
О, рванись, дребезжа, запотелое тело трамвая!
Много див ты хранишь, подмосковная даль снеговая!
На черту горизонта, конечно, нельзя наступить!

* *
*

Что-то
Новое в мире.
Человечеству хочется песен.
Люди мыслят о лютне, о лире.
Мир без песен
Неинтересен.

Ветер,
Ветви,
Весенняя сырость,
И черны, как истлевший папирус,
Прошлогодние травы.
Человечеству хочется песен.
Люди правы.

И иду я
По этому миру.
Я хочу отыскать эту лиру,
Или — как там зовется он ныне —
Инструмент для прикосновенья
Пальцев, трепетных от вдохновенья.

Города и пустыни,
Шум, подобный прибою морскому . . .
Песен хочется роду людскому.

Вот они, эти струны,
Будто медны и будто чугуны,
Проводов телефонных не тоньше
И не толще, должно быть.
Умоляют: — О, тронь же!

Но еще не успел я потрогать —
Слышу гул отдаленный,
Будто где-то в дали туманной
За дрожащей мембраной
Выпрямляется раб обнаженный;
Исцеляется прокаженный;
Воскресает невинно казненный,
Что случилось, не может представить:
— Это я! — говорит. — Это я ведь!

На деревьях рождаются листья,
Из щетины рождаются кисти,
Холст растрескивается с хрустом,
И смывается всякая плесень . . .
Дело пахнет искусством.
Человечеству хочется песен.

* *
*

Такие звуки есть вокруг,
Иными стать их не заставишь,
Не выразишь посредством букв,
Не передашь посредством клавиш.

И поручиться я готов:
Иную повесть слышать слышим,
Но с помощью обычных слов
Ее мы всё же не запишем.

И своевольничает речь,
Ломается порядок в гамме,
И ходят ноты вверх ногами,
Чтоб голос яви подстеречь.

А кто-то где-то много лет
Стремится сглаживать и править.
Ну что ж! Дай Бог ему оставить
На мягком камне рыбий след.

Кудеяров дуб

Повесть

ПРОЛОГ

Керосин в Масловке кончился в первые же дни войны, да и до того велся не у многих. Кто дружил с трактористом, тот выпрашивал у него пузырек на копилку или менял у рабочих МТС на яйца и масло, а большая часть изб без него обходилась. Время летнее — день долгий. Вернувшись с работ, повечерять наскоро в полутьме, а постлаться и лечь можно и в потемках. К осени стало хуже: наползут сумерки, завалит небо тучами — в избах полная тьма, а сон еще не идет, да и у баб дела много. Плохо. Скучно. Иной вечер немогоITU становится.

Вот и теперь, хоть и дождик кропит, а Арина Васильевна сидит на завалинке под крытым еще покойным мужем крылечком. Тогда, в давно ушедшие годы, знаменито он его оборудовал, кружевной резьбою обшил поверху, расцветил охрой и суриком. Теперь от этих узоров и следа нет, а резное кружево лишь кое-где клоками догнивает. Да и сама крыша сгнила — вся протекает.

Вдовство горькое.

Большая мутная капля собралась под трухлявой тесиной, затяжелела и упала на щеку Арины. Вдова не смахнула ее. Капля покати-лась по щеке, оставляя за собой блестящий следок, затекла в морщину у губы, в ней и осталась. Вот с этого крылечка, с этой вот треснувшей, обломавшейся уже ступеньки последний разок на него глянула Ари-на. Обернулся тогда он, тряхнул картузом и поворотил за угол. Толь-ко всего и было при расставаньи.

Ступенька-то треснула и обломилась. Так и бабья жизнь тоже треснула тогда, тоже обломилась. . .

Осенний дождь зачастил, слился в одну серую, мутную пелену с наползшими сумерками. И соседской крыши видно не стало. Только слышно, как капли по лужам стегают.

Что уж там гадать-вспоминать! В избу пора. Скоро и ночь. Вдовья, одинокая, долгая ночь. . .

По блестящему следку дождевой капли другая покати-лась — он или так это? . . . Только померещилось? . . . Тот, что на Шиловской горе . . . кривой?

Кривому ему и быть теперь надо. Головинские мужики ему тог-да начисто глаз выбили, всем это известно и урядник Баулин говорил. Ногу тогда тоже перешибли. Ване . . . соколику. . .

Он ли? Откуда? Ведь столько годов вести о себе не давал.

Нет, не он... Все обличье другое... А вот как бровью повел, — будто он, Ваня мой ненаглядный, будто с того света сошел. Воротился...

Он! Он это, — стучит бабье сердце во вдовьей посохшей груди, — он! Помолоду оно трепыхается, жаворонком поет, а не серой кукушкой стонет.

Он! Ваня это!...

Так трепыхнулось сердце, что Арина Васильевна даже за грудь схватилась. А нету ее, груди. Уплыли обе лебедки белые. Зачахли одни, без ласки милого. Иссохли.

Нет, не он это был на Шиловском спуске. Так, померещилось что-то.

Еще одна капля скатилась по блестящему проторенному следу. За ней еще.

Не он...

— Много лет вам здравствовать, Арина Васильевна!

Перед обветшалым крылечком, не вступая на него, стоял вынырнувший из пелены дождя такой же серый, как и она, человек. Снял шапку и поклонился чуть не в пояс.

— Мать Пречистая! Царица Небесная! Заступница!.. — прошептали Ариныны губы.

— Не признаете? Оно, конечно, давно мы с вами не видались, Арина Васильевна. Да и темно к тому же, — говорит словно с усмешкой вынырнувший из дождя человек. — Может в избу зайти позволите? Там, на свету, легче признаете и в старом знакомстве удостоверитесь.

— Ваня! Ванюша, светик! Вернулся! — Рванулась всем телом Арина Васильевна. Ей казалось, что на всю Масловку выкрикнула она эти слова, из самого сердца их вырвала, а на самом деле только прошелестела ими, как осина сухими листьями. Один только их и услышал этот самый, выплывший из сумеречного марева, человек.

— Верное ваше слово. Подлинно это я, Ариша. А по прозвищу в прежние годы Вьюгой числился. Я самый это и есть.

— Ваня, темно в избе-то, керосину нет, — только и нашла, что ответить Арина Васильевна. Стоит она на крылечке и шагу ступить не может ни вперед, ни назад. Обняла бы, ух, обняла бы она этого серого, мутного человека, а руки не поднимаются. Повисли, как мокрые холсты. Сомлела.

Кривой ступил на крылечко и осмотрелся.

— Так, значит, — ответил он вслух каким-то своим мыслям, значит, так...

Пощупал рукой сгнившую доску крыши. Она сдвинулась с места и осыпала его трухой.

— Значит... Значит, Осиповы достижения все насмарку пошли? Как по пятилетним планам полагается? А первейшее крылечко он тогда соорудил... Плохо живете, — обратился кривой к Арине Васильевне. Не попрекнул и не пожалел, а только подтвердил и без того ясное. — Что ж мы с вами на дожде стоим? Ведите гостя в избу, коли он вам желателен. Насчет освещения не беспокойтесь, при себе его имеем. Плохо, плохо живете...

— Как все, Ванюша. Вся жисть такая, — тихо ответила Арина, словно повинилась в чем.

Войдя вслед за деревянно ступающей женщиной в темноту избы, кривой вынул из кармана плоскую немецкую свечку в розовой бумажке и чиркнул зажигалкой. Выправил примятый фитилек, зажег и обмахнул его желтыми бликами пустые стены избы, не покрытый скатертью стол и в углу широкую кровать с уцелевшей кое-где потемневшей пестрой окраской. На ней задержал блики, поиграл ими.

— На этой кровати он и помер?

— Где же еще? — глухо, почти сердито ответила Арина. — На ней, на самой.

— Про меня не поминал?

— Почитай каждый день о тебе словечко было. Книжки, что ты ему купил, все читал. Почитаешь, задумается и про тебя вспомнит. «Блудный он, — говорит, — а только ему этот блуд не к погибели. Вот иные святители тоже смолоду блудствовали, а потом озарились Господом и спаслись. На подвиг вступили. Так и он. Выведет его на путь Никола Чудотворец».

— Еще что говорил? — напряженно схватывая каждое слово Арины, допытывался кривой.

— Ну, как услышал, что били тебя, пожалел, конечно. А потом говорит: «Это к славе». Он перед кончиной-то своей сам вроде блаженного стал. Туманно говорил, умственно и все улыбался.

— Так и должно ему было стать, — подтвердил свои мысли Вьюга, — к тому самому он подвигался.

Помолчал и снова спросил с присвистом, с хрипом:

— В смертный час... меня помянул?

— Про меня и про тебя совместно. «Жди, — говорит, — вернется он к тебе, одна у вас путинка-дороженька. Верно, — говорит, — накрепко его жди, приведет его Никола Милостливый».

Кривой перекинул волну блеклого желтого света в угол, на скрытую там в темноте икону Чудотворца, перекинул свечу в левую руку, перекрестился и поклонился.

— Царство Небесное рабу Божьему Осипу... А теперь давайте и мы с вами, Арина Васильевна, поздороваемся, как полагается, после долгой разлуки, — протянул он хозяйке руку.

Арина не взяла ее, а раскинув свои, шатнулась к нему всем телом, словно сзади ее кто толкнул. Шатнулась и, не встретив желанной опоры, откачнулась назад. Кривой не шелохнулся. Так и стоял с протянутой рукой. Только бровь над выбитым глазом ходуном заходила.

Арина покорно вытерла ладонь о подол и, сжав палец к пальцу, дощечкой протянула ее Вьюге. Не того ждала. Не такая встреча в снах ей грезилась. Вьюгиных пальцев она не пожалала, молча низко поклонилась и пошла к печке.

Кривой сел к столу, снова обвел глазом избу, усмехнулся чему-то и, согнав смех с лица, пошел за Ариной, у печки обнял ее сзади за склоненную спину и зашептал на ухо каким-то не своим, не обычным, а удивившим его самого голосом. Будто не он, а за него кто-то говорил.

— Ты, Ариша, на меня не гневайся, что не приветил я тебя, что не по-прежнему повстречались мы с тобой. Ты, Ариша, помысли сама, — кто мы с тобой были и кто мы теперь есть. Хоть на мой лик взгляни, — повернул он женщину и, взяв ее за оба плеча, поставил пе-

ред собой, — взглядишь в него поплотнее. Есть я теперь Вьюга? Ваня я теперь есть?

Ты не на глаз мой смотри, какой мне головинские мужики выбили, — продолжал он быстро и страстно, теперь уже своим настоящим хриповатым голосом, — этому глазу давно панихида отпета и в поминание он у меня не записан, аминь ему! Амба! Ты на весь лик мой смотри. Что он собой есть? Труха он, Ариша, насквозь трухлявый, ровно вот как доски, какими Осип крылечко обуютил.

Труха! И крыльцо труха, и Масловка вся протрухлявила, и Рассея вся трухой позасыпана... Вот что! — выкрикнул кривой и добавил неожиданно тихим, опять чужим, не обычным своим, мягким голосом: — Какая ж промеж нас может быть теперь любовь, Арина Васильевна?

— Так зачем же пришел? Зачем воротился? — подняла упертые в пол глаза Арина. — Зачем душу мою развередил? Опять для своего только гонору... как тогда... чтобы, значит, удостовериться, как ты над бабьей мукой властвуешь? За этим?

Кривой выпустил плечи Арины и молча пошел к кровати. Стал перед ней спиной к женщине и уставил глаза в угол, где лежал скинутый Ариной мокрый от дождя бушлат. Смотрел туда долго. В тот же угол смотрела и Арина.

Вьюга медленно повернулся и еще медленнее повернул глаза на чуть заметный в темноте угла образ. Взял со стола немецкую свечку, поднял ее и уюстил в пустую лампадку. Желтые блики стали разом розовыми и облекли ласковой теплотой выступивший из тьмы лик Чудотворца.

Арина взглянула на него и закрестилась. Перекрестился и Вьюга.

— Вот зачем, — сказал он глухо, — за этим за самым. На него взглянуть, — мотнул он головой к розовой ласке лампады, — ему поклониться, у него силы взять себе, как тогда Осип... когда меня, полюбовника твоего, от урядника скрывал на этой самой постели. К нему душу свою окаянную я нес от самого ледяного океана. Вот и принес, — усмехнулся кривой, подморгнув Арине своим единственным глазом, — принес душу свою и затеплил ее перед ним... немецкою свечкой!..

— И так бывает, Ваня, — нежно, по-матерински ласково усмехнулась в ответ Арина, — всякое случается по воле Господней. А что от масла, что от свечи — в лампаде-то свет один. Только бы теплилась она...

Вьюга порывисто шагнул к женщине и крепко обнял ее. Тряхнул головой и, коля небритой щетиной усов, прижал свои к ее губам.

— Ваня, Ванюша! — из груди, от самого донца ее, проворковала, простонала Арина. — Вот когда воротился ты... мой! Мой! Соколик мой! Вьюга моя сердешная! Мука моя...

И словно вырвавшаяся из земли сила снова растолкнула обоих. Кривой так же резко откинулся от Арины и, топнув каблуками, стал перед ней, как на выпляску. Голову задрал, разметал к вискам обе брови и кулаком в бок упер.

— Ваня! Ваня мой разудалый! Ты! Как есть ты! — только и смогла сказать Арина Васильевна, сведя на грудях отброшенные кривым руками.

— Ваня! — выкрикнул кривой. — Ванька я опять! Вьюга я опять!

Вот она жисть-то, Ариша! Обмела она труху, а под ней наново дубовина! Крепкая! Не уколупнешь ее! Вот как! На этой кровати постели мне сегодня, — повелительно сказал он замлевшей и зацветившейся Арине, — в тот угол подушку клади, в тот самый, в который я, Вьюга, тогда страха ради лег. Из него, из этого угла теперь я, Вьюга, и восстану! Так? Поняла?

ГЛАВА 1

Спелое яблоко, падая, прошуршало по листве и звонко шлепнуло о землю. Сторожкие, нащупывающие шаги бредущего в темноте августовской ночи притихли.

— Что за человек? Отзовись!

Платон Евстигнеевич привстал с доски, прибитой на кольшках у входа в шалаш, и всмотрелся в темень кленовой чащи, густо забившей окраину сада.

— Слыхом слыхать, а не видно... Отзовись, говорю! — прикрикнул он строже. — Видишь, сторожа не спят? Какие там могут быть шутки в ночное время?

— Чорта он видит, — засмеялся Брянцев. — Это, наверное, Середа шляется. Комбайнер, ты? — крикнул он в темноту.

Осторожные, неуверенные шаги снова зашуршали уже вблизи самого шалаша и перед сторожами совхоза, садовым — Брянцевым и амбарным — Евстигнеевичем, явно выступила из ночи фигура шедшего от кустов.

— Что за человек? Откудова?

— С городу. В Татарку иду.

— Чего ж ночью? Какие могут быть по ночам хождения?

— А в городе где заночуешь? С поезду я. Девять ден от Горловки ехал. Беда! Огоньком не одолжите? Курить смерть охота.

— Насчет огонька возможно. Он у нас не в кооперативе купленный, а собственного производства.

Платон Евстигнеевич пошарил во внешнем кармане бушлата, извлек оттуда железное кресало, потом полез в боковой внутренний карман и из него — свитый из пакли сухой жгут и кремень, завернутый в бумажку.

— Спичек мы не купуем. Своим обходимся, без электричества.

Кресало грызнуло камень и выпустило из него пару желтеньких звездочек. Жгут затлел волчьим глазом. Платон Евстигнеевич pokrutil им в темноте и протянул пришедшему.

— На, получай продукцию.

— Обожди маненько, — задержал его руку тот, — а может и самосаду чего найдется? А? У меня одна пыль в кармане. Уважь на цыгарку!

— Э, ты, брат, вон какой жук! Дал веревочку — дай и бычка... Ну, отсыплю уж на тонкую, крути Самосаду теперь и на базаре не укупишь. Тоже своего производства. Сам-то ты откудова?

Пришедший, нащупав в темноте щепоть с табаком и боясь обронить хоть крошку, свернул, прикурил от разжигавшегося волчьего глаза, с хрипом, глубоко затянулся и, выдохнув дым, ответил:

— Татарский я и есть, домой иду.

— А работал в Горловке?

— Ишачил там на земляных последнее время. А до того на Урале был. В Сибири тоже...

— Из летателей значит? Легкого рублика искателей? Так. Нет, он, рублик, везде свой вес содержит. Не легчает, сколько ни летай. А дома что будешь делать?

— Как-никак, дома. Время такое, что к своему месту прибиваться надо. Горловка-то уже забрана.

— Взята? — переспросил молчавший Брянцев. — При тебе или только одни слухи?

— Какие там слухи. С последним составом выскочил. На поезде болтали: он уж в Кущевке.

Брянцев тихо присвистнул. Евстигнеевич — словно о чем-то очень далеком, его совсем не касающемся и неинтересующем — вымолвил:

— Все может быть, — а затем по-деловому осведомился: — В поезде-то, наверное, теснота? На тормоза, на крыши лезут?

— Нет, такого незаметно. Стоять, конечно, всю дорогу стоял, а состав классный. С самой Горловки мало кто съехал, больше дальние, с Украины, и такие вот, вроде меня, какие к своим местам продвигаются. А горловским чего же от своих домов отбиваться?

— Партийные, конечно, уходят? Администрация, начальство? — спросил Брянцев.

— Кто как. Они больше на машинах или в своих составах раньше эвакуируются. Войска тоже своим маршрутом идут, кому какой приказ. А народу что? На какого хрена переть, своего последнего лишаться? Народ, как был, так и есть на месте.

— Насилия, расстрелов не боятся?

— Это про какие радио сообщает? Нет, не опасаются. Больше на слух полагаются. А солдаты говорят: ничего этого нет, одна пропаганда. Немцы, как немцы, очень даже обыкновенные. Ну, понятно, армия, как ей надо быть, строгость, а больше ничего такого.

От конторы совхоза, окно которого желто поблескивало сквозь ветви яблонь, кто-то шел. Шаги звучали гулко и уверенно. Чертыхнулся, зацепившись за сук, подошел к самому шалашу и пригнулся, вглядываясь в сидящих.

— Ты, комбайнер? Чего с собрания смылся?

— Сторожа на месте, как им полагается, сидят да покуривают в своем штабе, а на флангах ребята яблоки обтрясают. Все в порядке. А третьим у вас кто? Не угадываю что-то.

— Это так, прохожий, — нехотя отозвался Евстигнеевич. — В Татарку идет, а к нам за огоньком завернул. Ну, докладывай, что есть новое в международном положении?

— Одна баба родила голого, то и нового. Окромя ничего.

— На собрании что объявляли?

— Прежнее. Бдительность и трудовой энтузиазм. Чего тебе еще?

— Насчет войны ничего?

— А что тебе тут сказать могут? Ровно, как и мы, тот же самый патефон слушают.

— Ну, по партийной линии другие сообщения бывают, — возразил Брянцев.

— А что ж я сам не партийный, что ли? Везде один чорт — правды не узнаешь. Политрук говорит — усилить бдительность, враг в сердце родины... А где сердце — сам дьявол не разберет. В сводке одни направления.

— Он вот говорит — под Кущевкой.

— Очень даже просто. Раз под Ростовом сбил — вали до самого Сталинграда без пересадки. Ну, и нас правым флангом зацепит. Как в гражданскую. Одна стратегия.

— Так как же?

— А так: пойду сейчас спать. Пускай они там сами на собрании преют. Завтра посмотрю в окошко, какая власть будет.

— Пожалуй что не угадаешь, — отозвался, раскуривая крупно крошенный, сыроватый самосад, прохожий. — Из окошка теперь власть не разглядишь.

— Не пойму, куда загибаешь? Положение определенное: прет немец без перебоев и припрет. Вот и все тут.

— А что он, немец, в себе содержит, тебе известно? Что он есть за власть, ты это знаешь?

— Ну, немец, фашист, капитал утверждает, собственность. Всем известно.

— Ничего не известно. Она и собственность разная бывает. Вот, примерно, по нашим местам, кто помнит, у барона Штейнгеля собственности двадцать тысяч десятин было, заводы разные, овец не счесть, а у казаков по десять десятин, ну, по пятнадцать... У иногородних и того меньше. Теперь рассуди: какую же собственность утверждать? Штейнгелеву, казачью или иногороднюю?

— Никакую. Немец по своему закону отмерит, и все тут, — веско отрубил комбайнер.

— А тебе от его закона что? Его закон, ему и полезный. А нам, русскому народу, что?

— Рассуждать не приходится.

— Это так, — подтвердил Евстигнеевич, — нас не спросят.

— А мы сами скажем. Черкани кресалом, хозяин, обратно загасла.

Газетная бумага цыгарки вспыхнула желтым пламенем и на мгновение осветила заросший седой щетиной подбородок, рассеченную глубоким шрамом губу и круто клюющий ее загиб острого носа.

Прохожий сплюнул и заговорил о другом.

— На новостройках теперь всякого народа много. Нужны люди, требуются. Паспортов теперь и не спрашивают. Даст человек какую-нибудь справку, того и хватит. Ну, конечно, тем пользуются, что власть ослабела. Всякие теперь там люди. О кулаках и говорить не приходится — их полно, но есть и повыше, даже до архиерейского чина. Тоже случаются.

— И ты встречал? — ввернул вопрос Брянцев.

— Бывало. Не могу точно сказать, архиерей, али какого другого звания, только что видно высокого. От Писания во всем осведомлен, без книг все пророчества помнит и разъясняет. Даже и Апокалипсис-книгу...

— Ну и что ж он вам по Апокалипсису разъяснял? — еще с большим интересом спросил Брянцев.

— Разное. Про зверя там, про блудницу вавилонскую, про огонь

с небес, про железную саранчу... Очень даже сходственно получается. Совсем подходящее на видимость.

Прохожий замолчал. От конторы доносились обрывки каких-то голосов. Там спорили.

— Это директор с главбухом за кассовую наличность соревнуются, — пояснил, прислушавшись, комбайнер. — Они еще утром начали: кому при себе ее держать. Ясно-понятно к чему вся эта петрушка. Ну-их к дьяволам! Ты не про блудницу нам говори, этого добра у нас хватит, а что он про будущность разъяснял, вот что!

— Про будущность тоже. Говорил: положено России за всеобщие грехи страдать двадцать пять лет. Перестрадать голодом и мором, палиться огнем и иноплеменным нашествием, а после того восстать из пепелища. Для свершения этого надо всем по своим местам быть, на своих прирожденных положениях. Крестьянину или казаку, там, на земле, в колхозе, значит, или в совхозе; купцу — при торговле; солдату — при своем полку. А как час настанет — объявится Михаил, русского закона царь.

— Это какой же? Брат Николаев, что ли? — спросил комбайнер.

— Он.

— Хватил! В восемнадцатом году расстрелян.

— Значит, нет! Спасен милостью Божией и скрывается до времени. Объявится и установит русскую власть...

— В земле скрывается, — рубил в ответ комбайнер, — на два метра вглубь, а может и боле... А с ним вместе и твоя русская власть. Там же. В одном месте.

— Были такие люди, что сами его видели. Странствует он по чужому паспорту, по России кружит и верных себе выискивает, до конца перестрадавших высматривает, претерпевших... От верных людей слышал.

— Актив, значит, сколачивает... Правильно! Из себя каков же? Что тебе эти верные люди рассказывали? — упорно налегал комбайнер.

— Говорят, не старый еще человек. Лет не более в пятьдесят, ростом невысок...

— Вот и выходит — всё брехня. Я Михаила-то Александровича может раз двадцать видел, когда в гвардии служил в Петербурге. Он от меня старше. Значит теперь ему много за шестьдесят перевалило и ростом высок. Тонкий только, худощавый, однако, очень отчетливый. Государь, тот попроще был, вроде маловат, мешковат, а Михаил, как свечка. Врут твои верные люди. Я-то знаю. Вся фамилия перебита. Вот тебе и русского закона царь! Нет, брат, два закона нам теперь предоставлены: немецкий или советский, всеобщий колхоз, так сказать. Других нету и быть не может.

— Так. Значит, выбор небольшой, — проскрипел, захватившись стариновским кашлем, Евстигнеевич, — вроде, как в нашем кооперативе.

— И выбора никакого нет, — рубил комбайнер, — тебя не спросят, чего ты желаешь. Кого сила — того и закон. Всё тут!

— Всё тут... — повторил Брянцев. — Прав ты, товарищ Середа. Тут — всё. Всё в силе. А чья сила крепче, по-твоему?

— Сам не видишь, что ли? Наши, что ль, под Берлин подошли

или кто другой под Москву? В ту войну без патронов такого не было. С Карпатов ушли, а на Стыри стали. Так ведь Стырь-то не Россия ещё, а так... пограничная зона...

— Дезики с фронта валом ваят, — продолжал, ни к кому не обращаясь, прохожий, — и не укрываются даже. Ослабла власть. Почем зря ее армейцы лают. Никого не боятся.

— А кого им боятся? Я в ту войну сам в дезертирах побывал, еще до октябрьского поворота. Кого я боялся? Ровным счетом никого, — гудел Середа, — меня, нас все боялись. Так и теперь будет. Народ, он, брат...

Комбайнер не договорил. От конторы прикатился гулкий хлопок выстрела, а вслед за ним резанул темноту протяжный вой боли и испуга.

— О-о-о-о-о...

— Чтой-то такое? — вскочил Евстигнеевич.

— Не иначе как из обреза ахнул, — спокойно разъяснил Середа.

— По звуку всегда определить можно. Надо идти.

— Иди и ты, Евстигнеевич. Узнаешь — скажешь, — подталкивал старика Брянцев. — А я здесь побуду.

Комбайнер, а за ним Евстигнеевич скрылись в темноте. Их силуэты на мгновение показались на фоне окна и снова пропали. Шаги стихли. Упало еще яблоко. В конторе снова завыл примолкший было голос.

— О-о-ой!.. Ровней берите!.. Легче, легче, под спину подхватывайте!.. — слышалось оттуда.

— Эй ты, прохожий, — обернулся к шалашу Брянцев. Но там уже никого не было. В кустах слышались удалявшиеся шаги. Кто-то лез напролом сквозь чащу кленов и бузины. — Эй, ты, татарский! — крикнул в темноту Брянцев. — Тикаешь?

— Свидимся еще... Когда время означится, — донеслось в ответ из темноты.

ГЛАВА 2

«Когда переломы жизненного пути повторяются слишком часто, они перестают быть травмами, нарушениями нормы, а становятся чем-то вроде хронического вывиха. Ни боли, ни сожалений по утраченному. Каждый новый удар воспринимается не как катастрофа, а как что-то, закономерно и логично связанное с предшествовавшим, следовательно, не только неизбежное, но и оправданное этой неизбежностью...»

Так думал доцент Брянцев, когда оставшуюся половину его педагогических часов учебная часть поделила еще надвое и отдала «излишки» прибывшему из захваченной немцами области беженцу, учителю средней школы. Половина часов первого дележа была уже отдана тоже беженцу, ловкому плановику-экономисту какого-то крупного учреждения.

— Однако простой арифметический подсчет свидетельствует с абсолютной точностью, что жить решительно не на что. Вычеты остались теми же, а получение сократилось в четыре раза. Итак?..

Это «итак» он произнес вслух уже за дверью кабинета заведующего учебной частью института, на этом его монолог оборвался. Дальше «итак» не пошло. Но когда это слово было повторено дома, то его продолжила Ольгунка, Ольга Алексеевна, жена Брянцева.

— Итак? .. Остается то, что неотъемлемо, неотрывно от человека, — без тени смущения или испуга сказала она, даже засмеялась.

— Что же? — с большим интересом спросил Брянцев, приученный опытом к недоверию всему, якобы неотъемлемому.

— То, на чем ты стоишь, я стою, мы стоим, дом стоит.

— Пол? Земля? — с недоумением спросил Брянцев.

— Земля. Конечно, она. Родящая, кормящая, вмещающая.

— Но, позволь, у нас с тобой нет ни сантиметра этой родящей и кормящей. Разве вон там, на окне в цветочном горшке.

— Колхоз, совхоз, племхоз... Какой угодно хоз, но с землей. Там — паек. Проживем.

— Мне-то что делать в этом кол-сов-племхозе? Что? — развел руками Брянцев.

— Всё, что придется. Как кавалерист в прошлом, ты можешь быть конюхом, как знающий арифметику — учётчиком... Да мало еще чем, ночным сторожем, наконец. Не всё ли равно? Я что-нибудь буду делать. И еще одно соображение, очень важное, — голос Ольгунки снизился до шопота, — ты человек заметный, ты на учете, — она опасливо посмотрела на стену, — ты уцелел в тридцать восьмом году, потому что был тогда нужен, почти случайно... Второй раз это не удастся: уходя, они хлопнут дверью. Все так говорят. И тебя прихлопнут. А где-нибудь в колхозе — проскочишь. Во всяком случае там больше шансов проскочить.

Планировать дальше было уже легко. Не только планировать, но и претворять план в реальность. Агроном учебного хозяйства соседнего зооинститута был свой человек и к тому же любил выпить под хорошую закуску. За литровкой и сладкий.

— Правильное взяли направление, Всеволод Сергеевич, — сказал он, выслушав просьбу Брянцева, — у нас вам только и быть. Сделаем! За большим не гонитесь. Лучше будет, коли потише. Назначим вас сторожем к парникам, хотя бы и сверхштатным, но паек тот же пойдет. Прокормитесь. Потом, летом, в сад можно будет перевести. Там полное раздолье. Природа! Витамины всеми буквами: А, В, С, Д... Этого добра хватит... Курорт, я вам доложу. С пчеловодом подружитесь. Он тоже свой парень, хотя и латыш, но человек русский. Бородку себе отрастил, а пузо само нарастает. Ишь, вы какой художник, — пощупал он ребра Брянцева, — ну, дернем очередную. Подпись и печать. Всё в порядке.

Институт тоже не протестовал против ухода доцента Брянцева. Там всё шло теперь турманом. Большинство студентов было мобилизовано, оставались почти одни лишь девушки, да и тех поубавилось: одних тоже мобилизовали, другие сами пошли в связистки, медсестрами, кое-кто даже в авиашколу. Расписания, графики, программы, учебные планы изменялись чуть не каждую неделю. Об их выполнении теперь никто не думал и никто не спрашивал. Секретарь учебной части сначала хватался за голову и пытался что-то кому-то доказывать, потом сам махнул рукой и так исчертил весь лист расписания

поправками и заменами, что сам перестал понимать—кто, в какой аудитории и по какой дисциплине будет заниматься? А студенты перестали удивляться, встречая преподавателя диамата вместо ожидаемого профессора языкознания или математика вместо химика.

Кроме того, учебной части самой нужны были свободные педагогические часы. Различные организации то и дело требовали устроить то одного, то другого беженца. Протестовать было опасно. Кто их знает, этих беженцев? Может, и высокого полета, — неприятностей наживешь. Курсы кромсали, делили, перераспределяли, приспособливали. Обалдевший так же, как и секретарь, заведующий учебной части отдавал кафедры точных наук — математики, физики — каким-то непонятным специальностям инженерам или бухгалтерам; литературные предметы — учителям, а порой и плановикам-экономистам. . . Не все ли равно! Сегодня все кувыркотом летит, а что будет завтра — чорт его знает! Может, ни института, ни студентов, ни самого города не будет. . .

— Не все ли равно? — думал и Брянцев, идя по степи. — В учхоз сторожем — так сторожем! Паек дадут — сегодня сыт, и баста. Сегодня скверно лишь то, что проклятая веревка с узлом.

Он скинул с плеча переброшенные через него тючки с одеялом, подушкой и какой-то посудой.

— Эх, нагрнула меня Ольгунка! Всегда масса лишнего. А впрочем, не все ли равно?

Брянцев сел на уже просохший придорожный лобок и сбросил шапку на землю. Ее пушистый кроличий мех забивался в уши, глушил, душил. Робкий мартовский ветерок скользнул по его вспотевшему лбу, подкинул на нем прядь седеющих волос, побаловался ею и побегал по мерцающим в коленях рябоватым лужам. Снега в степи оставалось уже мало, но весенняя трава еще боялась вылезать, пробивать бурую прошлогоднюю ржавчину.

От кочки, на которой сидел Брянцев, тянуло влажным теплом, парным, весенним пригревом и еще чем-то. Чем? И не только от кочки, а от всей земли. словно тот струистый, прозрачный парок, узкую ленту которого видел Брянцев вдоль всего горизонта, входил в его тело, заполнял в нем какие-то щели, трещины, пустоты, — скреплял, спаивал его.

«А ведь давно я настоящей земли не видел, — подумал Брянцев, — цемент и бетон — не земля. . . Черствая корка земли. Нет, даже не корка. Та сама — от хлеба, из хлеба, родная ему, а бетон — оковы, насилие, как стены тюрьмы».

Серые стены одиночной камеры в Бутырьках ясно встали перед Брянцевым. Серые, глухие. . . и двери с решетчатым окошком-глазком. . .

— К чорту! — крикнул он во весь голос и замотал головой, вытряхивая непрощенное воспоминание. — К дьяволу!

Вившийся над ним жаворонок прыгнул в сторону от этого крика.

Брянцев обвел глазами всю ширь степи, оперся о землю обеими руками, потом копнул ее и, набрав обе горсти влажного рассыпчатого чернозема, долго внюхивался в них.

«Так и тогда она пахла. Тогда. Далеко это «тогда», словно совсем его не было. Ничего не было. Ни широкого парующего поля, ни серо-серебристой колосающейся ржи, ни самого гимназиста Всевы Брянцева,

скачущего среди нее по проселку на ладном гнедом меринке Каштанчике... Ничего этого не было! К чорту! Мареву. Раз ушло из реальности — значит, нет его, исчезло, как круги на воде от брошенного камня. Разойдутся — и нет их. Даже и следа нет. К чорту... Надо идти в учхоз, в паек, в реальность, в жизнь. Она есть. Она не мареву. Учхоз, паек, сторожка. Точка».

Но найти себе пристанище в учхозе оказалось труднее, чем ожидал Брянцев. Жилищный кризис злобствовал и здесь.

— Придется вас к Яну Богдановичу, пчеловоду нашему, вселить. Вернее сказать, втиснуть, — басовито ответил полный, осанистый бухгалтер, приняв его документы, — человек он тихий, можно сказать, даже интеллигентный. Это дебет, — подвел он итог, произнося слово дебет с ударением на первом слоге, и загнул один палец на левой руке. — Но с другой стороны, пять человек малых детей. Меньшая еще в пеленках. Это кредит, — также ударил он на первый слог и загнул на правой руке один палец, — теперь сбалансируем, — свел он оба пальца, распрямив их. — Впрочем, и балансировать нечего. Или к пчеловоду или в холостяцкое общежитие. Там — мат, грязь, совсем из нее протекающим и происползающим. К Яну Богдановичу... От конторы проулком четвертый дом. Здесь не город — всякий покажет.

— Но а если я разом, как полагается садовому сторожу, в шалаше поселюсь, при парниках? — спросил Брянцев.

— Дело, конечно, ваше. Но пока у нас март месяц. По ночам еще заморозки, да и вообще морозы возможны. В целях сохранения здоровья — не советую.

— Ничего, я уроженец севера. Холода не боюсь, и одеяло у меня теплое.

— Ну, как вам желается. С нашей стороны препятствий нет. Только шалаш вам самим придется построить. Сумеете? — с сомнением оглядел он Брянцева.

Но в этом строительстве неожиданно нашелся дельный помощник, в лице Яна Богдановича, молодого белобрысого латыша из Псковской области. Он разом притащил каких-то слег, добыл снопов пятьдесят сухого ломкого камыша и, пошептавшись с зоотехником, объявил Брянцеву:

— Будет еще воз соломы. Через контору, конечно, невозможно, а по блату — в два счета. Теперь всем обеспечены.

Строительное рвение латыша не требовало объяснений: иметь еще одного и к тому же неизвестного жильца в своей набитой детворою небольшой комнатке его ни в какой мере не привлекало. Шалаш, в котором можно было стоять не сгибаясь, соорудили в один день. Даже что-то вроде двери примостил ловкий Ян Богданович, оторвав несколько досок от старых ульев.

— Придет весна, будете сидеть и любоваться. Сад, надо вам сказать, неплохой, зарос только без присмотра, одичал, а саживший его хозяин знал дело. Я ведь тоже садовник. Мы, латыши, все садовники...

Так и покатались дни, ровные, гладкие, как отточенные водой голыши — ухватить не за что. Сначала Брянцев не находил своего места в жизни учхоза. Чужим, случайным казался он и другим и самому себе. Устроив его туда, агроном Трефилев теперь явно его избегал. Это понятно: боялся обнаружить свой протекционизм. Случись что —

кумовство пришьют, а то и хуже. Директора Брянцев также знал раньше, но теперь сам избегал встреч с ним. Тогда они были равными, встречались в одном и том же институтском кругу, а теперь Брянцев — один из самых низких на социальной лестнице его подчиненных. Как-то фальшиво, несуразно. Плотный бухгалтер сидел день и ночь в конторе и четко, звонко отбивал костяшками счет. Даже ритмично, вроде какого-то джаза получалось, особенно эффектного при итогах. Брянцев и к нему не заходил. Бухгалтеры казались ему даже не людьми особого, сниженного вида, а лишь внешностью людей при цифровом дебетно-кредитном содержании. Зоотехник учхоза — молодой, очень веселый комсомолец Жуков, только что окончивший тот же институт, целый день носился по двору, коровникам, свиарникам, выкрикивал ходкие, навязшие в зубах лозунги или отпускал такие же замызганные советской «житухой» словечки. Он не «задавался», охотно и легко шел на мелкий блат, разрешал брать охапки соломы из неприкосновенного кормового запаса, манипулировал с удоями, нагоняя премиальные заигрывавшим с ним дояркам, списывал, как негодных, овец, шедших под нож в котел и, конечно, лучшими частями — администрации. Словом, он был «свой в доску», и это корбило Брянцева.

Путь к учхозной интеллигенции был закрыт, а другого — к «массам» Брянцев сам не мог нащупать.

ГЛАВА 3

Навел его на этот путь лысый Евстигнеевич — другой сторож; Брянцев — в саду, он — при складах, как назывались теперь амбары, строившего их разбогатевшего тавричанина Демина, расстрелянного еще в девятнадцатом году. Евстигнеевич пришел к парникам в первую же ночь сторожовки Брянцева. Маленький, словно придавленный горбом сутулины, он вширь пошел, в сучья, как сам говорил. Корявыми сучьями были его непомерно длинные руки с ветвями буграстых в суставах пальцев; клочьями прошлогоднего моха рыжела не то борода, не то давно не бритая щетина. Позже Брянцев узнал, что Евстигнеевич не брился, а стриг себе подбородок большими тупыми портновскими ножницами. Неопределенной формы ушастая шапка сидела на голове у него вороньим гнездом, а под нею поблескивали хитроватые медвежьи глазки, прячась за выпирающими мослаками скул.

— Совсем леший, мужичок-лесовичок Коненкова, — подумал, увидев его, Брянцев, — и на «Пана» Врубелевского тоже похож. Только этот на свирели не заиграет.

Оказалось потом — ошибся. Была своя свирель и у Евстигнеевича. Только не семиствольная, как по классическим образцам полагается, а вроде сопелки или погудки, на каких наши скоморохи зажаривали. Этим инструментом была его речь, на переливы которой он не скупился.

Придет Евстигнеевич свечеру к шалашу, сядет рядом с Брянцевым на лавочку, свернет козью ножку из собственного самосада и заведет... Про что? Про все. Тут и воспоминания о царском времени, и самые новейшие учхозские сплетни, и сарказм, и умиление, и вопросы,

и поучения — все вместе, и все это связано, сплетено меж собой, как наборные ремешки в любительском кнутаке.

— Слышал, милоч, — он, единственный в учхозе, с Брянцевым разом на «ты» заговорил, — Капитолинка-то, активистка-то наша стопроцентная, опять гомозит вещевой сбор на армию. Это, знаешь, подо что она подводит? Под мое одеяло. Да-а, одеяло это я в прошедшем году знаменито себе справил. Мануфактура вроде как старорежимный рипс, кроме директора да бухгалтера только мне и досталось. Теперь она с меня хочет его стробовать, а в сдачу свое латаное вместо него сунет. Такой у нее план. Эх, народ! Куда свою совесть дел? Куда? Ты человек ученый, как это понимаешь? Молчишь? И правильно делаешь, что молчишь. О чем ином помалчивать лучше. Спокойнее. Я, милоч, так всю мою жизнь прожил. шестьдесят два годка. Когда с меня требуется — подам голос, а не требуется — помолчу, — наигрывал он на своей сопели. — Так и ты действуй. Худого не будет. Я-то знаю — шестьдесят два годка прожил.

Удивил Евстигнеевич Брянцева тем, что оказался партийным еще с восемнадцатого года и красным партизаном к тому же, а в учхозной иерархии — экспонатом почетного старика, на особом положении. Домик под железом, в котором он жил, считался его собственным, и к нему никого не вселяли. Евстигнеевич хвастался даже каким-то документом на этот счет. Ему принадлежали несколько ульев на учхозной пасеке и пяток овец в показательной отаре.

«Когда требуется, — голос подам, а не требуется — промолчу», вспомнил, узнав это, Брянцев.

Свой голос в буквальном смысле Евстигнеевич подавал очень аккуратно — всегда посещал все собрания и выжидал на них до конца.

— Отчего ж не пойтить, раз приказывают, — объяснял он Брянцеву, — за час-другой штанов там не просидишь. Вроде отдыха даже. Ну и послушать, что болтают, тоже можно, а велят голоснуть — отчего же? Извольте. Мне что? Руку поднять трудно, что ли? С нашим вам удовольствием!

Вслед за Евстигнеевичем к шалашу стал приходиться комбайнер Середа, полная его противоположность, хотя тоже партиец и красный партизан. Этот не говорил, а обязательно «крыл» кого-нибудь или что-нибудь, «крыл» напролом, не заботясь об аргументации покрытия. Наружность для этого у него была самая подходящая: рост гвардейский, голос хриплый, но зычный, шаг широкий, решительный, уверенный. Середа не ставил ноги на землю, а вбивал их в нее.

— Гады! — громыхал он. — График ремонта составили, выполнения требуют, а запчастей чорт-ма... Не шлют и не чешутся! Директор этот, — следовала долгая малоцензурная характеристика, — гад, говорит: обойдись, преодолей трудности... Пускай он так сам без... со своей бабой обходится!..

Днем в сад заглядывал иногда еще кладовщик, с румяными лоснящимися щеками. Он был любезен, даже искателен. в разговор вставлял какие-то очень мало понятные намеки, но в первый же день, уходя, задержал руку Брянцева в своей потной, пухлой ладони.

— Вечерком придете с бутылочкой — молока возьмете.

— Мне разве полагается? — удивился Брянцев.

— Что значит — полагается? Дернете там с парников редисочки да

зеленого лука, вот вам и ордер. Иначе как проживешь? — вздохнул он. — Сами понимаете.

Так, различными, но переплетающимися между собой, тропинками входил Брянцев в новый для него быт. Не обошлось и без ухабов. Когда началась пахота, и мужчин на плужки не хватило, активистка Капитолинка, крикливая баба с острым, как у цапли, носом, потребовала на производственном совещании, чтобы и Брянцева поставили на плуг.

— Что же с того, что антилигентный? Мужчина он крепкий, молодой еще, должен выполнять свои обязанности перед государством!

— Дура! — громыхнул на нее комбайнер. — Тебе чего нужно? Чтобы землю как ей следовало быть подготовить или глотку свою подрать? Видишь, человек городской. Он, может, и плуга близко не видал, такого тебе наворотит, что вслед трактор пускать придется. Надо понимать, что к чему.

К плугам поставили двух стариков: Сивцова и Опенкина. Сивцов числился в учхозе конюхом, а Семен Иванович Опенкин не служил совсем, жил при сыне, теперь мобилизованном.

Агроном с сомнением посмотрел на обоих:

— С этой древности толку будет немного.

Но делать было нечего. Война уже съела не только всех молодых, но заглотнула и пятидесятилетних.

Опенкин почесал давно небритый подбородок:

— Лошадкам овсеца добавить обязательно надо. С зимы сморены. Какая на них теперь пахота?

— И так из брони берем, — отмахнулся директор, — какой там еще добавок. На посевную бы только хватило. А так трава в степи подойдет.

— Насчет тракторов, значит, никак не выходит? — жалостно и безнадежно спросил старик.

— Бабит... — многозначительно рыкнул магическое слово Середа. — Ремонт трактора стоял, не было нужных материалов и главным образом поглощенных войной металлов.

С этими стариками Брянцев почти не соприкасался. При встрече здоровался, пробовал втянуть в разговор, но оба они отмалчивались и как-то отчужденно, даже подозрительно взглядывали на него:

«Кто его знает, что за человек?» — читал в их глазах Брянцев.

Посевного плана не выполнили.

На общем собрании активистка Капитолина попыталась найти виновников срыва, покричала, но тут же и осеклась. Очевидность была слишком ясна. Да и кого совать во вредители? Нету работников. Одна администрация осталась, а ее цеплять опасно.

Прошла весна — пришло лето. Борода у Брянцева отросла, и проседь стала заметней. Это разом состарило его. Нечищенные и неглаженные штаны висели теперь мешками, и сам он чувствовал, что утратил внешнее отличие от других обитателей учхоза, сравнялся с ними, приспособился к среде, как говорил он сам приходившей к нему каждую субботу Ольге. Даже речь его стала иной, часто неправильной. Ее литературные формы выветрились, а на их место втиснулся советский жаргон.

— Совсем настоящим ты дедом стал, — говорила, смотря на него, Ольгунка, — даже дубинку себе вырезал дедовскую, с корневой бул-дыжкой.

— Надо же стиль выдерживать, — смеялся в ответ Брянцев, — да и удобней это. Дед так дед, сторож при саде, и больше ничего, орет на ребятишек, баб выпроваживает, матерится, когда требуется — и ладно. А то глазают, как на какое-то чучело, или еще того хуже — сочувствовать начнут. А теперь я в ансамбле, врос в него. Недавно наших студенток сюда на полку прислали. Правда, не моего курса, но в лицо, конечно, знали прежде. Увидели меня и кричат:

«— Дедушка, отец, пусти яблочек порвать!»

— А закон от седьмого августа вам известен? — отвечаю, ехидно так говорю, — вы люди антиллитентные, — народно язык ломаю, — должны социалистическую собственность понимать . . . »

— Ну и что?

— Да ничего. Обругали меня «старым режимом» и ушли. Впрочем, я потом двум из них полные подолы падалицы насыпал.

— Хорошенькие были? Ретивое не выдержало? — поддразнила Брянцева Ольгунка.

— Нет, так себе. Но очень уж умильно на ту вон румяную розовобочку поглядывали. Даже вкус ее чувствовали — по глазам видел. Что ж делать? не выдержал, пожалел. Совершил социалистическое преступление.

— Утешься. Все мы теперь социалистические преступники в той или иной мере.

— В этом ты права, — засмеялся Брянцев. — Знаешь, у меня в Москве знакомая была, даже приятельница, американка, увлекавшаяся коммунизмом, журналистка. Прекрасно выучилась по-русски, но всё же забавные у нее экивоки получались: вместо уголовной ответственности ляпнула — поголовная ответственность в СССР. А с клубом имени Ленина того хлеще получилось: была, говорит, в публичном доме имени Ленина. Это она мысленно — publishing house — с английского перевела. Слушавшие чуть не лопнули: и смех разрывает — очень уж в точку попала, — и смеяться нельзя — влипнешь!

— Сошло?

— Ей сошло, конечно . . . Дружественная американка. А один из пересказывавших этот анекдот угодил, куда полагается.

— В страшное время мы с тобой, Севка, живем, — глухо, в себя, проговорила Ольга, срывая травинку.

— Открыла Америку! Конечно, в страшное. Только бояться его не надо. Самим себе тогда хуже.

— А как же . . . как же не бояться? За тебя, за себя, за папу? — подняла Ольгунка свои большие серые глаза.

— А так . . . Плыть по течению . . . Куда-нибудь донесет. Или . . .

— Или? . . .

— Или найти упор, — твердо и четко сказал Брянцев, — чтобы ногами в него впереться, оттолкнуться от него, и . . . против течения пойти.

— А где этот упор? Какой он?

— В этом-то и беда, что ни ты, ни я, никто из нас его не знает и тем более не чувствует. А он есть. Должен быть. Обязательно должен.

Ольгунка осторожно сняла с травинки красную с черными пятнами божью коровку и посадила ее себе на палец:

— Хотел бы ты, Севка, быть букашкой? Вот такой, как эта, пестренькой? Смотри, как она спокойна. Беру ее, сажая на палец. Она не улетает. И не боится. Ничего не боится. Что ей — жить или не жить, всё равно? Ведь не даются же в руки мухи и комары?

Божья коровка расправила крылышки, попробовала их и медленно полетела.

— Видишь, и она боится.

— Нет, это она по своим делам отправилась, — убежденно сказала Ольгунка, — к деткам... Есть же у нее детки? А ты книги прочел, какие я тебе в тот раз принесла? Давай, переменить надо.

— Ни одной не прочел. Я и читать тут совсем разучился. Знаешь, сяду в тенёчке, открою книгу и с первых же строк бросаю.

— Ну и что? Что же ты делаешь? Ведь скучно же?

— Нет, — покачал головой Брянцев, — совсем не скучно. Сажу, смотрю, как трава растет, как облачка по небу бегут. Знаешь, я раньше всегда спешил. Всю жизнь спешил. Когда маленький был — скорее вырасти. Потом скорее кончить гимназию, университет. Потом война. Тогда спешил, торопился, как бы без меня немца не победили. Вот дурак был! — по-доброму засмеялся Брянцев, мысленно представив себя тогдашним. — Знать всё торопился, познать, разрешить, любить. Заглатывал жизнь, даже не разжевывая. Все мы так жили и так теперь живем.

— Поживи по-другому, когда семью кнутами тебя в темпы загоняют, — злобно огрызнулась Ольгунка, и лицо ее стало разом серым, сухим, даже нос заострился.

— Нет. Не это. Не только это, а жадность гнала. Ко всему жадность. К времени. Вот скорее бы да побольше заглотнуть его, «своего», моего времени. Потом умру, и времени больше не будет. Значит, хватай что попало.

— Всегда так было.

— Нет, не всегда. Когда люди верили в вечность своей жизни, в ад, в рай, в чистилище, тогда они не спешили. Незачем было спешить. Здесь на земле — не конец, а только этап. Зачем же торопиться, заглатывать, давиться? Поэтому и в пустыню уходили, чтобы там познать себя, мир и Бога. Полностью познавать, а не клочки из знаний вырывать. Или наоборот — земными радостями наслаждались. Да еще как наслаждались-то! Во всю ширь! Грешить, так уж грешить, а не по мелочам грешничать, не с оглядкой на милиционера... Оптом люди жили, а не в розницу. Поняла?

— А ты как жить хочешь?

— Никак. Сам жить, своей жизнью совсем не хочу. Нет ее, и добывать, трудиться не стоит. Хочу вот посмотреть, как трава растет — и всё тут.

Ольгунка тревожно заглянула в лицо мужа. Внимательно осмотрела лоб, глаза, щеки, расправила сбившиеся брови и бороду.

— Плохо дело! Стареешь ты, Севка! Или просто устал, слишком измывался. Сидины у тебя сколько набилось, — выдернула она седой волос из его бороды, — и от глаз морщинки побежали. Вот откуда это «как трава растет». Седина в бороду, а бес в ребро.

— Какой там еще бес! Меня теперь и дюжина чертей блудить не потянет.

— Не блудный, нет. И даже жаль, что не блудный. А тот, которого великопостной молитвой закликаем: «Духа праздности и уныния не даждь ми». Я всегда удивлялась: почему уныние — грех? А теперь понимаю. Ведь ты совсем другим недавно был. А прежде? Вспомни, и война, и контрреволюция, и свое внутреннее нарастание протеста?

— А теперь трава, — без грусти, даже с улыбкой кивнул Брянцев на куст разросшегося чистотела. — Пусть вот он растет, а я посмотрю. Вырастет — хорошо, засохнет — чорт с ним. Знаешь, Ольгунка, были когда-то герои, люди подвига, змиеборцы, победители драконов. Кто они были? Вероятно, такие цельные, из одного сплошного камня высеченные куски жизни. Они не боялись. Ничего не боялись и добивали последних птеродактилей. Но окружающих они так поражали, что и теперь о них помнят. О победах Зигфрида, святого Георгия, Добрыни... Они рождались тогда именно потому, что оптом люди жили, размашисто, во всю! А теперь в розницу живут, как в мелочной лавочке. Значит, теперь ни подвига, ни змиеборцев, ни победителей зла быть не может. Одно только и остается — смотреть, как трава растет, — снова засмеялся Брянцев.

— Заладил свою траву, — сердито отвернулась от него Ольгунка, — и вылезти из нее не может, запутался, завяз. Нет, мне не до травы, — повернулась она снова к Брянцеву, — у меня два толкача: ненависть и страх. Да, два! — почти выкрикнула она с таким напряжением, что подбородок задрожал, — и оба к одному толкают. Смотрю на людей и в каждом врага подозреваю, каждого боюсь, следовательно, ненавижу. Всё ненавижу! — ударила она по коленке своей загрубевшей, но маленькой рукой. — И яблоко, вот эту розовобочку ненавижу, потому что и она — советская! Смотрю на нее и вспоминаю, какие у дедушки в саду яблоки были. Его собственные, а это чужие, социалистические! Ненавижу их и сама этой ненависти боюсь... Прорвется — плохо будет. За тебя боюсь. За себя боюсь. Днем боюсь. Ночью боюсь. От страха еще сильнее ненавижу. Так вот и толкает страх и ненависть вместе с разных сторон, но к одному.

— Оттого и мучишься, — погладил Ольгунку по голове Брянцев, но она оттолкнула его руку, — а я, видишь, спокоен.

— Погоди, — совсем злобно прошептала Ольгунка, — погоди, и ты забеспокоишься. Это так сейчас на себя тишь да гладь напускаешь, сам перед собою позируешь... Ничего! Пройдет! Ведь не травоядный же ты, чтобы на эту красоту любоваться, — ткнула она в куст чистотела ногою в продранной сандали. Ткнула, сломала мягкие стебли, с брезгливой ненавистью присмотрелась, как из них потек густой желтый сок, потом порывисто выхватила из земли пук травы, смяла, изорвала и с силой бросила о землю.

— Всё ты врешь! Не трава ты! Не мог ею стать!

— Упора нет, Ольгунка, упора для ног нет, чтобы над травой подняться.

— Врешь! Сам его найти не хочешь! А есть он.

— Где?

Но такие споры бывали редки. Ни Брянскому, ни Ольгунке их не хотелось. Лишняя нагрузка. Чаше сна, приходя по субботам к его

шалашу, вываливала разом целый короб новостей, главным образом военных слухов. Ими жил весь город. Официальным сводкам не верили, да и говорили они сжато и мало. То под Харьковым, то под Воронежем шли упорные бои с переменным успехом. Новых «направлений», как в прошлом году, теперь сводки почти не обозначали. Но известие о взятии немцами Ростова всколыхнуло город до самых глубин.

— Близко! Значит... к нам идут, — шептали то со страхом, то с затаенной, но просачивающейся помимо воли надеждой.

— Ростов взят! — было первым словом Ольгунки в ее последний приход на хутор.

— Ты так сияешь, словно сама его брала! — обнял ее Брянцев. Но и сам он при этом известии выпрямился, расправил плечи и дернул отросшую бороду, словно хотел ее оторвать. Потом крупными шагами прошелся по аллее.

ГЛАВА 4

Евстигнеевич долго не возвращался к шалашу. Брянцев слушал, как гомонили в конторе, как истошным голосом выкликала какая-то женщина:

— Всех их передуть надо! Диверсанты! В гетепу надо дать знать! Какой ты после этого дилектор, когда у тебя в конторе спиенов полно!

— Потихе ты, потихе, — гудел бас бухгалтера, — придут власти — найдут виновников. А на всех огулом валить разве возможно? Ты рассуди спокойно.

— Нечего мне рассуждать, — взвизгивал женский голос. Теперь Брянцев узнал его. Кричала жена профорга Матвеева, тупого, подследоватого неудачника из партийцев, подолгу томившего всех на докладах о международном положении.

«Она, — решил Брянцев, — так же, теми же взвизгами она орала третьего дня у колодца на какую-то бабу, упустившую туда бадью. И слова те же: диверсанты, спиены... От мужа нахваталась и козыряет ими, запугивает. Права Ольгунка — страх, всюду страх. Но что ж? Значит, в профорга кто-то выпалил?..»

Из темноты неслышно выполз Евстигнеевич и уселся на лавочке.

— Ну, дела, — вздохнул он всею грудью и огляделся.

— Да говори толком, расскажи, что случилось? — дергал его за рукав Брянцев.

— Тут рассказывать надо с соображением, — снова оглядел темноту Евстигнеевич. — Наше с тобой дело — стрельнул кой-то, — слышали, верно. На то мы и сторожа. А больше ничего не знаем.

— Кто стрелял? В кого стрелял?

— Вот то-то... Кто? Через окошко пальнул и прямо ему в пузо. Он в этот раз аккурат к окну повернулся.

— Да кто?

— Известно, Матвеев, профорг. Не узнал, что ли, по голосу?

— Чорт его узнает, визжал, как резаный поросенок.

— Подумать на кого хочешь возможно, — продолжал, снова вы-

дохнув из груди, Евстигнеевич, — на кого хошь. Он, профорг, на всех писал. Хотя бы и на директора. Все на него злобятся. Только тут с другого конца подходить надо. Кто осмелился — вот в чем вопрос? Молодых ребят, так сказать, рысковых, у нас не осталось. Все мобилизованы. А старики на такое дело не пойдут... Кровью весь залился. Как есть, прямо в пузо. Директор велел запрягать, чтобы разом в больницу везть, а сам с ним собирается. Для сообщения, значит. Дело, конечно, серьезное. Ты, милоч, вот что... о прохожем этом, какой закуривал, помалчивай, и Середе я тоже скажу. Молчок. Это не иначе, как чужой кто-то пальнул. Из наших некому. Ты помалчивай... как черепаха. Черепахой-то спокойнее.

— Какая еще черепаха?

— Обнаковенная. Не видал, что ли, в степу? Их там сколько хошь. А кто она есть, эта черепаха? Жаба, самонастоящая жаба, только костью обросла. Для того обросла, чтобы жить спокойнее. Жабу камнем пришибить очень просто или ужак заглотнуть может. А этой подавится. Кость.

— Обалдел ты, что ли, с испугу, Евстигнеевич? Чушь какую-то порешь?...

— Нет, милоч, — по голосу слышно, что старик уже снова повеселел, — не чушь это, а я жизнь свою так прожил в благополучии. Тоже кость, навроде черепахи себе нарастил. Думаешь, ужаков-то мало? Везде они, скрозть. Каждый тебя заглотнуть интересуется. И не убежишь от них, некуда. А коли костью себя оградил — живи спокойно и бежать никуда не надо. Сиди на своем месте с полным удовольствием.

— Да ты, Евстигнеевич, дарвинист, — засмеялся Брянцев, — даже больше того, сам вроде Дарвина.

— Дарвин там или дарвинист какой — мне это ни к чему. А только считай. Вот Демина этого, который хутор наш устроил, разменяли в восемнадцатом годе, хотя не чиновник был и не офицер, так себе — крестьянин с деньгою. Тавричанами у нас таких зовут. Они нездешние. Ну, хорошо, обстроился он, думал жить-поживать, а кости-то себе не нарастил. Его — хлоп! — и нет ваших, а мне от его строительства домик тогда отвели. Понял? Живу себе тихо: пчельник, овечки, сыны при хорошей службе, дочка на докторицу обучается... Чего мне еще?

— А скажи, Евстигнеевич, — тихо заговорил Брянцев и сам услышал в своем голосе какие-то давно не звучавшие в нем тона, — не бывало с тобой так, чтобы ты задумался? Вот такие же, как ты, крестьяне в колхозах живут. Живут они плохо, сам знаешь, а ты всем доволен. Прикрылся партбилетом и благоденствуешь.

— Как это прикрылся? Если без соображения, так тебя никакой партбилет не прикроет. Мало их, что ли, на моих глазах постреляли, партийцев-то, директоров, председателей? Потому — без рассуждения жили. То же и в колхозах. Живут там, конечно, очень даже плохо. А мне что? Я никому не вредительствую, не сообщал, не доказывал ни на кого. За мной такого сроду не было. Живи, пожалуйста, как тебе возможно — я не против, мне это спокойнее, когда ты хорошо живешь. А вот тот же профорг, к примеру, через что пострадал сейчас? Через свою личную глупость: в чужую жизнь влезал.

— Кто все-таки его мог хлопнуть? — сам себя спросил вслух Брянцев.

— Не иначе, говорю, чужой, — уверенно ответил Евстигнеевич, — по старой злобе. Таил в себе эту злобу до времени, а пришел часок — подвел ее к балансу. Мало ли, что ль, такого по колхозам? У вас в городе, конечно, строже, там нагляднее, а тут вот пальнул в окошко — и нет его. Ищи! Теперь самое время балансу сводить.

— Думаешь так? Время?

— А как иначе? Шаткое положение. Каждый свою думку таит.

— А ты Евстигнеевич, таишь?

— Мне что, — нараспев протянул уклончивый ответ мужик, — я при своем месте. На меня никакого указания быть не может. Та ли власть останется или другая какая установится, я как был мужик, жук навозный, так и есть до кончания.

Окно конторы всё еще светилось, и там шумели. Кто-то приходил, что-то говорил, хлопала и визжала на блоке дверь. Было слышно, как прогремела поданная бричка. Потом свет потух. Стихло. Темнота сада посерела. Потянуло сыростью.

— Светает, — зевнул Евстигнеевич. — Ну, теперь готовься, завтра жди гостей. Всех прошерстят, это обязательно. Так ты насчет прохожего помалчивай. Оно так и пройдет: сторожили, слышали, а знать ничего не знаем.

ГЛАВА 5

Но ожидаемые гости — энкаведисты — наутро не явились, а, вместо них, совершенно неожиданно, в будний день, пришла Ольга, да не одна, а с Мишкой. Оба, особенно Мишка, были сверху донизу обвешаны узлами, узелками, мешками и мешочками, с чемоданом и корзиной в руках. Брянцев заснувший на рассвете и разбуженный окликом Ольги, выбрался из шалаша, ничего не понимая со сна, сел на лавочку и даже не поздоровался с пришедшими.

— Это что за великое переселение народов? — протер он плохо раскрывшиеся глаза.

Ольгунка стряхнула с плеча вязку узлов, опустила корзинку на плантацию чистотела и, сев на нее, вдохнула всей грудью, сколько смогла, утреннего свежего ветерка. Ответил за нее Мишка.

— Эвакуация. На полный ход. Еще вчера с утра началась: по учреждениям стали списки составлять, потом бросили, и кто куда на высшей скорости.

— У нас успели составить, — едва переведя дух, заторопилась выложить свои новости Ольгунка, — наверное, заранее подготовили. В Здравотделе ведь большинство евреи... Они в первую очередь... Меня тоже вписали.

— Ну? — заволновался теперь и Брянцев. — Ну и как же? Ехать?...

— Я сказала, что за тобой должна сбегать. Там ведь знают, где ты... Ничего, Вера Исаевна и тебя вписала, как члена семьи.

— Ну как ты не сообразила?! — вскочил с лавочки Брянцев. — Куда ехать, зачем ехать?

— Говорю — ничего, — передохнула и засмеялась Ольгунка, — Вера Исаевна свой человек, поняла, конечно, что я от общей погрузки

увеливаю. Ей что? Не все ли равно? Но сама застраховалась, как полагается — вписала.

— Вы не беспокойтесь, — вмешался тоже разгрузившийся от своих выюков Мишка, — никто там о вас и не вспомнит. Такой шухер по всему городу идет, что вообще никто ничего не понимает. Только одно и слышно везде: эвакуация. . . В институте ни директора, ни завуча. Секретарь на всех чуть не с кулаками лезет, орет: «Что я больше вас, что ли, знаю? В парткоме справляйтесь!» А в парткоме полная пустота: у столов ящики вытянуты и перерыты. Видно, всю ночь выбирали оттуда, что полагается.

— Ну, а кто же на секретаря насаждает? Профессора? Они эвакуироваться хотят?

— Какой там, — ухмыльнулся Мишка лоснящимися от пота щеками и стал разом удивительно похож на полнолуние, — тоже страхуются, видимость делают на всякий случай. Я нарочно по институтскому городку пробежал: везде туфта. Суется, новости выпрашивают, какие-то матрасы перетряхивают, а всерьез ехать даже и не думают. Не только профессора, но и из партийных. . . Кленов, например, срочно заболел. Его жена охает и трехтонку у секретаря требует. Явно для отвода глаз. Трехтонку-то уже обком забрал. Хватов остается, Бороденко, Аветьян. . . Марья Прохоровна мне сама потихоньку шепнула.

— Ну, так на какого чорта ты все это барахло приволокла? — кивнул на узлы Брянцев. — Тут целый воз.

— Может и полтора, — задористо ответила Ольгунка, — все белье, вся одежда и вся посуда. Одни книги дома остались. Их никто не потащит. И все мы с Мишкой вдвоем доволокли! . . Ох, тяжело было! Ну, спасибо вам, Мишенька дорогой! Без вас пропала бы!

— Зачем все это?

— Вот увидишь зачем, — сделала знающее тайну лицо Ольга, — я, слава Богу, эвакуации гражданской войны помню, хоть и девчонкой тогда была. Все дочиста порастеряли. Так и теперь без ничего остаться? И так голые. . . У тебя две рубахи только, обе старые, латанные. . .

— Правильно, правильно Ольга Алексеевна поступила, — подтвердил Мишка, кивая своей круглой головой с таким усердием, как будто вбивал лбом никому не видимый гвоздь. — Вы, Всеволод Сергеевич, здесь, в своей конурке обсиделись и от народа оторвались. Не слышите того, что люди говорят. . . особенно бабы.

— А что? — недоуменно спросил Брянцев. Но ответа не получил. Мишка прикусил язык, увидел подходящего к шалашу пчеловода Яна Богдановича.

Тот сделал вид, что не замечает наваленных у шалаша узлов, и скромно-вежливо пожал руку знакомой ему Ольги. Незнакомому Мишке только кивнул, но тоже очень вежливо и с улыбкой.

— Супруга навестить? Значит, правильно, как раз к случаю я подгадал, — заулыбался он, засовывая руку в боковой карман пиджака, — помните, про что я вам говорил, Всеволод Сергеевич? Медовое вино, — вытянул латыш поллитровку с мутноватой бледно-желтой жидкостью. — Надо бы еще денька два дать побродить. . . Только разве утерпишь? Она так даже крепче. Вот и попробуем по случаю прибытия Ольги Алексеевны. Давайте посуду, во что разлить. . .

Брянцев пошарил в соломе у входа в шалаш, нащупал стакан и протянул его пчеловоду, но Ольга перехватила.

— Какой ты! И сора, и муравьев набилось! Нельзя же так! — вытерла она стакан углом платка, которым был укручен узел. — Вот так. Сладкое?

— Рафинад! — чмокнул губами латыш и даже возвел к небесам свои оловянные глазки.

Ольга выпила налитый ей стакан и тоже смачно чмокнула.

— Хорошо! Сладенькое и вместе с тем кисленькое. Так всю дорогу пить хотелось... Ведь эдакую нагрузку волокла! А вы, Мишенька, прямо герой труда — сколько на себя навьючили!

— Или ишак, — ухмыльнулся Мишка. — Разница невелика. Ишак тоже на спинах чорте-сколько тягают. Как по-вашему, Всеволод Сергеевич, кто — герой или осел?

— Вы чем с ишаком себя сопоставлять, лучше нам городские новости сообщите, — вкрадчиво попросил, протягивая ему стакан, латыш.

— Я все их разом, оптом уже вывалил. В целом — ничего не поймешь. Ясно только одно: немцы где-то совсем близко. Эвакуация объявлена, в учреждениях — неразбериха и суeta на все сто процентов, ну и точка, — хватил он залпом поданный стакан. — Первый раз медовое вино пью. Не вредное! Князь Серебряный с Морозовым должно быть тоже такие меды распивали? Как, Всеволод Сергеевич? Но за что же я, собственно говоря, выпил? Так, без лозунга?

— Второй глотните, тогда лозунг сам собой определится, — налил ему еще латыш, не скрывая своей цели подпоить парня и вызвать на интересный разговор. Даже подмигнул Брянцеву белесою бровью.

Мишка хлопнул второй, прошелся спинкой ладошки по пухлым, едва запущившимся первым нежным подшерстком губам:

— Пока без лозунга. Лозунг сам выявится в процессе событий, — крикнул он, тоже подмахнув бровью Брянцеву. — А события ждать себя не заставят.

— Вы в контору сегодня еще не заходили? — спросил Ян Богданович Брянцева и, не дожидаясь ответа, добавил: — Все институтское начальство там сейчас в полном сборе: директор, секретарь парткома института, завуч и... с семьями, — добавил он тише, но значительнее. Потом еще значительнее, — и с багажом. На четырех подводах. Весь институтский гужтранспорт мобилизован.

«А из профессоров кто?» — хотел спросить Брянцев, но его сердце вдруг болезненно сжалось, словно захваченное в железные тиски. Под горло подкатил тугой клубок.

— Пройдусь немного, — едва выговорил он, — что-то с сердцем неладно. Пить я, что ли, отвык...

— Это моя вина, — засуетился латыш, — недобродившего сусли отцедил... и на сырой воде... Не дотерпел до срока. Ничего... Вы прилягте — сейчас же пройдет.

Но Брянцев уже шел по аллее. Клещи боли все крепче и крепче вгрызались в сердце. Колени дрожали и подгибались. Едва дойдя до лип, он совсем обмяк и кулем повалился на траву.

— На тебе лица нет. Выпей, выпей воды, — хлопотала над ним Ольгунка, поливая ему на голову из стакана.

Брянцев слышал ее голос откуда-то издалека, все тише и тише. Потом совсем перестал слышать.

— Вот они! Вот они! — первое, что донеслось до возвращавшегося к нему сознания. Это кричал Мишка. И надо было кричать, иначе его бы никто не услышал. Над садом крутился грохочущий стрекот. Что рождало его — Брянцев еще не понимал, но чувствовал, всем своим существом чувствовал, что этот грохочущий по небу вал возвещает что-то огромное, неведомое и новое. Совсем новое. Грохот ломал, рушил нависшую над садом застойную душную тишину давившего всю степь жаркого полдня. Равномерный, беспрерывно нарастающий, он неизбежно приближался, сотрясая своим гулом ветви яблонь. Казалось, сама земля и сад и степь глухо урчали ему в ответ.

Брянцев вскочил на ноги. Боли в сердце — как не бывало. Колени не дрожали. Ноги твердо упирались в гудевшую землю.

Недопеченным блином перед ним желтело растерянное лицо латыша.

«Щеки в один цвет с бородкой стали. А глаз совсем не видно, будто растеклись», — запомнилось Брянцеву.

Рядом напряженное до последней возможности, заострившееся лицо Ольгунки. У нее вся кожа стянулась к скулам — так сжала она зубы и разметнула стрижиными крыльями обе брови.

Мозг Брянцева словно сфотографировал в этот момент ее всю, до мельчайших деталей, ощущав объективом каждый мускул напряженного тела, сжатые так, что ногти впились в мякоть ладони, кулаки загрубевших маленьких рук, напружиненные для прыжка колени, воткнутые в зеленый свод аллеи глаза, такие горячие, такие накаленные скрытым под ними огнем глаза, каких Брянцев не видел у нее ни прежде, ни после.

Мишки ему не было видно, но его голос слышался отчетливо и ясно, несмотря на скатывавшийся с неба грохот:

— По звуку можно было безошибочно определить. Наши моторы совсем не так верещат — тише и чаще. Прямо на нас идут. Сейчас увидим.

Все четверо выбежали из-под кленов на полянку, к высокому пеньку срубленной яблони. Отсюда был виден весь полот раскинутого над степью гладкого, отутюженного накалом летнего дня неба. Из-за обрамлявших сад деревьев опушки на эту безоблачную гладь выполняла огромная, поблескивающая металлом стрекоза. От нее и из-за нее выкатывался грохот.

— Двухосный. Видите, шасси какое? — слышал Брянцев голос Мишки и ясно ловил в нем интонацию жгучего интереса, напряженного ожидания.

«А страха? Вражды? — спросил сам себя Брянцев. — Нет их. Совсем нет, ни на полтона».

— Теперь и опознавательные знаки видны. А за ним друтой... третий... Низко идут. Метров на пятьсот, не больше. Четвертый... Пятый...

Пять громко урчащих машин, построенных неполным клином, всплыли над садом. За ними уступом еще двое. Снизу казалось, что они шли медленно, словно не сами своей силой, своим стремлением, а какое-то невидимое с земли воздушное течение несло их на себе, и

в этом, именно в этом, было самое страшное. Страшное своей несокрушимой силой, неведомой, непонятной и неотвратимой, как судьба.

— Вот и новый хозяин пожаловать соизволил. . . А с чем — кто же его знает? — услышал Брянцев голос стоявшего под яблоней Евстигнеича. Ему показалось, что старик над чем-то хитровато посмеивается.

ГЛАВА 6

На дворе учхоза сгрудились в галдящую галочью стаю почти все его население, по крайней мере низший его слой. Высший — директор, бухгалтер и парторг заседали, затворившись в конторе вместе с институтским начальством, подводы которого стояли нераспряженными под навесом, хозяйственно, крепко сложенного еще расстрелянным Деминым амбара. На бричках и тачанках — крытые горы беспорядочно наваленных узлов, ящиков, чемоданов. Из иных, забытых, торчали свиными ушами полы пиджаков и лениво свешивали рукава зимние пальто.

Кучеров и конюхов при подводах не было. Лошади были взнузданы, и вожжи неумело обвязаны вокруг столбов навеса. Их петли путались в ногах у тревожно и суетливо копавшихся в барахле женщин — жен начальства.

Безбровый и безлобый, толстощекий директорский сын, точь-в-точь слепок с такой же, но уже заметно обрюзгшей матери, примеривался пустить камнем в удивленного необыкновенной суетой кирпично-рыжего петуха. Мать его тянула за угол из-под наваленной сверху клады какой-то узел, откачнувшись назад всем грузным телом. Узел вылезать не хотел. Руки директорши соскользнули и она смачно шлепнула о притоптанную до глянца землю круто выпиравшим гузном. Слепок испустил крик восторга.

— Матери твоей чорт! — метнула в него родительница. — Нет чтобы помочь в такое время, а горлопанит! . .

— В кучу не сбиваться! — размахисто выкрикнул вышедший на крылечко конторы Середа. — Как раз по скоплению и ахнет! К стенам становитесь или под деревьями маскируетесь, как вам объясняли!

Кое-кто из баб торопливо перебежал к саду. Отрываться от кучи было страшнее, чем стоять в ней, хотя и на виду.

Шедший головным аппарат повис над самым двором и дал какой-то завывный перебой в реве мотора.

— Вот сейчас бросит! — взвизгнула Капитолинка, и вся толпа, давясь и спотыкаясь, метнулась под навес амбара, забила его выкриками, причитаниями, всхлипом. Директорша так и не встала с земли, а прямо переползла под воз на четвереньках.

— С нами сила Господня! — мелко закрестила там она, распиравшую платье-капот, полновесную грудь.

— В таких как раз завсегда и попадает, которые от своей дури лезут, — раскатился с крыльца хрип Середы. Сам он был спокоен и даже явно склонен к некоторому сарказму. — Овцы! Как есть овцы на пожаре! Никакого различия.

Но рокочуший вал уже перекатился через хутор к видному с него, как на ладони, городу.

Сначала поодиночке, потом табунчиками вылезли из-под навеса спрятавшиеся там и снова затолпились на дворе, вглядываясь в затуманенный зноем город.

Из сада вышел Евстигнейч, за ним вразброд остальные, латыш последним, с таким же, как и там, облезлым лицом.

Над правым, прилегающим к полотну железной дороги, краем города вздыбился большой кудлатый столб черного дыма и рядом с ним два других поменьше. Взметнулись к небу и расплзлись в верхах, как гигантские грибы-опёнки.

— Бросил! — увесисто объявил Середа с крыльца, и в ответ ему в городе ухнуло, а потом рвануло целой горстью сухих резких ударов.

В толпе закрестились. Босоногая девчонка в одних трусиках, с коричневым от загара телом и лохматыми, нечесаными мутно-желтыми волосами, завывала и побежала к дому. За ней — две женщины, но на краю двора стали, потоптались на месте и снова вернулись к табунчику.

— Бьет метко, — засвидетельствовал с крыльца Середа, принявший на себя обязанности, если не военного руководителя, то, во всяком случае, специалиста-комментатора начавшейся битвы, — в нефтехранилище при станции ударил. Бишь, как густо черный дым пошел! Значит, нефть загорелась...

— Что теперь там на станции делается! Могу представить, — шепнул Мишка Брянцеву, — всю ночь шла погрузка, все пути составы забиты. Неразбериха была, что называется, на все сто. А теперь, надо полагать, еще процентов на двести повысилась. Перевыполнение плана!

Второй бомбовоз сбросил свой груз также над станцией, а остальные проплыли несколько дальше и раскатисто прогромыхали там.

— Выходит, будто по Архиерейской роще садит, по оврагам? — озадачился Середа. — С чего бы ему туда бить?

— Вчера и третьего дня там окопы рыли. По ним и бьет, — ответил ему теперь уже во весь голос Мишка.

Бомбовозы сменили курс и тем же строем пошли на север, а с запада, из-за сада, уже слышалось хриплое урчанье второй волны. Еще пять громоздких двухосных машин пророкотали над деминским хутором, а над залитым полуденным солнцем городом поднялись новые столбы дыма, то серые, то черные... Поднявшись во весь рост, они растеклись под облаками, покрыв своею тенью полгорода. Под двумя из них заиграли языки желтого пламени.

Через ровный промежуток прошла третья волна. За ней — четвертая и еще две.

Табунчик на дворе не расходился и не редел. Даже наоборот — загустел: из домов, подвалов, картофелехранилищ и силосных ям выбирались те, кто там сначала прятался. Страх почти растаял. В головах всех собравшихся ясно оформилась одна и та же общая для всех мысль. Вслух ее высказал Евстигнейч.

— В нас бить не будет. Никакого ему нет расчета нашу навозную кучу бонбой ковырять, — как всегда, несколько иронически проговорил он, ни к кому в отдельности не обращаясь, — знает, видно, куда следует ударить, в точности.

— С такой-то высоты и слепой попадет, — ответил ему Середа. — Не более трехсот метров. Можно сказать, в упор. Ничего не опасается, а наша артиллерия молчит.

— Какая там артиллерия — ни одной зенитки в городе нет, — отозвался теперь уж совсем громко Мишка, — а пехоты нагнали до чорта. Все, за последнее время мобилизованные, еще в городе. Оба института, музей, клуб совторгслужащих — всё ими забито. А винтовок нет. Сам видел: с палками их на учение водили.

— Наверно и плант городской у него имеется, — продолжил свои соображения Евстигнейч.

— Спиёны, — взвизгнула по привычке Капитолинка, но огляделась кругом и скисла.

Две стоявшие рядом с нею бабы отошли в сторонку. Капитолинка еще огляделась и скинула на шею свою красную косынку.

Начальство высыпало из конторы при первой же волне, но держалось особняком, группируясь под старой корявой грушей возле крыльца. Тихо переговаривались между собой. Полноватый, медлительный директор института был, несмотря на жару, в заношенной кожаной куртке со слежавшимися складками, что сейчас же отметил Евстигнейч.

— Кожушок-то на нем, на дилекторе, должно с девятнадцатого года. Тогда на такие у комиссаров мода была, — подтолкнул он локтем Брянцева, — смотри, слежался, будто утюгом по нем пройдено. Приберег, значит. Вот и пригодился. Правильно, — одобрил он.

Зав учебной частью, читавший также в институте диамат, в шляпе и тяжелых роговых очках, придававших ему необычайное сходство с совой, весь такой же, как эта птица, серый и встопорщенный, прошел под навес к подводам и завозился около лошадей.

— Павел Павлович, — позвал он оттуда директора учхоза, — здесь, очевидно, упряжь не в порядке. Какие-то ремни болтаются. Пришлите, пожалуйста, конюха.

Сторожкая молодая гнедая кобылка переступила с ноги на ногу и брезгливо лягнула его.

— А, чорт бы тебя... с таким транспортом! — отскочил от нее завуч.

— Аккуратней с лошадьми надо бы, — наставительно сказал подошедший директор совхоза и сам перетянул ремни упряжки. — Не привыкли? Привыкайте. Для будущего не вредно. А к коню сзади не жмитесь.

От города донеслось равномерное цоканье, а потом разом, перебывая одна другую, застрочило несколько равномерно отстукивающих машин.

Брянцев в первый раз за этот день ощутил страх. Этот равномерный, машинный, бездушно-неумолимый постук пугал его еще на полях Галиции. Давно. Теперь он, отраженный памятью, снова пробежал оторопью по его спине и коленям.

— Пулеметы в самом городе бьют! — уверенно объявил Середа и, словно удовлетворенный этим, пояснил: — Значит, конечно дело. Пиши в сводках новое направление «по стратегическим соображениям», — хрипанул он потише.

Начальство разом заспешило под навес. Там женщины уже гро-

моздились на подводы, поверх наваленных на них тюков, и тянули к себе примолкнувших детей. Лица всех посерели.

Директор института первым распутал вожжи, тяжело плюхнулся на передок и выкатил из-под навеса, шаря правой рукой за бортом кожаной куртки.

— Деньги, что ль, щупает, — размыслил вслух Евстигнейч, — а может и крестится на путь предстоящий, хотя и партийный...

Завуч неумело задергал вожжами, подкрутил передок своей тележки и сцепился колесами с нагруженным горой возом худого, как жердь, страдающего язвой желудка, парторга Жукова. Жуков порывисто повернулся к нему, блеснув оскалом золотых зубов в провале безгубого, как у черепа, рта.

— Куда прешь, чорт очкастый? — злобно выкрикнул он, осаживая задравших головы коней.

— На Темнолесскую повел, — проводил глазами выехавшего со двора директора Евстигнейч, — значит, на Нальчик маршрут. Ну, что ж... С Богом!

ГЛАВА 7

Середа не ошибся. Большой областной город был занят немцами почти без боя, после сравнительно слабой бомбардировки с воздуха и атаки передового отряда легких танков.

Военное и партийное начальство даже накануне вечером лишь смутно знало о приближении немцев, но точно об их движении осведомлено не было. А передовая механизированная колонна наступавшей на Северный Кавказ армии генерала фон Клейста ночевала всего в тридцати километрах от города, в опустевшей казачьей станице, заселенной теперь семьями раскулаченных из Средней России. Телефонный провод оказался порванным то ли немецкой разведкой, то ли самим русским населением. Военное командование узнало о близости врага лишь на рассвете от прискакавших из занятого немцами села партийцев. Тридцатитысячный гарнизон состоял почти целиком из незадолго перед тем призванных старших возрастов — ближних колхозников, не только не обученных, но даже не вооруженных и не обмундированных. Их тотчас же подняли по тревоге и стали толпами выводить за город, на опушку некогда густой, а теперь сильно поредевшей Архиерейской рощи. Там наскоро рыли окопы. Офицеры надрывно матерились, расставляя огневые точки и перегоняя с места на место серых, обросших седой щетиной, мужиков.

В успех обороны не верил никто, от самого начальника гарнизона, до одноногого пьяницы Володьки, в прошлом красного партизана, а теперь расклейщика афиш и административных объявлений. Он, наскоро опохмелившись, с восхода солнца шлепал на стены и телефонные столбы только что отпечатанные обращения к гражданам, требовавшие от них сохранения порядка и веры в победу. Шлепал и посмеивался уже созревшему в его кудлатой голове плану. Этот план был очень заманчивым и обещал полный успех: забраться в разгар паники в городскую аптеку и запасть там ведром-другим спирту. А то и побольше...

«Его там хватает», мечтательно улыбался Володька всплывавшему над Архиерейской рощей солнцу.

Побеги с передовой начались тотчас же при появлении первых немецких бомбовозов. Мобилизованные колхозники залезали в кусты как бы по своей надобности, и там исчезали, уползая в гущу орешника. Командиры туда не заглядывали. Некогда, да и незачем — всё равно все побегут!

Повальное бегство началось при появлении на горизонте первых танков.

— Танки, — сказал вполголоса смотревший в бинокль наблюдатель.

— Танки! — полным голосом повторили на командном пункте.

— Танки! — пронеслось волной по всей линии, а на флангах ее уже завопили:

— Танки!!!

Это и было командой, которую исполнили все. Фронт не дрогнул, как это принято говорить, а уверенно, даже четко обернулся к лесу и растекся по гуще орешника.

Начальник гарнизона выругался для порядка и махнул своему шоферу рукой с биноклем.

В лесу бросали винтовки и торопливо срывали знаки различия. Кое-кто из партийцев засовывал в дупла и под гнилые пни пачки документов. Коренастый, очень юный лейтенант, с по-детски оттопыренной, нетронутой еще бритвой губой, скинул совсем новенькую, ладно пригнанную гимнастерку, простовато, тоже с детским сожалением, посмотрел на нее и бросил в кусты.

— Чорт с ней! В городе забегу к ребятам, найдут что-нибудь надеть. Барахло какое-нибудь, конечно... Чем рванее, тем лучше.

До города дошла лишь половина выведенных на передовую. Другую всосали в себя лес и поля с неубранной кукурузой. На улицах солдаты смешались с беспорядочно мечущимися кучками горожан, искавших укрытия от бомб с воздуха. Кое-где уже горело. От высыхающего на главной улице дома, принадлежавшего раньше первому богачу в городе, а теперь занятого обкомом партии, отваливали одна за другой разнокалиберные автомашины, то легкие эмки главков, то густо залепленные людьми и узлами грузовики. Перед горсоветом сваливали с дрог бочки ассенизационного обоза и спорили до драк за места. Потерявший фуражку милиционер махал наганом и визгливо матерился.

Растрепанная женщина с сухим от худобы интеллигентным лицом, вся запорошенная известковой пылью, почти несла повисшую у нее на плече очень похожую на нее девочку-подростка. Одна нога девочки волочилась и тянула по мостовой алую ленту свежей крови.

— Ах, ты, беда какая! В колено аль повыше? — подхватил подростка под другую руку пожилой солдат в латаных серых штанах. — Будто и знакомая? Я плотником при театре состоял... Будто и видел когда. Ну, вы, гражданка, не волнуйтесь, доведем ее до горздрава, там перевяжут. До больницы-то далеко. Наверное, в горздраве из докторов кто-нибудь есть. Вот дела-то какие... Страсть!

Пулеметного огня, открытого немцами вслед бегущим, в городской сутолоке почти никто не услышал. Его заглушали хрипы и гудки ав-

томашин, сталкивавшихся с вырывавшимися из боковых улиц подводами, ругань шоферов и подводчиков.

Потом центральные улицы разом опустели. Лишь кое-где выскакивавшие из домов люди торопливо заволакивали во дворы валявшихся на улице раненых. Здесь их было немного, но перед вокзалом, у каменных столбов, на которых некогда гордо красовались двуглавые орлы, прямо на мостовой лежал целый ряд. Два врача — старик в золотых старорежимных очках и другой, молодой, в одной майке, с обнаженными жилистыми руками, торопясь, обматывали бинтами раны, не смывая крови и прилипшей земли, — воды не было. Брезентовая сумка с красным крестом торчала углом из кучи выпавших на мостовую марлевых катышей.

От главной городской аптеки, петляя зигзагами по аллее бульвара, ковылял Володька. В каждой руке у него было по полному, поблескивавшему на солнце ведру.

— Не зевай! — орал он на обе стороны. — Успевай! Там его всего две бутылки, ведер на пять в каждой. . . С собой увезли сволочи! Пользуйся, кто успеет!

Из других магазинов тоже что-то тащили: одни выволакивали ящики, другие сыпали сахар и муку в захваченные из дому мешки, а неудачники просто рассовывали по карманам, что под руку попадет.

— Сахару-то, сахару-то, прямо горой в «закрытом»! — кричала грудастая баба в окно полуподвала. — Нюська, Нюська, ты подушки вытряхни, а наволочки мне давай! Ну, чего стала? — затлянула она в окно, став на четвереньки.

От бывших Архиерейских прудов, по крутому подъему, медленно и уверенно похрипывая, скребя мостовую гусеницей, выползал первый пятнистый, как саламандра, танк. Его башня была закрыта, и сквозь прорезы виделись чьи-то глаза. За ним, метрах в пятидесяти, полз другой с открытым люком, на борту которого сидел офицер в серозеленой куртке с серебряными жгутовыми погонами. Он курил и помахивал дымящейся в мундштуке сигаретой выглядывавшим из ворот девушкам.

ГЛАВА 8

Тавричанин Демин, строивший хутор — теперь учебное хозяйство зооинститута, — был хотя и малограмотным, но дошлым. Широкие планы рождались в его чубатой, вихрастой голове — стригся он сам овечьими ножницами перед осколком мутного базарного зеркала.

— В городу-то за это баловство пятиалтынный отдай, а нам зеркала и ладиколоны ни к чему.

Свою усадьбу он поставил на развилке дороги, шедшей от города на восток. От него к пригороду, сохранившему еще от суворовских времен название «форштадт», шла одна широкая дорога. К востоку же, в глубь хлебородной степной целины — две: одна к непролазным горным лесам Зеленчука, другая к долинам бурного Терека.

— И с одной и с другой стороны на базар подвоз пойдет, — рассуждал Демин, — меня ни одна подвода не минует. Не зевай только, хотя бы и при малой наличности. Назад, кто не расторговался, опять че-

рез меня. Значит, за полцены отдавать будут, податься некуда, как лещу в вентиле.

Через несколько минут после донесшейся из города пулеметной очереди примолкший и еще теснее струдившийся табунок на дворе учхоза услышал фыркание нескольких быстро приближавшихся автомашин.

— Авангард социализма на полном газе пошел, — прислушался Середа и, широко размахивая вихлястыми, как цепи, руками, почти бегом ринулся к развилку дорог. — Надо поглядеть, кто парадом командует.

Вслед за ним из дверей конторы выскочил директор учхоза и парт-орг, оба с туго набитыми портфелями. Жена парторга протолкалась из табунчика локтями и побежала за ним к конюшне.

— Вася! Васенька! — залихватно причитала она на ходу тонким голосом. — Васенька, может и мне с тобой?

— А коров на кого оставишь? — злобно прокричала ей из толпы худая, иссохшая, как старая коза, женщина, совавшая такую же иссохшую, вислую, с синими жилками грудь в писклявый сверток тряпья. — Две у нее теперича: своя и дилехторова. Ей оставляет.

— Кладовщик, ключ давай! — кричал от амбара сам директор, в то время как парторг выводил из конюшни запряженную в тачанку пару.

— Под сало подкапывается. Там его с полцентнера набрано, — зашуршали вокруг румяного кладовщика, — не давай, не давай ключа!

Сам он, стоявший в первом ряду толпы, попятился и юркнул в гущу.

От амбара отлетел смачный мат, и вслед за ним зазвучали глухие удары.

— Камнем замок сшибает. Чего глядишь, кладовщик? Твоя обязанность, Евстигнееч! Ты амбару сторож! Чего смотрите?

— У него наган. Вот тебе и чего! — огрызнулся кладовщик.

Тачанка мягко прошуршала по накатному двору и скрылась за углом амбара.

— Обком в полном пленуме! — орал с края двора Середа. — Весь президиум налицо!

— Пойтить, посмотреть, — сам себе объявил Евстигнееч, и вся толпа нестройно потянулась вслед за ним к развилку. Навстречу ей от города валили густые клубы пыли.

Теперь, вслед за автомашинами, шли подводы. Они двигались волной в несколько струй, катились и по дороге, и по неубранной жухлой кукурузе, обгоняли одна другую, сцеплялись упряжью и колесами. С возов падали мешки и узлы. Иногда с них же сваливались или сами спрыгивали люди, бежали рядом, давясь пылью и размахивая руками. На развилке волна разваливалась, растекалась на два русла, и по обоим, один за другим, катились серые клубы пыли.

До хутора долетали отдельные выкрики и ругань. Запоздалые автомашины, отчаявшись распутать толпу подвод ревом сирен, сворачивали в обход по кукурузе и фыркали в ней, обматывая колеса бахромой сухих быдильев.

— Поспешают очень, а куда? Это самим не известно, — рассуждал вслух Евстигнейч. — Война теперь такая, что повсюду достает. Ничего положительного установить невозможно.

— Приперло под печенку — тут тебе и вся установка! Хошь не хошь, а беги, — бросил в ответ ему Середа.

На дороге завиднелись пешие одиночки. Изредка с узлами и мешками за спиной, но больше без клади, в какой-то смешанной, полувоенной одежде: на плечах пиджак или распоясанная блуза-толстовка, а под ней защитные полинялые штаны, обмотки, стоптанные брезентовые «танки». Редко кто в форме, с винтовкой. Такие больше в ладных гимнастерках, с темными квадратами от сорванных петлиц на воротниках.

— Вот они и главные силы идут, — рассмотрел в клубах пыли Середа быстро подвигавшуюся колонну всадников, — эскадрон войск НКВД во взводной колонне. . . и в порядке даже. . . справа по три идут...

Шедшая рысью плотная колонна всадников разваливала на обе стороны толпу пешеходов, как лемех плуга рыхлую пашню. Эскадрон двигался без окриков, но даже запоздалые одиночные подводы, увидев его приближение, сами переваливали с дороги на комоватую степную залежь.

В памяти Брянцева всплыли какие-то давно потонувшие, затянутые тиной многих мутных тоскливых лет, далекие, неясные образы. . .

— Крепко строй держат, — взгляделся и он в проходившую колонну. — Седловка, саквы. . . Все в порядке. Вот она, дисциплина-то! И кони один в одного.

Всплывшие образы стали ясней. Отвердели и вырисовались в такой же строй таких же всадников, на таких же, но только не гнедых, а вороных конях.

Взвод. . . Его взвод. . . Корнета Брянцева.

Марево. . . Был ли он когда-нибудь, этот корнет? . .

А если б сейчас, вот отсюда, со двора учхоза, ударить со своим взводом им во фланг? В месиво, в крошонку вся колонна бы гробонулась!

Марево. . . Лезет чушь в голову.

Мутный людской поток стал заметно редеть. Подводы на сморенных, с набитыми холками лошадях тащились теперь поодиночке. На них сидели мелкие партийцы, часть которых Брянцев знал в лицо.

«Неудачники. И здесь в хвосте плетутся», — подумал он, и, словно угадав его мысль, на нее ответил Евстигнейч:

— Я эфтих коней знаю. Они с ветеринарного пункта. Ихний лазаретный выпас в овраге, как от фурштата к нам иттить. . . На таких конях далеко не уедешь. Значит, и здесь опять кому что достанется.

Солнце стояло еще высоко, но дорога уже опустела. Волна беженцев спала. Теперь и одинокие пешеходы двигались редкими, разрозненными группами, по три-четыре человека.

— Немного народу из городу-то ушло, — сделал свой вывод Евстигнейч, — какое-никакое, а у каждого свое добро есть. Куда от него иттить? Ну, разве что петля на шее, тогда — ясно-понятно — все для своего спасения покинешь.

Последней по улегшейся пыли дороги протянулась короткая цепочка раненых.

— Один, два... шесть, семь... Семеро явно из лазарета плетутся, видите — перевязанные, — просчитал Миша, — а последний хромает.

Этот, шедший последним, завернул к хутору, проковылял волоча больную ногу по колючему бурьяну и, не дойдя до примолкшей толпы, сел прямо на землю.

— Пить кто-нибудь принесите... — махнул он рукой. — Смерть горло пересохло.

Две женщины тотчас побежали за водой. Остальные придвинулись к раненому и окружили его плотным кольцом. Все молчали. Молчал и сидевший в бурьяне, размазывая по лицу пыль и пот рукавом накиннутой на больничное белье шинели.

— С лазарета, мил-человек? — нарушил это молчание Евститиеич. — Нога, значит, у тебя повреждена? — кивнул он бородкой на торчавшую из закоружлого ботинка грязную марлю. — Трудновато тебе иттить-то. Неужто и повозок вам не доставили? Лазарету, значит, как полагается...

Раненый безучастно и как будто даже бессмысленно, словно не поняв вопроса, уставился поверх головы старика и вдруг его изжелтаблешное, по-больничному отекавшее лицо перекосила судорога нестерпимой для него самой злобы.

— мать их в гроб, в переносицу! — бессмысленно выругался он и, привстав из бурьяна, набросился на Евститиеича. Злоба душила его, и он выплевывал все новые и новые ругательства: — Повозки? Повозки, говоришь? Они под начальство, под политруккову свинью пошли... Вот куда! Няньки, сестры — все к чертям разбежались. Одна докторша-левчонка на все три этажа осталась. Вот как... их мать..... Защитников родины... — задышался он сам клокочущей в горле ненавистью. Выхватил из бурьяна ком сухой земли и шваркнул его в стенку сарая. — Вот как..... в чорта..... в гроб!..

Подбежавшая женщина сунула ему жестяную кружку, и он, заливая водой отросшую бороду, давясь и хлюпая, жадно осушил ее до дна.

— Еще дай! — потянулся он к другой принесенной чашке. — Еще!.. Смерть, как пить хотца... С утра с самого... дьяволы... пропаду нет на них!

В городе снова глухо и раскатисто ухнуло. Середа и Мишка отбежали от сарая на пригорок. Оттуда весь город был виден вплоть до отдельных домов и улиц. Стрельбы уже не было слышно, но густо клубилось несколько раскидистых дымовых кустов, а над ними ширил в стороны черные ветви высокий ствол густого черного дыма. Он рос на глазах.

— Самолетов не видно. Опять же бить ему теперь не к чему, раз город его, а ударил? — озадаченно произнес Середа. — И показывается будто на Гулиеву мельницу.

— Не ударил, а взорвана она! — выкрикнул Мишка, но его слов не расслышал даже Середа. Их заглушил гул второго сильного взрыва. Рядом с первым густым столбом стал расти второй, несколько ближе к догоравшим уже нефтехранилищам.

— Так и есть! — стукнул себя в бедра сжатыми кулаками Мишка. — Выполнили всё-таки задание партии: элеватор взорвали! — тряхнул он за плечо Середу. — Элеватор и мельницу — муку и зерно...

Комса наша болтала по дружбе: зернохранилища в первую очередь . . . Таково было задание.

— По радио, значит: «братья и сестры», — хрипел, повернувшись к толпе Середа, — а в практическом применении этим самым братьям и сестрам без хлеба теперь сдыхать! Эх, сволочь!

ГЛАВА 9

— Что ж теперь будет? — пронеслось по толпе. Вслух эти слова сказала только одна из женщин, но каждому казалось, что и он, и все другие повторили этот вопрос, который сейчас был не только главным, но единственным, заслонившим всё остальное:

Что ж будет?

Что несет с собой этот свершившийся перелом? Его предвидели, многие даже ждали его нетерпеливо, надеясь на резкое изменение своей жизни к лучшему, некоторым это ожидаемое лучшее рисовалось даже в каких-то ясных, конкретных формах: в виде возврата в поневоле покинутый дом, возрождения к жизни без страха, к сытому, обеспеченному сегодня и завтра. Другие ждали, сами не зная чего. Как обернется к ним новая жизнь? Ждали и со смутным страхом перед неизвестным и с осозанным страхом перед возмездием, расплатой за совершенное . . . Искали уверток, способов укрыться от этой расплаты.

Ждали по-разному, но ждали все. И вот этот момент перелома пришел.

Что будет?

Брянцев стоял сбоку, шагах в трех от толпы, и видел краем глаза, как головы сгрудившихся в ней одна за другой поворачивались к нему. Он совершенно ясно чувствовал, ощущал этот, еще безмолвный, но устремленный к нему вопрос, и знал, что должен ответить на него, не имеет права не ответить. Но как и что сказать, — он не знал. Перед ним была та же, застилавшая завтрашний день, густая, туманная пелена, а за ней только одно: тот же вопрос — «что будет»?

— Вы, как человек образованный, — тронул его за рукав Евстигнейч, — в каком виде располагаете наше общее теперешнее положение?

«В первый раз меня на вы назвал, — отметил в уме Брянцев, — тонкий старик . . . Шельма!»

— По опыту прошлых войн можно сегодня же ожидать к себе разведчиков. Хутор наш стоит как раз на пути отступающих. Разведка, безусловно, появится. Вероятно, мотоциклисты. Кавалерии теперь нет, — ответил он первое, что пришло на ум.

— За машинами на конях не угонишься, а жаль всё-таки, веселая служба была, — шумно вздохнул Середа всею широкой грудью. — Веселая служба, когда я в конвое у государя императора . . . Красота!

— Может оно лучше в подсолнух податься до времени? — спросил Евстигнейч.

— Какого тебе хрена в подсолнухе шукать? — прикрикнул на него комбайнер. — Сам беды наживешь и людей можешь подвести под ответ. Обнаружат — за шпиона или за партизана посчитают. Находишь в своем состоянии — и всё тут. Немец порядок любит. Я-то знаю!

— Какой может быть теперь порядок без начальства?

— Начальство, друг, завсегда найдется. На эти вакансии кандидатов неспорно. Оно, к слову, бухгалтера нонче кто видел?

— С утра в контору проходил. Там он, наверное, и есть.

— Айда в бухгалтерию, — решительно шагнул к конторе Середа. — При бухгалтере наличность должна быть. Он за кассу ответственный.

— За два месяца зарплата-то не выдана, — разом загомонили женщины. — А вчерашний день он в банк ездил.

— Ассигновка у него на руках была, сам видел, — рубил, не обращаясь, Середа, шагая вразмашку к конторе. — Вчера на собрании говорил: зарплата получена из банка. На сегодня выдавать обещался.

Узкий коридор конторы забили вплотную, и в нем тотчас же стало нестерпимо душно. Евстигнейч и Капитолинка оказались почему-то рядом с Середой, ввалившимся первым в контору, хотя никто их наперед не выталкивал.

В конторе — никаких перемен. Кипы пыльных, перевязанных веревочками папок всё так же лезли одна на другую, пытаюсь добратся до подоконника, на котором сиротливой кучкой стояли какие-то пузырьки; обшарпанные пучки сухого овса и люцерны торчали из-за приоткрытого шкафа, а со стены щурился густо засиженный мухами Молотов, под ним же, неизвестными путями попавший в учхоз, стол в стиле ампира, за которым, как и прежде, восседал монументальный бухгалтер и пощелкивал на счетах.

При виде этой привычной картины Середа даже приостановил нараставший темп своего вторжения, а женщины замялись в дверях.

— Выходит, всё в порядке? — спросил он не то бухгалтера, не то прищуренного Молотова.

Монумент за столом ампира звучно подбил итог, накрыл счета широкой простыней ведомости выполнения плана работ и, не спеша, выдвинул ящик стола, вдавив его в распиравший толстовку живот. Потом так же неторопливо бухгалтер достал из ящика две сколотых булавкой четвертушки бумаги и установил их рядом со своей румяной щекой.

— Читай.

Середа протянул руку, но бухгалтер отвел ее.

— В руки не дам. Документ. Так читай, — прихватил он бумаги другой рукой и через стол поднес их к глазам Середы, — вслух читай.

— Что я тебе — докладчик, что ли? — озлился комбайнер. — Оглашай сам свою бюрократию!

Бухгалтер солидно встал, так же солидно приосанился и одну за другой прочел обе бумаги. Первая была служебной запиской от директора института с приказанием ему, бухгалтеру, выдать немедленно всю наличность кассы под отчет директору учхоза «ввиду чрезвычайного положения». Вторая — распиской директора учхоза в получении наличными 37 645 рублей.

В тишине отчетливо прозвучали слова Евстигнейча:

— Расторговалась сучка бубликами!.. Значит, так.

Эта фраза, произнесенная в полном затишье, снова выразила то, что все думали.

— Того и ожидать надо было, — добавил он сам после паузы с каким-то даже удовлетворением.

— Я с ним всю ночь на эту тему дискутировал и не дал бы, если б из института не приехали, — поднял вверх обе бумаги бухгалтер. — А раз приказ и само начальство в полном составе налицо, — что я могу сделать?

— Пошли за мной! — рывкнул Середа, расталкивая сбившихся в дверях баб. — Бухгалтер, кладовщик, старики, Евстигнейч... и ты, Всеволод Сергееч, айда на собрание всего актива, какой в настоящее время в учхозе имеется.

— Девчата, уплотнитесь на один текущий момент, — донесся из коридора голос веселого зоотехника, — дайте дорогу молодежи!

— Представитель от комсомола? Ты? Не сбёг, значит? Ну, в таком разе пропустайте его, женщины.

Дверь в директорское помещение была заперта увесистым замком, но тотчас же слетела с петель при первом напоре костистого плеча Середы. В комнате густо висел табачный перегар. Оголенная кровать ершилась клочками сена, торчавшими из дыр матраса. Два стула беспомощно валялись, скрестив замызганные ножки, третий был придвинут к столу, на котором в беспорядке лежали корки хлеба, отрывки соленых огурцов и обглоданные куриные кости. Между ними стояла откупоренная, но непочатая поллитровка в компании двух пустых, и кругом них разномастные стаканы и стопки. В углу — горка скомокканной бумаги, из которой виднелись корешки томиков Ленина, а портрет его висел вкось, цепляясь за стенку одной уцелевшей кнопкой.

— Картина ясная, — Середа пропустил в дверь бухгалтера, Евстигнейча, Брянцева и двух стариков-плугарей, отжал локтем хлынувших за ними баб, вытянув из них за плечо зоотехника, и приставил сорванную дверь на место. Брянцева удивило, что после этого решительного жеста никто из толпы даже и не попытался проникнуть в комнату.

Комбайнер злобно смахнул со стола несколько корок, расчистил место и поставил на него стопку.

— Вот! Подходи теперь, получай зарплату за два месяца! — поднял он над головой непочатую бутылку. — Становись в порядке фактического старшинства. Пахари! Подходите первыми, вы всех нас старорежимнее.

На его предложение к столу подошел тот старик, что особенно сомневался в пригодности к работе изголодавшихся за зиму лошадей. Перемявшись с ноги на ногу, он принял протянутую ему Середой полную стопку, перекрестился и бережно вытянул ее мелкими глотками.

— Так... — одобрил внимательно следивший за прыжками его кадыка Середа. — Следующий!

— За кого ты, отец, Богу-то помолился? — подмигнул повеселевшему старику зоотехник.

— За нее, сынок, за советскую власть, — подморгнул в ответ старик, — за нее за самую.

— За здоровье аль за упокой? — поинтересовался Евстигнейч.

— За здоровье, годок, за здоровье! — еще веселее заскрипел дед. — Пуцай она себе укрепляется к каком ином месте, только к нам бы не ворочалась.

Выпили все, и последнему в очереди зоотехнику пришлось лишь полстопки.

— Ему и того достаточно, — солидно рассудил, похрустывая соленым огурцом, бухгалтер, — а то еще впадет в бытовое разложение.

— С этим покончено, Пал Палыч! — сбил на затылок свою кепку зоотехник. — Хочу — разлагаюсь, хочу — нет! И никто мне теперь «дела» не пришьет!..

— Раскомсомолился, значит? Вали! А Пал Палыча теперь отцом Павлом зови. Или того подходящее — батюшкой. Да под благословение к нему учись подходить, — дернул его за вихор Середа.

— Внешнее обличье изменял по принуждению, но сана не снимал. На мне он и по сей день, — важно подтвердил сам бухгалтер, и никого, кроме Брянцева, это не удивило.

«Все они должно быть и раньше знали, — подумал он, — знали, а мне не говорили. Вот она, толща»...

— А я и обличья не менял. И в анкетах и словесно службу в конвое Его Величества подтверждал.

— Врешь, — толкнул в бок распрямившегося Середу зоотехник, — прежде ты кричал: «Николкина охрана», а теперь Его Величества конвой. Это, друг, тоже две больших разницы в политическом отношении...

— Ну, давайте переходить к делу, — свернул свой распушенный хвост Середа. — Значит, товарищи... — замаялся и еще больше смутился он. — Или как это теперь нас называть: граждане, что ли? Значит, по сути момента. Мы есть сейчас в общем и целом неорганизованная масса. Однако же, с другого пункта, на нас ответственность за скот и весь учхоз в целом. Говоря по сути дела — за одну ночь растащут. С городу придут и свои тоже постараются.

— Что верно, то верно, — пробасил бухгалтер, — какая власть ни установится, а спрос с нас будет. Так или не так? — обвел он глазами стоявших вокруг стола и сам за них ответил: — Так, правильно.

— Сторожить надо, — подтвердил кладовщик, — хотя бы у меня в магазине сейчас...

— Сторожба сторожкой, — перебил его Евстигнейч, — своего посту мы не покинем. Ни я, ни они, — указал он на Брянцева, — не в том корень вопроса.

— А в чем?

— А в том, что каждый кобель своим хозяином крепок, вот в чем. Хозяин в доме — и он на двор никого не пустит. А оставь его, примерно, в степи одного — он там и от малого мальчонки подвернет хвост. Хозяина надо. Власть.

— А где же ее взять, когда она вся начисто сбегла? — развел пухлыми ладонями кладовщик. — Вот придут немцы — установят.

— Нет, ты на это не располагай. Хотя бы и придет немец, так сейчас спросит: кто здесь старший? С ним и говорить будет. Пастух к стаду во всех случаях требуется.

— Тебя тогда и пошлем с немцем разговаривать, раз ты такой со знательный. Или товарища ученого зоотехника. Он один из всей администрации в наличности.

— Мою кандидатуру снимаю, — разом отозвался тот. — Неиз-

вестно еще, как с комсомолом дело обернется. Ты, комбайнер, тоже свой партбилет подальше засунь, а лучше того — в печку...

— Не стражай бабу....., она видала, — ответил смачной поговоркой Середа.

— Самое подходящее, — возвел свои медвежьи глазки к потолку Евстигнейч, — вот их в старшие назначить, — опустил он глаза на Брянцева, — они и в офицерах состояли и по-немецки говорить обучены.

«Откуда он все распознал, старый чорт?» — спросил сам себя Брянцев, и Евстигнейч снова ответил на этот вопрос:

— Как человека снаружи не грязни, а он свое естество покажет. Видать, кем они были.

— Правильно! — громыхнул Середа. — Немцы офицерский чин уважают. Тов... — замялся он снова и снова, прорвав какую-то преграду, громогласно вытряхнул из груди: — господина Брянцева в старшие, в директора или, там, какой еще чин.

— Я, собственно говоря, человек города, пришлый, да и специальность моя иная... — начал обосновывать Брянцев свой отказ, но его прервал голос со двора.

— Вот они! Вот они! От городу на машинах едут! Все видать: на трех машинах...

ГЛАВА 10

Все разом повалили на крыльцо. Кричала Анютка, первая из нескольких бежавших к конторе женщин. Рядом с нею, едва поспевая за ловкой, статной девушкой, подбрыкивал голыми ногами Молотилка, сын профорга. В загсе он был записан под чисто пролетарским рабочим именем Молот. В учхозе принял местный колорит — стал Молотилкой. В этот тревожный день мать забыла надеть ему штаны, но нехватка такой мелочи его не смущала. Добежав до крыльца, мальчишка схватил Анютку за юбку и выпалил с пафосом между двумя дыхами:

— Немцы! На трех... — а договорить «машинах» не успел. Анютка лягнула его босой пяткой и сама затараторила:

— На трех машинах, дедушка Евстигнейч! С бугра всё видать. Мно-о-о-го их! Сейчас к нам подъедут! — частила она с каким-то почти радостным любопытством, но, опомнившись, смахнула с лица это чувство и пустила на него чью-то чужую, чуждую ему тень. Пригорюнилась: — Ох, боязно...

Три мотоцикла с прицепами въехали во двор и стали у первых строений. На каждом густо, человека по четыре, сидели запыленные солдаты в разлапых, низко надвинутых шлемах. Виднелись висевшие поперек груди автоматы.

С передней машины сошел молодой, цыбастый немец в коротких, выше колена, штанах и в сапогах, не в ботинках. Он неторопливо размял затекшие ноги, скинул через голову ремень автомата и бросил оружие в кабину. Потом, так же не торопясь, оглядел весь двор: мужчин на крыльце конторы и отбежавших от этого крыльца женщин, крикнул что-то по-немецки и призывно замахал рукой.

— К себе зовет. Надо вам иттить, — подтолкнул Евстигнейч Брянцева.

Тот и сам понимал, знал, что идти к немцам надо именно ему, а не кому другому. Это логично: он один говорит здесь по-немецки, он сможет тактично вести себя с оккупантами, но нелогично было то, что он сам ощущал себя не только центром, но главой этой кучки жмущихся к нему людей, придавленных неизвестностью своего «завтра» и даже своего «сегодня». Он ощущал и то, что за это «сегодня» и «завтра» этих людей несет ответственность именно он, Брянцев, укрывавшийся в садовом шалаше, «подозрительный и ненадежный в политическом отношении» доцент советского вуза, а в далеком, заваленном тусклыми серыми годами, прошлом еще более «подозрительный» для советских людей золотопогонник, «закамуфлированный враг народа»...

Он ответственный.

За кого? За этот советский народ? За подозрительно, опасно косившихся на него мужиков? За этих подглядывавших за ним визгливых вороватых бранчливых баб? За грязных, сопатых ребятишек? Он ответственный? Всеволод Брянцев?

Вот тут тонкий мостик логики обрывался. Ее ясность терялась в каком-то сумбуре глухих, напивавших на него снизу сил. Именно снизу ощущал Брянцев их грузный, стихийный, непреодолимо нарастающий напор. Снизу. От земли. Это он стряхнул его с крылечка конторы, он понес его на себе, укрепил его поступь и гулко, одобрительно отзывался на каждый его шаг:

— Ты должен! Ты должен! Ты должен!

— Молотилка! Молотилка! Куда ты, гад, сатаненок... — донесся до него придавленный шип, — вертай назад! Сейчас он с пулемета резанет!

Брянцев оглянулся. За ним вприпрыжку бежал голоногий Молотилка, и вся его густо разрисованная темным соком тутовника морда горела таким жадным предвкушением чего-то нового, невероятно интересного и заманчивого, что совсем несозвучная моменту улыбка шевельнула губы Брянцева. Он успокаивающе махнул бабам и взял мальчишку за протянутую к нему руку. На душе разом стало светло, даже весело, и окрепшие ноги четко, по-молодому, по-строевому сами зашагали к патрулю.

— Добро пожаловать, — сказал он по-немецки выдвинувшемуся к нему долговязому и, заметив белые шнуры погон на его плечах, добавил: — господин офицер.

— Ах, вы говорите по-немецки? — радостно удивился немец. — Как это приятно. Где вы научились? — протянул он Брянцеву руку и тотчас полез в карман за сигаретами.

— В гимназии, — пожал плечами Брянцев и про себя добавил: «Думаешь, одни свинопасы в России?»

— Вы, вероятно, здешний школьный учитель? Но об этом потом, а сейчас... вы разбираетесь в карте? — перебил он сам себя и взялся за планшет рукой, в которой был красненький пакетик сигарет. — Ах, да, вы курите?

«Четко ведет разведку, — мысленно оценил немца Брянцев, взяв предложенную сигарету, — пользоваться опросом населения, установ-

ливая с ним дружеские отношения... Наверное, и у них такая же инструкция. Ну, ладно, что дальше будет».

— Мы, приблизительно, здесь в этом квадрате, — нажимал немец на карту твердым, сухим пальцем, — но ваше селение, очевидно, не обозначено. Где оно? Покажите. Как оно называется?

— Карта устарела. Это, очевидно, копия нашей русской двух-верстки, то есть съёмки, сделанной до 1914 года, — медленно, примеряя в уме формы сложных глагольных времен, ответил Брянцев и сам удивился: не забыл всё-таки языка. А ведь тридцать пять лет ни одного слова на нем не сказал.

— Мы здесь, — подвинул он палец немца своим, — здесь, где расходятся две дороги. У вас обозначены только деревья, строений тогда, вероятно, еще не было.

— А-а-а?.. Вы знаете и топографию? Вы были офицером? — еще добродушнее заулыбался немец. — Это совсем хорошо... *Ganz gut*... — похлопал он по руке Брянцева.

— Одна идет на Темнолесскую, вот она, — указал Брянцев на левую дорогу развилка. — Вот та. Другая, эта — на Барсуки.

— Скажи — на Невинку, — послышался сзади хрип Середы. — Барсуки — что? Кто их знает, а Невинка — переправа, на нее направление надо взять.

Брянцев оглянулся и увидел позади себя всех наличных мужчин учхоза. За ними кучились женщины и дети, но напирать не решались. Молотилка впереди всех, рядом с Брянцевым, делал осторожные попытки, обогнув немца, пробраться к мотоциклам, но, вероятно, всё же побаивался внеочередного подзатыльника от стоявшей невдалеке матери.

— Вы им закусить предложите и... по рюмочке... — дергал Брянцева за рукав кладовщик. — Это обязательно надо. Литровка у меня найдется. А бабы уж за сметаной, за салом побегли.

— Я тоже жену за медом послал, — дергал его за другой рукав Ян Богданович. — Мед свежий, первокачественный.

Брянцев снова оглядел все лица: «Любопытства много. Искательность, подхалимство тоже есть. Вот хотя бы у кладовщика. А враждебности нет. Ни у кого нет»...

— Наши крестьяне предлагают вам и вашим солдатам немножко закусить. Мед, сметана, по стаканчику русской водки... Вы разрешите?

— Благодарю. Но сначала я должен выполнить приказ. Через сорок-пятьдесят минут мы вернемся той же дорогой и тогда можно будет сделать остановку. Значит, Невин-но-мис-ка-я, — с трудом выговорил немец, — там? Прекрасно, — протянул офицер руку Брянцеву. — Теперь всё ясно. Мы еще увидимся и не позже как через сорок минут. Нам нужно лишь проконтролировать эту дорогу на двадцать километров.

Немец выпрыгнул в кабину, и мотоциклы без команды зафыркали по шоссе. Молотилка провожал их восхищенным взором, продолжая всё же придерживаться за полу пиджака Брянцева.

— Обращение вроде деликатное, — пробасил спустившийся с крыльца конторы бухгалтер, он же теперь и отец Павел. — Сообщения газет о зверствах и насилиях подтверждения не получают. Однако

осторожностью пренебрегать не следует, равно как и выявлением дружелюбия и покорности. Посему же вам, женщины, надлежит взять из директорской комнаты стол, очистить его от всего непотребного, — явно впал он в церковно-учительский тон и даже волосы на затылке оправил, словно они были длинными, — покрыть его чистой скатертью или чем иным соответственным. Стульев тоже набрать и посуды, коей хлебное вино вкушать полагается, по преимуществу стеклянной и по возможности не побитой и не выщербленной.

— Правильно плануешь, отец бухгалтер, — перебил Середа, не подававшую признаков близкого конца речь отца Павла. — Бабы! Живо! Одна нога здесь, другая там! Тащи, что у кого найдется... Помидорчиков, огурчиков соленых... Да на блюдах, как полагается, а не в навал! А ты, кладовщик, за полками у себя пошукай, чего там из директорской орони завалилось...

— Без тебя знаю...

— А знаешь — так действуй!

Женщины мигом разбежались по домам. Анютка, кликнув ребятшек, повела их табунчиком в контору. Оттуда, цепляясь за прито-локи ножками, выплыл стол, а за ним потянулась вереница стульев. Отец Павел внимательно осматривал каждый предмет, а стол даже пальцем поковырял.

— Не мыли, выражаясь конкретно, с самого дня совершения октябрьской революции. По размерам же его, пожалуй, достаточного покрова во всем здешнем поселении не отыщется, — всё увереннее и увереннее вкладывался он в стиль семинарского красноречия.

Но эти опасения отца Павла не оправдались. Едва стол был обметен и установлен в тенечке у крыльца, как, словно выросшая из-под земли, активистка Капитолинка покрыла его слежавшейся, слегка пожелтевшей, но широкой, с узорной каймой добротной скатертью.

Евстигнейч, щурясь своими медвежьими глазками, присмотрелся к ней и тихонько шепнул Брянецву:

— Эту самую скатерть я помню. Признаю. Деминская она. У него на праздничный стол постилали. И меточка его с угла вон виднеется. Значит, вот еще когда заграбастала... Ты старайся, — подмигнул он самой Капитолинке, — твоя статья в текущий момент очень даже сурьзная.

Активистка и сама понимала «сурьзность» своего положения. Она торопливо разгладила слежавшиеся складки скатерти и метнулась назад к дому.

— Сейчас еще салхветок к ней представлю. Куда я их забельшила, никак не припомню... Из ума вон...

— Ума твоего не хватит, чтоб упомянуть всё, чего нахватала, — раскатисто пустил ей вслед Середа.

— А твое на собственном чердаке помещается? — незлобно подцепил его веселый зоотехник.

— Мое дело иное, — ошетинился на него бывший конвоец. — Верно, забирал добро от буржуев в гражданскую. Так то война была. Значит, трохвеи. Я за них жизнью своей рысковал. А чтоб от чужого разорения пользоваться, такого я себе не допускал. Или чтоб писать на кого... Этого за мной нет. Кого хошь спроси.

— Что было, то было и травой поросло, — распевно протянул Евстигнеев, — у каждого свое было, — посмотрел он по очереди на перекорявшихся. — Его и поминать теперь нечего. Кто Богу не грешен? Время такое стояло, что и нехотя все безобразили. Так, отец Павел?

— Истинно, — подтвердил, как с амвона, бухгалтер, — Господу Богу ответ каждый сам даст, мы же ближним своим не судьи. «Кто без греха, тот первый брось камень» в Евангелии сказано.

— Правильно сказано, — помятчал Середа, — умная это книга. Я ее всю в точности знал, когда в хоре церковном пел.

— Да ведь и я тоже пошутил только, — оправдывался зоотехник, — какая тут может быть обида.

— Что было за каждым, это теперь подлежит забвению, — огладил рукой сверху вниз бритый подбородок бухгалтер, — предадим забвению личные распри и злобствования.

— Бородку-то, отец бухгалтер, теперь опять отрастить надобно, а то не по форме получается, — деловито посоветовал Середа, — служение-то свое восстановите ведь?

— Всенепременно. Но сие обсуждению здесь не подлежит, а на повестке дня стоит вопрос общего продовольствования. Обмолоченное зерно у нас имеется, но куда теперь на размол его вести, раз Гулиевская мельница взорвана, это никому не известно. Также и по части скота, то есть бывшего показательного стада, отары овец породы Рамбулье, молодняка и прочего. Всё это подлежит учету и сохранению. Но одновременно встает вопрос пользования, ибо хотя и не единым хлебом сыт человек, но без одного хлеба сему человеку обойтись невозможно.

— Это дело первейшее, — поддакнул Евстигнеев, — пускай вот они, — указал он на Брянцева, — у офицера спросят, как и что. Разрешение какое там возьмут или как иначе.

«Действительно, кроме меня, этого сделать некому, — подумал Брянцев. — Вот и попал самотеком в «народные избранники». Жрать-то ведь надо. И какой-то регулятор экономики нужен. Значит — власть... Вероятно, она и всегда так зарождалась: не сверху, а снизу. Не от стремления повелевать, но от необходимости быть подвластным».

— Спросить я, конечно, спрошу, — сказал он громко, — но вряд ли получу точный ответ. Ведь это только разведчики, передовой разъезд, какой-то случайный младший офицер. Что он знает?

— Это мы понимаем, что разъезд, а всё-таки спросить надо, — поставил точку Середа. — Бабы, готово у вас?

Вокруг стола шла суетливая толкучка. Каждая хозяйка что-нибудь принесла, то на тарелке с каймой из розанов, то в глиняной чашке. Ольгунка распорядилась, перекладывала, расставляла. Ее никто не ставил на это дело, но тоже как-то само собой вышло, что все женщины, в обычное время завязанные спорщицы и «протестантки», теперь молча и беспрекословно подчинились ее авторитету, лишь изредка подавая сами советы. И то неуверенно, даже просительно.

— Зеленым лучком, а не репкою помидоры-то посыпать было бы антиинтеллигентнее?

— К творогу сахар нужен, а нет его. Значит, мед к творогу ставьте.

Полчаса пролетели незаметно, и по дороге, но теперь уже в обратном направлении, снова задымилась клубы пыли.

— Вертаются! Ишь на машинах как быстро скатали!..

Завернув на двор, офицер что-то крикнул. Передовая машина сделала заезд и стала. Солдаты упруго спрыгнули с сидел и из кабин.

— Смотри, пожалуйста, — удивился Середа, — оружие в корзинки кидают.

Солдаты действительно сбрасывали ремни автоматов и, расправляя затекшие ноги, шли гурьбой к столу.

Долговязый офицер прошагал прямо к Брянцеву и представился:

— Зондерфюрер Шток. Мы можем пробыть здесь не более пяти минут. Пусть солдаты съедят что-нибудь, но не садятся, — сказал он громко, орающая уже к ефрейтору.

— Могу вам предложить? — пододвинул к немцу налитую рюмку Брянцев.

— А вы сами? Давайте выпьем вместе за скорое окончание войны, за мир, за дружбу!

«Отравы ооится», — подумал Брянцев, наливая себе в чашку. Но немец, не дожидаясь его, вытянул свою рюмку мелкими глотками и потянулся к рдевшим на большом блюде помидорам.

— У русских хороший обычай: сначала выпить, а потом съесть. Это усиливает аппетит. Впрочем, на войне аппетит не всегда приятен, — засмеялся он.

«Удоонный момент заговорить о продовольствии», — подумал Брянцев. — Как поступить с выдачей населению продуктов питания? — начал он. — Ведь вы знаете, что мы жили в системе государственной экономики. Скот, например, государственный, да и хлеб тоже, — завел он издалека.

— Война ломает все системы, господин учитель, — перебил его зондерфюрер. — Ваш вопрос излишен, но русские нам часто его задают. Конечно, берите, что надо, и пользуйтесь. Это совершенно ясно.

— Можно ли получить от вас письменное разрешение?

— Квач! — засмеялся офицер. — Какое разрешение? Как могу дать вам его я, не имея на то приказа? Берите и ешьте! Это — война. Потом прибудет гражданское управление и всё войдет в норму, порядок... А пока — война, война, господин учитель, и в прошлом, кажется, тоже офицер... — Но что это? Пожар? Смотрите! — указал он на дом, занимаемый Капитолинкою, от крыльца которого вздымались змеями огненные языки. — Распорядитесь тушить!

Но Брянцев не успел сказать ни слова, как Середа, зоотехник и Мишка разом понеслись к огню. Однако, столкнувшись с бежавшей оттуда Анюткой и поговорив с ней, повернули назад. Все они чему-то смеялись.

— Вот стерва, как в один момент обернулась! — грохотал Середа. — Ну, и ловка! Своего не упустит!

Обогнавшая мужчин Анютка повалила, как из мешка:

— Что делает, что делает — сказать невозможно! — сыпала она, поправляя сбившийся платок.

— Да кто она? Говори толком! — прикрикнул на нее Брянцев.

— Она же самая, Капитолинка...

— Она огонь запалила?

— И валит и валит в него, как попало...

— Чтоб тебя чорт... — рассердился Брянцев. — Что валит? Зачем огонь?

— Книжки валит и патреты... Прямо ворохом насыпает! А сама всё причитаёт. Разбойники, кричит, людей обманывали и других себе пособлять заставляли!.. Всякие там слова.

— Ничего не понимаю.

— Не сразу и поймете, — хохотал подошедший зоотехник, — активистка наша стопроцентная на сто градусов, то есть даже на все сто восемьдесят переворачивается. Что, думаете, там горит? — махнул он рукой на разрастающийся дым. — Все основоположники во главе с самим «хозяином». Горючего хватает! У нее ведь все подписные издания были. Ишь, Макрсы-Энгельсы как полыхают!

— Патрет Сталина на самый верх установила, — перебила его Анютка, — прямо в рыло ему плюет... А сама...

— Не то еще увидим. Она, гляди, опять в начальство словчится проскочить, — хрипел Середа. — Только мы теперь по-иному дело повернем.

— Это население сжигает книги Маркса и Энгельса, — коротко объяснил немцу Брянцев.

— И хорошо делает. Ну, до свидания, — протянул немец руку и одновременно резко выкрикнул команду.

— Пропуск в город у него попросите, — теребил Брянцева сзади Мишка. — Пропуск мне очень нужен.

— Может ли получить у вас пропуск в город вот этот студент? — догнал немца у машины Брянцев. — Он живет там.

— Какой пропуск? Зачем? — крикнул тот с зафыркавшей машины. — Пусть идет домой. Но лучше до темноты, иначе может быть задержан патрулем! — кричал он уже с ходу.

— Значит, я потопал, — подтянул пояс Мишка, когда Брянцев перевел ему ответ. — Времени терять нечего, а то не добегу до захода — на самом деле зацепят.

— А зачем вам в город, Миша? — вмешалась Ольгунка. — Оставайтесь здесь. Сейчас и мы есть будем.

— Да, будем, — подтвердил и Брянцев, разом ощутив сжимавший его желудок голод. — Вот видите, сколько на столе осталось. А мы весь день не ели. Ешьте, — угощал он Мишку, набив и себе рот.

— Некогда, Всеволод Сергеевич! Вот разве на дорогу кусок хлеба прихватчу. Некогда! Надо.

— Зачем надо? — допытывалась Ольгунка. — Ничего вам там не надо.

— Надо, Ольга Алексеевна, — решительно заявил Мишка и вдруг густо покраснел до самого верха оттопыренных ушей. — Надо. У меня там неотложное дело.

— Знаю я это дело, — хитро засмеялась Ольгунка. — Оно в малиновом берете ходит. Ишь, как покраснел! Никуда не убежит ваше дело. Его папа-мама от своего домика не двинутся.

— Вы уж выдумаете, — совсем смутился Мишка. — И ничего не это. А другое дело. Пока! — торопливо зашагал он к дороге.

ГЛАВА 11

Знакомство и даже дружба Миши Вакуленко с Брянцевыми начались совсем незаметно и для него и для них.

Во дворе Жакта, где жили Брянцевы, в углу между колодцем и мусорной свалкой, стояла какая-то развалюшка, должно быть остатки дровяного сарая бывшего владельца. Крыта она была железом, положенным на обрезки каких-то тоже железных прутьев, почему эту крышу и не растащили на дрова в течение всех двадцати пяти лет счастливой жизни под солнцем коммунизма. Окон в ней не было, дверь же, конечно, сгорела в чьей-то печке в какую-то морозную зиму.

Вот этот буржуазный пережиток и привлек к себе внимание первокурсника Вакуленко, когда он, окончив колхозную десятилетку, переселился в областной университетский город. Получить разрешение на ремонт за свой счет веселому Мишке было нетрудно, тем более, что председательница домкома — крикливая баба лет за сорок — благоволила к юнцам, особенно к круглолицым и кудреватым, а Миша обладал обоими этими качествами.

Ремонт производил он единолично и закончил его в одну неделю. Как и откуда добывал студент нужные материалы, какие-то обрезки фанеры, сучковатые слегии, ржавые, погнутые гвозди было известно только ему самому, но все это снабжение протекало без перебоев и лишь с известью для штукатурки получилась некоторая неувязка. Едва начав штукатурить, Мишке пришлось прервать работу и проследовать с пришедшим милиционером на стройку близлежащего маслозавода. Однако, и этот этап был им пройден, очевидно, благополучно, так как вернулся он уже в одиночестве и в самом радужном настроении, а проходя мимо окна домкомши, даже подмигнул ей:

— Ничего! С каждым человеком можно договориться. Главное — психологический подход! К тому же всего полмешка, да еще извести, а не цемента. Точка!

В дождливый осенний день, когда Ольгунка, чертыхаясь, тянула на ослизлой веревке ведро из колодца, Мишка в одной рубашке выскочил из своего обновленного пережитка буржуазных времен и выхватил у нее веревку.

— С чего вы? — ошетинилась на него Ольгунка. — Сама вытяну... Чортова жизнь проклятушая, — попыталась перехватить у него веревку, но Мишка легонько отвел ее руку, ловко выхватил ведро из почти развалившегося сруба и, шлепая по грязи, понес его к дому.

— Дайте! Сейчас же поставьте, — забегала сбоку Ольгунка, — я сама... Кто вас просит?

Но студент не отдавал ведра, а только набавлял ходу.

— Идите к себе, — постепенно смягчалась Ольга, — я в калошах, а у вас ботинки худые. Вон дыра какая! Да еще в одной рубашке... Зачем вы выскочили?

Когда Миша водрузил ведро на полагающийся ему по рангу ящичный постамент, Ольгунка совсем помягчала и звонко рассмеялась.

— Вот еще кавалер отыскался! Теперь женщины равноправны, и все галантности отменены.

— Не для галантности, а для уважения, — внушительно ответствовал Миша, — я на литфаке. Всеволод Сергеевич у нас читает.

— Вот, значит, как, — в тон ему согласилась Ольгунка, — значит, уважение. Ну, уважитель, выпейте стакан чаю, как раз горячий.

— Это можно, — распустил во всю ширь свое полнолуние Мишка, — чай, если с сахаром, это...

— Даже с оладьями, — не дала ему договорить Ольга.

Так у колодца, как в седые библейские времена, завязалась дружба между недоверчивой к людям и всегда готовой оцетиниться интеллигенткой уходящего в прошлое типа и пришедшим в вуз из колхоза юнцом.

Самого Брянцева эта дружба сперва удивила.

— Ведь ты, Ольгун, вся полна протеста, то скрытого и подавленного в самой себе, то частично прорывающегося. Протеста против всей современности в целом, всего течения жизни. Тебя даже вот этот фонарь около нашего дома злит, потому что он в советское время поставлен.

— Потому что занавесок нет, и он спать мешает.

— А занавесок нет, потому что советская власть, — смеялся Брянцев, — от нее все качества. А Миша современный студент, продукт этой власти, колхозник, пришедший в высшую школу пешком, с котомкой за плечами.

— И совсем не продукт, — ершилась Ольгунка, — и раньше Ломоносов чорт знает откуда пешком шел с такой же котомкой. А в Мише есть то, чего ты не хочешь или не умеешь увидеть... старое... настоящее... вечное, от земли. У него все просто и все от сердца. Он людей любит, уживается с ними не потому, что так надо, так ему кем-то предписано, а потому, что ему самому хочется ужиться, по-хорошему со всеми быть. Где ж тут современность, товарищ доцент? Современность — борьба. Борьба, грызня со всеми и против всех. Все и везде грызутся. В комнате, в очереди, в трамвае, в литературе, в учреждениях. Все теснят друг друга, давят, травят, подсиживают. Это подлинная современность... чтоб ей чорт!

В установившихся и окрепших отношениях Миши с Брянцевыми, между ним и Всеволодом Сергеевичем всегда лежало какое-то пустое пространство. Они дружили, порою откровенно разговаривали на серьезные темы, но смотрели друг на друга словно через стекло. А между Мишей и Ольгой этого стекла не было. От каждого из них к другому шло тепло. От Ольги — смешанное с неизжитым в ней материнством, а от Миши — с чуть уловимым отсветом романтики, влюбленности пажа в королеву. Ольга была для него отражением какого-то иного, необычного мира, но не враждебного, а, наоборот, влекущего к себе и вместе с тем недостижимого и непонятного. Но она была сама по себе все же реальна и близка ему. Ей он выкладывал все, что попадало на сердце, даже то, чего он не говорил самым близким своим друзьям-сверстникам. Он знал, что ей можно сказать и о том, как улыбнулась ему сегодня утром Мирочка Дашкевич, его однокурсница, дочь самого популярного в городе доктора, и о том, какая морковь выросла в прошлом году на приусадебном участке его семьи.

— Вы не поверите, в полметра длиной! Да красная! Да сочная! Толщиной с руку мою...

Теперь, торопясь поспеть в город до темноты, Мишка мысленно подводил итоги впечатлениям дня. Некоторые фразы он произносил

даже вслух, особо подчеркивая их, как привык делать, задалбливая в школе нудные физические и химические формулы.

«Вот они какие немцы оказались в натуральном виде. Положим, судить по одному только передовому разъезду нельзя. Но всё-таки»...

— Значит, газеты и здесь ввали, всё равно как про колхозы, — выговорил он вслух и даже помахал сверху вниз указательным пальцем, как это делал физик в десятилетке, выведя конечную формулу, — и здесь обратно ввали.

Вспомнил: Ольга Алексеевна не велела «обратно» в смысле «опять» говорить. Плюнул три раза налево и три раза вслух повторил:

— Не говорить обратно. Не говорить. Не говорить.

Так бабка научила делать, если что-нибудь запомнить нужно. Очень верный способ.

«Однако, чтобы на ночь патрулей по городу не посылали, этого быть не может. Надо поторапливаться, — посмотрел он на скатившееся к самому горизонту солнце, — ничего! Тут только эту балочку перевалить, а там спуск, под горку пойдет».

В самом низу балки, у каменистого русла, по которому весною бежит ручей талых вод, кто-то сидел на обочине дороги.

«Наверное, тоже какой-то из города сбег в панике, а теперь раздумался и обратно возвращается. Здесь можно сказать «обратно», — подумал Мишка, глядя на поднявшегося при его приближении человека. — Вроде колхозника, судя по одежде. А может, возчик или сезонник, — вглядывался в него Мишка. — К тому же кривой. Эх, фотография у него разработана! По-стахановски потрудился кто-то!»

Вставший сделал пару шагов навстречу студенту, поравнявшись, повернулся и пошел рядом с ним.

— С Деминского учхоза идешь?

— Оттуда, — охотно вступил в разговор Мишка, — а ты туда, что ли, топал?

— Немцы, что по саше проезжали, к вам заворачивали? — не отвечая на Мишкин вопрос, спросил встречный.

— Оба раза даже, — ответил студент, — и когда туда ехали и когда возвращались.

— Ну, как?

— Обыкновенно, — повел плечами Мишка с видом бывалого человека и даже подчеркивая свое превосходство уже осведомленного о немцах, — как и полагается, расспросили про дорогу, по карте сверились... Разведка.

— А ваши как с ними обходились?

«Э, друг, ты вон куда заворачиваешь, — подумал про себя Мишка, приглядываясь к кривому, — ты, наверное, по заданию оставлен!» — вслух же ответил:

— Также обыкновенно. Что ж, бабам с ними воевать, что ли?

— Это, конечно... Про хождение по городу не спрашивали?

— Как же, в первую очередь. Сказали: пожалуйста, до наступления темноты. Видишь, сам туда иду.

— Ну, значит, вместилах шагаем. Ты сам-то из каких будешь? Где работаешь?

— Студент, — отрезал Миша. «Вот навязался чорт в попутчики», добавил он про себя и должно быть помимо воли отразил это на лице.

Кривой оглядел его сбоку своим единственным глазом и дружески толкнул кулаком под ребро.

— Ты, пацан, меня не опасайся. Я по своему делу тебя пытаю, по своей единоличной нуждишке. У меня в городе семейство оставлено. За ним и иду теперь.

«Может и не врет, — решил Миша. — Даже наверное не врет. Мало ли сегодня таких, что свои семьи разыскивают». В попутчике было что-то располагавшее к себе студента, и он сам спросил его, уже с искренним участием:

— А где жили? На какой улице?

— Коло станции... В том и корень дела.

— Тогда правильно, тебе поторапливаться следует, — посоветовал уже с полным участием Миша, — туда здорово сажали. Можно сказать, центр удара был на станционный район...

— То-то и оно, — покрутил головой его спутник, — там теперь, надо полагать, крутая каша заварена.

— Значит, нажмем, — прибавил шагу студент. — Ты через Варваринскую площадь вали, а не по Красной, так ближе будет.

ГЛАВА 12

На Варваринской и разошлись. На ней же увидели и первые разрушенные бомбами дома и первые трупы. Людских не было. Или не убили никого несколько сброшенных сюда бомб или мертвых уже убрали, но перед большим зданием лучшей в городе школы, бывшей гимназии торчали раскинутые врозь ноги нескольких лошадей и три колеса опрокинутой тачанки. Сама школа горела. Из ее больших окон густо валил багровевший в закатных лучах дым. На противоположном краю площади стояло в ряд несколько пятнистых грузовых машин. Около них неторопливо двигались немецкие солдаты, а невдалеке стояла кучка русских, с любопытством на них смотревших. К ней и завернул Миша, простившись уже по-дружески со своим случайным спутником.

— Мишка! Мишка! — Услышал он крик, проходя еще средину площади. Кричал и махал ему рукой однокурсник Петя Лушин, по прозвищу «Тасс» или попросту Таска. Это, известное во всем мире сокращенное название телеграфного агентства СССР, он заслужил своей поистине замечательной осведомленностью о всех явных и тайных событиях и происшествиях в жизни института. Как он узнавал всё, что было не только решено при закрытых дверях служебных кабинетов начальства, но и говорено в деканатах всех факультетов и даже за строго охраняемой дверью спецотдела, можно было объяснить только его необычайной интуицией, но на проверке его сообщения оказывались почти всегда правильными. Сам он, когда его спрашивали об источниках его информации, только хвастливо взбивал русский вихор и прищелкивал языком.

— Это дело наше хозяйское! А ведь правильно оказалось! Слушайте старика и оказывайте ему причитающийся по званию почет!

— В точку! — обрадовался, увидав его, Миша. — Как раз ты мне

и требуешься! Ну, сыпь сначала сводку основных направлений, а потом перейдем к мелким сообщениям, как в «Известиях». Институт разбомбили?

— Целехонек. Ни одного стекла не выбито и весь городок без потерь, если не считать без вести пропавших, то есть сбежавших утром. А низу досталось: станции, железнодорожному поселку и прилегающим улицам.

— Элеватору с мельницей тоже?

— Нет, туда не попало.

— А горит?

— Это, браток, свои уже постарались, энкаведисты или наш брат, комсомол, по заданию. Не разберешь — кто, а только они взорвали и зажгли. Видишь, как дымит?

— Что было! — оживленно зачастил он. — Как грохнули первые бомбы, все — кто куда! Конечно, дуром. По большей части на улицу высыпали и в парк культуры побежали. У Колосова от испуга разрыв сердца. В ящик сыграл.

— Он и раньше сердцем болел. Помнишь, как часто лекции пропускал.

— Единственная жертва из состава всей профессуры. Да, надо полагать, и из всего института в целом. У нас, в общежитии, как ты знаешь, убежище было заготовлено, но не понадобилось... Да и не полез туда никто. Смысла не было. Противовоздушная оборона наша полностью не явилась на свои посты, как того и надо было ожидать. Какой дурак на крышу полезет! А вот директора маслозавода свои убили, — перескочил он на другую тему.

— Как свои? Кто? — даже остановился от удивления Мишка.

— Его же рабочие... маслозаводские. Немцы уж в город вошли, а он, дурак, стал лужу бензином поливать для поджога. Увидели и пристукнули тут же. Может быть, только бока бы намяли, тем бы и отделался, да он наган вытащил... Ну, и в момент! Нет ваших!

— Ты словно радуешься этому? — еще больше удивился Мишка.

— Не я один. Многие сейчас радуются. Ты когда из города ушел?

— До солнца... Я на учхоз зооинститута бегал.

— Значит, и утренних сообщений не знаешь? Так вот... В ночь из НКВД всех арестованных куда-то перегнали. То есть не всех, а видели, как с собаками их ночью из города вели. Однако, кое-кого оставили на ихнее несчастье.

— Чье это ихнее?

— Тех, конечно, какие остались. Всем крышка.

— То есть... как?

— Очень просто: гранаты в камеры через окна покидали, ну и в крошонку всех.

— Что ты говоришь? — откачнулся всем корпусом Мишка.

— Новое дело! Чего корежишься? Всё, как полагается: по радио «братья и сестры», а на деле вот как этих братьев и сестер... гранатами... Что сейчас там делается — смотреть страшно!

— Где?

— Да опять в том же НКВД. В главном здании. Туда сейчас вход свободный. Пожалуйста, без пропусков. Набежали родственники арестованных, особенно тех, что за последние дни были взяты... Ревут,

мертвяков по частям собирают... Кровищи, кровищи... И на полу и на стенах! А немцы ходят и аппаратами пощелкивают. Фото-съемка. Им — что?.. — пожал плечами Таска и добавил с нескрываемым удовлетворением: — Ну и тем, кто эвакуировался, тоже попало. На станции два состава застряли, так один бомбой гробонуло — тоже в кашу, и болтают, что ушедшие поезда не то на Пелагиаде, не то на Изобильной тоже в переплет попали.

— Ты не знаешь, — прихватил за рукав Таску Миша, — доктор Дашкевич эвакуировался?

— Понимаем ваш вопрос по существу, уважаемый товарищ, пояснений не требуется, — засмеялся Таска. — Будьте покойничком, здесь она. Сам доктора видел. На станции раненых обслуживает. Да и зачем ему уезжать? Из здравотдела одни «привилегированные» выехали: Конторович, Маргулисиха наша, Вейзер из мединститута, ну и прочие... Русские доктора сейчас все на работе. Однако, здесь нам больше делать нечего. Айда в общежитие! Там теперь, наверное, уже все собрались, вернулись с «сезонных работ». Значит, пожрем!

Студенты быстро зашагали вдоль стены городского парка культуры и отдыха. Его массивные, поставленные еще владевшим когда-то этим парком вельможей железные решетчатые ворота были раскрыты настежь. Сквозь их пролет виднелся ряд тяжелых немецких автомашин, расставленных в знаменитой на весь край аллее развесистых вековых каштанов — гордости города.

— Вот это, брат, техника! — хлопнул себя по ляжкам Таска. — Смотри, кухня-то походная: прямо фабрика на колесах. Это я понимаю, — восхищался Таска, тяготеющий ко всему механическому.

— Идем скорее, — тянул его за плечо Мишка, — вон, должно быть, часовой стоит. Заберут еще!

— Ни в жисть! — отмахнулся от него Таска. — Я уж туда до самой беседки пролазил. И ничего. Не по-нашему: «Отходи, стрелять буду», а никакого внимания не обращают. Один даже, по видимости повар, лопотал мне что-то и по плечу все хлопал. Эх, не учил я немецкого в десятилетке! Ни слова не понял, а интересно было бы поговорить. Ну, ладно, двинулись.

Но двигаться пришлось недолго. Пройдя шагов сто, студенты снова остановились, на этот раз без опаски: причина остановки была вполне законной, нужно было прочесть объявления, которые лепил на стенку полуразрушенного бомбой дома в доску пьяный Володька. Работа ему давалась трудно. Кисть вместо ведра с клеем попадала в канаву, шедшую сбоку тротуара, а когда удавалось метко направить ее в гущу клея, то возникала новая трудность: мазнуть ею по стене, от которой Володьку отталкивала какая-то неведомая сила, и подобный взмаху меча мазок рассекал лишь воздух, засыпая мутными брызгами и стену и самого Володьку. В данный момент расклейщик держал обеими руками лист объявления и, раскачиваясь всем корпусом, нацеливался вклеить его на стену.

— Я честно... понимаешь? Тружусь честно, по-советски, — разъяснял он кому-то невидимому, — ты говоришь, пьян? А я работаю. Вся... вся типо... — тут язык Володьки как-то неудачно повернулся, и ему пришлось, тяжело вздохнув, повторить: — вся типография работает... по-советски...

Пробежав глазами уже наклеенное объявление немецкого коменданта, призывающее население города к спокойствию и порядку, Таска бесцеремонно полез в сумку расклейщика.

— Нам дожидаться некогда, пока ты тут развернешься. По паре вот этих дай, что на зеленой и что на желтой бумаге.

— Я говорю... вся... типография, — ухватил его за плечо Володька и, найдя эту точку опоры, единым духом dokonчил фразу: — работы не прерывала, да! По-стахановски! — выкрикнул он и, совершив этот подвиг, беспомощно рухнул на тротуар.

— Так... — бормотал Таска, пробегая по строчкам еще пахнувшие свежей краской бумаги, — приказ о сдаче всего оружия... даже охотничьего. Ну, это как водится. Посмотрим другое. Всем, желающим получить работу, командование германской армии предлагает явиться завтра, четвертого августа, к восьми часам утра в помещение комендатуры и заявить... бургомистру... Вот это ловко! — выкрикнул он, суя листок под нос Мишки. — Читай! Читай! Всеми буквами: «бургомистру инженеру Красницкому». Здорово?

— В чем «здорово?» — озадачился Мишка. — Ты этого Красницкого знаешь? Откуда он?

— Я-то да не знаю! — ухмыльнулся с видом превосходства Таска. — Я всех и всё по всей области знаю. Красницкий — главный инженер ближайшего к городу участка на строительстве канала. Понял? Значит, вчера его там подхватили и сюда готовенький аппарат управления привезли. К тому же он — кандидат партии. Интересно! Вот это я понимаю — организация! План выполняется на все двести процентов. Четко?

— По-стахановски! — проревел Володька, став на четвереньки. — Жми! Гони! Беспереб... — уткнулся он снова носом в землю.

— Ну, так и мы гоним скорей к ребятам со свежими новостями, — потянул теперь Таска Мишку, попав снова в сферу своего всезнайства.

ГЛАВА 13

Студент четвертого курса Василий Плотников был известен всему институту своими вопросами. Когда преподаватель, закончив лекцию, согласно требованиям советской педагогики, спрашивал студентов:

— Нужны ли какие-нибудь пояснения?

Плотников неизменно отзывался с самым глубокомысленным видом:

— У меня есть вопрос.

Знавшая эту его особенность аудитория выжидательно притихала, так как вопросы Плотникова обычно служили темами для рождавшихся в стенах института анекдотов. Так, например, прослушав лекцию об организации Великобритании как мировой колониальной империи, Плотников деловито спросил профессора истории:

— А какую зарплату получает английский король? — чем поставил его в чрезвычайно затруднительное положение.

Но подшучивать над Плотниковым при нем самом было опасно. Он был членом бюро институтской организации комсомола, и судьба

каждого студента, особенно тех, у кого не ладилось с пролетарским происхождением, была в значительной мере в его руках.

Другую институтской знаменитостью того же порядка была Галина Смолина, математичка. Природа, не поскупившись, одарила ее редкостным безобразием. Между двух выпиравших свекольного цвета щек гнездилась чуть заметная пуговка носа, а под ней растягивался от уха до уха всегда раскрытый, широкий, но безгубый рот. К этим природным качествам сама Смолина добавила отталкивающую неопрятность и нечистоплотность. На лекциях студенты избегали садиться с нею рядом — дух шел тяжелый.

Немудрено, что при таких «показателях», как говорили студенты, «жилплощадь сердца Смолиной оставалась беспризорной», несмотря даже на видное ее положение в институте — секретаря контрольной комиссии, в засекреченном шкафу которого парки наших дней пряли нити студенческих жизней.

— Что это такое, — заявила однажды Смолина на заседании бюро комсомола, — где у нас чуткость, где внимание к человеку, как того требует лично товарищ Сталин? Я, например, нуждаюсь в индивидуальной жизни и никакого внимания со стороны организации! Это саботаж, хвостизм, расхлябанность, — перечислила она все социалистические грехи, — коллектив должен обеспечить мне потребности личной жизни!

— Принять к сведению заявление товарища Смолиной, не занося его в протокол, — изрек в ответ ей Плотников, вероятно, самую умную за всю его жизнь фразу.

Но приняли к сведению это требование Смолиной сами студенты и «реализовали» его, когда к этому представился подходящий случай.

Шла очередная чистка института. Третьекурсник-биолог, Коля Виноградов, по всем признакам должен был стать первой ее жертвой. Он был разоблачен, и грехи были тяжкие: скрыл, что отец его — священник, к тому же расстрелянный в первые годы революции; утаил, что старший брат участвовал в белом движении и эмигрировал и, что тяжелее всего, письмо этого брата было перехвачено и хранилось в секретном шкафу Смолиной, о чем одному ему ведомыми путями ухитрился разузнать Таска. Он же на тайном совещании близких друзей Виноградова подал совет:

— Одна лишь возможность спастись тебе, Колька. Один только способ есть дотянуть до диплома...

— Какой? — безнадежно спросил Виноградов.

— Огулять Смолину... «Личной жизнью» ее обеспечить.

— Ох, трудно... — вздохнул Коля.

— Знаю, браток, что трудно. А ты крепись... нажимай... Нет таких крепостей, которые... По партийному действуй. Перестрадаешь один только годик, а там получишь диплом и стрём куда-нибудь подалее, чтобы она тебя не нашла. Потрудишься годешник и на всю жизнь себя обеспечишь.

— Не знаю... как это... — слабо протестовал Коля. — Сразу так нельзя. В кино ее, стерву, всё-таки надо сводить, а у меня и на вход монеты нет...

— Это соберем! Хоть на три сеанса! Может, даже и на ситро

найдется, — бодро решил бывший сам на подозрении в кулачном родстве словесник Самойленко. — Выворачивай карманы, ребята! Внеочередной сбор в пользу Мопра особого назначения!

Несколько затертых желтых рублевых бумажек перекочевали в карман Виноградова, и вечером того же дня он со Смолиной смотрел «Веселых ребят» в кино «Красный октябрь».

Чистка прошла для него благополучно.

— Товарища Виноградова мы все знаем. О нем и говорить нечего, — безапелляционно заявила на общем собрании сидевшая в президиуме Смолина. Ей никто не возражал.

А дальше?

— Давлусь, а ем... — сумрачно отвечал Коля на нескромно-шутливые вопросы приятелей. — Еще на три месяца этого рациона осталось. А там государственные и... диплом.

— Крепись, брат, крепись, — сочувствовали друзья.

Когда Мишка и Таска, взбежав по замусоренной лестнице, влетели в самую большую — на 15 человек — комнату общежития, Плотников и Смолина были там. Она поджаривала на копящем примусе что-то вроде пышек, а он глубокомысленно молчал, насупив белесые, клочковатые брови. Вокруг сидело и лежало на деревянных топчанах еще пять-шесть студентов.

— Таска! — разом выкликнуло несколько голосов. — Внимание, товарищи радиослушатели, начинаем передачу последних известий! Ну, сыпь без задержки!

— А что это у вас на примусе? — деловито осведомился тот. — Муку где сперли? На мельнице?

— На чорта в такую даль таскаться? Сегодня, товарищ дорогой, по всему городу выдача без карточек. Успевай только. Гляди: даже на масле!

— Значит, жрем. Выношу одобрение выполнению плана работ и премирую ударников снабжения радиоприемниками. Итак, по порядку. Первое: в городе организована новая власть. Бургомистром назначен Красницкий...

— Имею вопрос, — веско прервал трескотню Таски Плотников, — какой Красницкий? С канала?

— Он самый, с руками, с ногами и даже с орденом трудового красного знамени.

— Кандидат партии, облеченный полным ее доверием? Тот?

— Ну, говорю же, что тот! Какой же может быть другой? Всеми буквами пропечатано. Володька-партизан объявления расклеивает.

— Володька? — так же глубокомысленно переспросил Плотников. — Принять к сведению, — приказал он невидимому секретарю. — Больше вопросов не имею.

— Постановление там или объявление, как их чорт называть теперь, — сам не знаю. А Володька-подлец пьян в доску. Вы спиртного не раздобыли? — осведомился он, прервав сообщение. — Нет? Расхлябанность... Надо было в аптеку кому-нибудь смахать! Прогуляли, лодыри, просмотрели? Два объявления особого значения не имеют, — продолжал он, не изменяя тона, — ну, конечно, приказ о порядке, другой — о сдаче оружия. Это все ясно-понятно, а вот третий важен по своему значению: предложение службы всем желающим.

— Какой службы?

— Военной?

— На кой она им чорт? Ну, обыкновенной, разной... В учреждениях, на производствах... Понятно?

— По специальности или как?

— По специальности понятие растяжимое. Это кто как сумеет словчиться. При всех режимах одинаково.

— А ты что? К захватчикам-фашистам на службу собрался? — уперла руки в широкие бедра Смолина, поднявшись от чадившей масляным перегаром сковороды.

— А ты что, жрать в дальнейшем собираешься или нет? — отпарировал ей также вопросом пожилой, лет за тридцать, студент Косин, самый старший из всех, оставивший в колхозе жену и двух ребят.

— Враги народа, двурушники, выполняющие задания агрессора... — забубнила Смолина.

— Перемени пластинку, — повернулся к ней лежавший на койке студент с тонкими, мягко очерченными линиями рта и носа. — А еще лучше, если вообще прикроешь свой патефон.

— Что?! — взвизгнула Смолина. — Что?!

— А вот то! Вот что! — вскочил лежавший. — Плевательницу свою заткни! Вот что!

— То есть это как? — шагнула к нему Смолина и растерянно оглядела всех бывших в комнате.

— А так!.. Кончилось твое время, Смолина! Истекло по регламенту. Всей твоей власти крышка! Хватит! Поцарствовала, комсомольская держиморда!

Гриша Броницын, так звали этого студента, злобно усмехнулся.

— Конец фильма. Завтра, нет... даже сегодня — новая программа!

— Товарищи! — снова оглянулась на все стороны Смолина. — Вы слышали? Все слышали? И это говорит советский студент, всем обязанный партии и правительству? Что мы должны вынести по этому поводу?

— Сказал тебе — заткнись или лучше убирайся ко всем чертям, — наступал теперь на нее Броницын. Казалось, вот-вот ударит. Напрягся, натянулся весь, как струна. — Обязан? Вот этим колченогим топчаном, клоповником этим, гробом мы им обязаны! Вот чем! Говорю... кричу тебе Смолина. Всем вам, комсомольцам, кричу: кончено! Кончено, мать вашу... — грубо выругавшись, он снова плюхнул на свой топчан.

— Товарищ Плотников? Что же ты молчишь? — упавшим голосом обратилась Смолина к продолжавшему неподвижно сидеть студенту. — Ты — член бюро. Стукнуть по столу надо на подобное выступление!

— Отстучались, — подал со своего места голос Косин. — Достаточно постучали. Ты сама, одна, скольких застукала?

— При таких условиях... — совсем растерялась Смолина. — Плотников? Товарищ Плотников?

— По данному пункту вопросов не имею, — изрек тот и сосредоточенно воззрился на наваленные горкой на ящике дымящиеся пышки.

— Правильно, Плотников, — похвалил его Мишка, — поддерживаю твою резолюцию. В данном случае на повестке дня вопрос всеобщей жратвы. Разбирай, ребята, продукцию смолинского производства! — выхватил он самую большую пышку, откусил ее, ожёг губы горячим тестом и, не разжевывая, проглотил кусок.

За ним похватали себе пышки и все остальные. Минуты три в комнате были слышны только звуки жующих ртов: Смолиной — с причавкиванием; Косина — с каким-то нутряным бульканьем его выпиравшего из ворота рубахи крепкого мужицкого кадыка. Броницын неторопливо обламывал куски непрожаренного теста, дул на них и медленно пережевывал.

— Посолить забыла, — вытолкнула сквозь набитый рот Смолина.

— Это на данном этапе неважно, — добродушно усмехнулся Броницын. — А в целом при сложившейся ситуации многое тебе, Галка, предстоит еще позабыть.

— То есть что, например?

— А хотя бы свою принадлежность к орденоносному ленинскому союзу коммунистической молодежи! — взмахнул головой Броницын, откидывая упавшую на лоб прядь мягких волнистых волос. — Ты забудешь, и другие тоже забудут, — пренебрежительно процедил он, продолжая улыбаться.

— И вообще позабыть, кто ты была, — упористо проговорил, не находя какого-то более точного слова, Косин, — была... Понимаешь? А понять тебе надо, кто ты теперь есть.

— Какая была, такая и есть, — огрызнулась Смолина, дожевав лепешку. — Коммунистка... Ну?

— Ты на меня не нукай. Я тебе не мерин, — злобно ощерился Косин. — Понюкала. Хватит.

— Всегда знала, что ты подкулачник, прихвостень фашистский, враг народа.

— А знала, так чего ж в подвал меня не упрятала? Теперь поздно.

— Агрессия захватчиков есть явление временного порядка. Мы, советская молодежь, представляем собой... — бубнила заученные слова Смолина.

— За себя за одну говори. А про молодежь лучше помолчи. Эта самая советская молодежь помнит, как куски у нее изо рта рвали, — стукнул по ящику волосатым кулаком Косин. — Крепко помнит! Я, вот я сам помню полностью, как ваша комса из материнной укладки муку выгребала... Животом, брюхом своим это помню. И не забуду! До самой смерти не забуду!

— Социалистическую собственность вы, подкулачники, расхищали. Саботировали. Потому и отбирали у вас.

— А вот ты сама сейчас, Смолина, чью собственность пережевываешь? — иронически усмехнулся Броницын. — Конкретный факт: жрешь ты сейчас именно эту социалистическую собственность, государственный хлебный фонд, расхищенный советской молодежью.

— Не расхитили, а свое взяли, свое добро, — глухо, как молотом стенку, долбил Косин, — у нас отнятое. Это ты врешь, Броницын, что расхитили. Нет, своего только малость вернули.

ГЛАВА 14

Миша ночевал в общежитии на одной из пустовавших коек. Таких было достаточно — почти половина населения комнаты куда-то исчезла.

— Вот дурни, — рассуждал вслух Миша, укладываясь рядом с Косиным и стягивая одеяло с соседнего пустующего тапчана, — неужели они всю эту пропаганду про зверства всерьез приняли? Или бомбежки испугались?

— Сам ты дурной, — отозвался Косин между двумя зевками. — Ни от кого они не бежали, а по своим надобностям разошлись. Молодцы ребята! Уяснили себе ситуацию и использовали.

— В чем же они ее использовали? Скорее наоборот.

— А ты смотри, кого нет. Клименки, Желтобрюхова, Дунькина, — тыкал Косин в направлении пустовавших коек своим узловатым мужицким пальцем, — Семакова, Репкина. Все ближние: с Ольховатки, из Михайловки, с Пелагиады... Мазурина тоже нет. Ну, он, положим, из-под Москвы откуда-то. Так у него отец с матерью в городе.

— Ну, а в совхозы зачем сейчас переть? — продолжал недоумевать Миша. — Здесь интереснее. С чего же в дыры-то забиваться?

— Голова у тебя умная, а дураку досталась. Вот зачем, — приподнял Косин свисающее с его тапчана одеяло. — Видишь, два мешка и оба доверху. Я завтра с одним к себе попру. Оба зараз не донести.

Мишка присвистнул.

— Ловко! Действительно использовал ситуацию.

— Сахара мне не пришлось. Не захватил, — с сожалением покачал головой Косин, — в момент его бабы разобрали. Через них не пробьешься. Почитай, одна мука у меня. Зато двухдюймовых гвоздей кил десять, а то и больше... На них в колхозе чего хочешь наменяю. Будут мои пацаны сыты.

— А я всё-таки не стал бы грабить, — поежился под одеялом Мишка. — Совестно как-то... Хотя, конечно, учитывая наше жизненное положение...

— Грабить? — озлился Косин. — Это пусть Смолина про грабеж своим поганым языком шлепает. Мы свое брали! — выкрикнул он, приподнявшись на локте. — Свое, кровное. За наш труд, за наш пот недодаденное... Отнятое, с кровью у нас вырванное! Вот что!.. А ты — грабеж, — не мог он затолкнуть внутрь себя клокотавшую и бурлившую в нем злобу, — а ты — грабеж! Не мы грабили — нас начисто ограбили! Вот что!

— Рассудить, оно, конечно, так и выходит, — согласился Миша, — только... все-таки... стыдно...

— Никакого тут стыда нет. Но, однако, давай спать. Я завтра с зорькой дерну. Выход из города, говоришь, беспрепятственный?

— Пропуска никто не спрашивал, — натянул на голову одеяло Мишка. — Только ты всё-таки лучше коммунальными огородами выходи, — посоветовал он сонным голосом.

Утром его разбудило крепкое покряхтывание того же Косина, прилаживавшего на плечах два туго набитых, латанных обрывками солдатской шинели, серых мешка.

— И забрать охота и не донесешь, боюсь, — рассуждал вслух пожилой студент, — как-никак тридцать пять километров. Дело не шутейное. Ну, пока! — бросил он Мише. — Завтра, наверное, взвертаюсь.

Косин ушел, когда все еще спали, а солнце уже протирало густым снопом золотистых лучей пыльные стекла окон общежития. Мишка всё еще лежал на топчане. Он обдумывал сложный план предстоящих действий, учитывал каждую деталь, каждое возможное препятствие.

«Доктор встает всегда ровно в семь и садится к окну чай пить. Ультра-фиолетовые лучи поглощает... Для этого поглощения будит всю семью, но встают они, конечно, только к восьми. Сейчас, надо полагать, шесть с небольшим. Значит, так: встаю, бегу и буду там как бы по своему делу проходить. Доктор, конечно, в такую погоду окно откроет. Тогда подойду с каким-нибудь вопросом. А там дальше сама обстановка покажет. «Подъем!» — вскочил он разом с койки. — Ботинки почистить бы... У Плотникова всегда гуталин имеется. Только вот где? Ну, черт с ними! — обтер он рукавом залепленные грязью, бывшие когда-то желтыми полуботинки. — Побриться тоже следовало бы, — ощупал он подбородок, — но дело не выйдет. Ладно!.. Может, она и к окну не подойдет?»

Улица, когда студент на нее вышел, уже жила полной жизнью. Немецкие солдаты умывались в брезентовых тазах и брились возле стоявших сплошным рядом вдоль тротуара автомашин. Они перекликались, выкрикивая что-то веселое, то друг другу, то выбегавшим на крылечки женщинам. Те в ответ махали руками — ничего, мол, не понимаем, — но тоже смеялись и одергивали складки слежавшихся в сундуках платьев.

«Принарядились для агрессоров, — отметил в уме Мишка, — хотя так и правильно. С чего лахудрами себя выставлять? Эх, мне бы боты почистить!»

Краснолицый рыжеватый солдат, с которым поровнялся студент, как раз только что закончил операцию, о которой платонически мечтал Мишка, и, положив щетку на подножку грузовика, удовлетворенно оглядывал блестящий лоск коротких и широких голенищ как-то неладно на русский взгляд сшитых сапог.

«Была не была, — неожиданно для самого себя решил студент, — чем я, собственно говоря, рискую?»

Он стал перед немцем, ткнул пальцем в банку с сапожным кремом, потом им же указал себе на ноги. Немец сначала недоуменно взглянул в лицо Миши, похлопал рыжими ресницами, потом перевел глаза в направлении его пальца и понял.

— Битте! — кивнул он головой, протянул Мише щетку, хлопнул его по плечу и залопотал что-то, из чего студент понял только одно слово «гут». Относилось ли это к сапожной мази или к чему другому, он себе уяснить на пытался, но всё-таки для придания себе веса ткнул в грудь и сказал:

— Студент.

— Штудент? — переспросил немец. — Ausgezeichnet! Ich bin auch Student, — и дальше целый поток слов. Но Миша уже не слушал, а с ожесточением тер щеткой по густо намазанному кремом ботинкам.

— Теперь на все сто! Спасибо тебе, немец! Битте... Нет, данке

надо сказать. Данке, камрад! А то, знаешь, семья эта старорежимная. На каждую мелочь внимание обращает. Ну, спасибо! — помахал он рукой так же, как видел делали это немцы. — Теперь переключаюсь на предельную скорость!

Обстоятельства сложились благоприятно. Мишке сегодня явно везло. Окно аккуратного, просторного домика на прилегающей к бульвару тихой, в зеленых садиках, улице открылось как раз в тот момент, когда к нему подходил Миша. Из окна выглянула лысеющая седая голова, блеснули на солнце старомодные золотые очки. Доктор Семен Иванович Дашкевич точно, как всегда, до секунды, начал поглощать очередную порцию ультрафиолетовых лучей.

Студента он заметил еще издали и, приложив ко рту поставленную ребром ладонь, прохрипел вглубь комнаты громким театральным шопотом:

— Мирок! Мирок! Твой Ромео шествует... Спешите к окну, Джульетта, а то он еще серенаду затянет. А как ты знаешь, я музыки по утрам не приемлю.

Потом, хитро подмигнув не скупившемуся на ультрафиолетовые лучи солнышку, старый доктор взял из стоящей на окне корзинки румяную булочку, прикусил ее и запил чаем. Старомодные очки благодушно съехали к синим прожилкам на кончике стариковского носа, одна из седых бровей резко подпрыгнула вверх, потом постепенно опустилась на прищуренный глаз.

— Разумный студияз совершает утреннюю прогулку, — приветствовал доктор Мишу, — как врач, одобряю. Ультрафиолетовые лучи как нельзя более благоприятствуют деятельности нервов.

Ультрафиолетовые лучи были пунктиком любимого всем городом доктора. За глаза его так и величали ультрафиолетовым.

Миша молча поклонился и пожал протянутую из окна, покрытую сетью синих прожилков, руку.

— Ну, как? — хлебнувши чая, спросил доктор. — В городе спокойно? Пожары потухли? — и не дожидаясь ответа, продолжал сам. — В общем, критический момент перехода из рук в руки обошелся нам очень дешево... Пожаров не так много, артиллерийского обстрела в городе не было, убитых с воздуха, по вчерашнему подсчету, 87, раненых — 163. Для города с населением в сто пятьдесят тысяч это пустяк.

— Профессора Колосова убило, — сообщил, чтобы что-нибудь сказать для завязки нужного ему разговора, Миша.

— Не убило его, а он сам умер, — строго поправил доктор, — разрыв сердца, как и следовало ожидать при его болезненном состоянии... Берегите свое сердце, студент, никогда не перегружайте его. Перегрузка любовью, конечно, в счет не идет. Она даже полезна в вашем возрасте... Мирок! Мирок! — закричал он, обернувшись. — Довольно тебе спать, вылетай из гнездышка, птичка! На солнышко! Под лучи! Они бьют сейчас как раз в нашем направлении...

— В северокавказском направлении упорные бои с переменным успехом, — неожиданно прохрипело радио и снова замолкло.

Доктор поднял вверх указательный палец.

— Каково? Электростанция возобновила работу... Вчера тока не было.

— Пробуют, должно быть.

Из-за плеча старика выглянула повязанная крымской чадрой головка, а из-под чадры неприбранные еще влажные после умывания каштановые локоны.

— Здравствуйте, Миша. Что в институте? Вы были там после бомбежки?

— В самом институте не был, а в общежитии номер один даже ночевал... В общем, ничего особенного, — переминаясь с ноги на ногу, ответил Миша.

— У вас всегда так: ничего особенного, — капризно опустили уголки nasкоро подкрашенных пухлых губок Мирочки Дашкевич — никогда ничего рассказать толком не можете... Даже и говорить не умеете... Зачем только на литфак поступили? Вам, Миша, надо было на математический идти. Писали бы цифры — вас на это хватит. Ну, я иду одеваться. Пока! — Головка исчезла, оставив студента в полной растерянности.

— Суровый, суровый вынесен вам приговор, студиоз, — утешал его доктор, — но вы не печальтесь. И Пушкина тоже сурово Булгарин критиковал... Однако, мне пора на новую службу, — заторопился старик, — или вернее на старую службу. Меня ведь, студиоз, новое начальство назначило руководить здравоохранением. И я принял это назначение. Что? Удивлены? Осуждаете? Врач, дорогой мой, обязан лечить всех и всегда. Медицина вне политики. Я это утверждал в прошлом, утверждаю и теперь. Ну, я иду...

— И я с вами в комендатуру, Семен Иванович, мне тоже туда надо, — засуетился Миша, подумав про себя: «Теперь она больше не выйдет... Ну, ничего, по крайней мере лично удостоверился, что она, не уехала... А могла... Комсомолка ведь... В порядке партдисциплины».

За всю дорогу в комендатуру Миша не сказал двух слов, зато доктор ораторствовал, как великобританский парламентарий. Начал он, конечно, с влияния ультрафиолетовых лучей на организм homo sapiens, но потом перешел к декламации:

«Блеснет наутро луч денницы...»

и дойдя до

«Что день грядущий мне готовит»,

перескочил на злободневную тему — смену власти и режима, а с нее, увидев немца, расставлявшего дорожные указатели с названиями немецких штабов и управлений, — на точность германской организационной системы. Но закончить этой темы он не успел. Пришли в комендатуру, разместившуюся в полностью уцелевшем здании обкома.

Вся улица перед ним была забита толпой. По привычке теснились, давили, жали друг друга, стараясь пробиться ближе к открытым дверям, в которых стоял немецкий солдат с палкой, к концу которой была привязана взятая, вероятно, из клуба обкома перчатка для бокса. Время от времени он спускался со ступеней крыльца и расчищал дорогу к дверям, звучно хлопая этой перчаткой по головам теснившихся, и громко выкрикивал что-то. Но как только он возвращался на крыльцо, толпа снова смыкалась и затопляла расчищенную им дорожку.

Доктор, не пытаясь протиснуться, издала помахал над головой зеленой карточкой «аусвайса»:

— Эй, мейн герр! Как тебя там величать? Дейтшер золдат! Их доктор! Сделай милость, проводи цу герр оберст... — махнул он карточкой вправо и влево. — Раздвинь!

Немец заметил, кивнул головой, и перчатка часто захлопала по головам столпившихся.

— Могу и вас, студиоз, с собой провести. Иначе не попадете.

— И меня, Семен Иванович, — послышалось из ближних рядов.

— И ты здесь! — радостно удивился Мишка, увидев пробивавшегося к ним из толкучки Броницына. — Тоже решил поступать?

— Я это решил, когда они еще к Ростову подходили, — тяжело дыша отвечал покрасневший от натуги Броницын. — Обе пуговицы начисто отлетели, — помял он борт ловко сидевшего на нем, по мнению студентов, пиджака. — Здравствуйте, доктор. Проведете?

— Целая свита. Ну, что ж, скажу — санитары. Занитарен, — указал он на студентов, пробившихся к немцу. — Мейне ассистенте.

— Обратно и здесь опять блат, — прозвучал мрачный голос из отпихнутой немцем толпы. Но грузный парень в спецовке, сказавший это, был тотчас же одернут прижатым к нему соседом.

— Не видишь, что ли? Это доктор Дашкевич.

В первой комнате, где прежде беспрерывно трещали шесть обкомовских машинисток, теперь сидела только одна, а глаголем к ней, за сдвинутыми столиками поблескивал круглыми, тяжелыми очками экономист плодоовоща Мерцалов и, тоже в очках — другой, с резко очерченным, выдающимся вперед волевым подбородком, инженер Красницкий. Перед ними стоял плотный широкоплечий мужчина в чистой белой толстовке. Еще несколько человек ожидали конца их разговора, сгрудившись у дверей.

— Ну, я прямо к коменданту насчет помещения для лазарета, вам — туда, к бургомистру, — указал студентам на Красницкого доктор.

— Господину доктору, Семену Ивановичу, привет и уважение, — упирая на слово господин, повернулся стоявший у стола.

— А-а-а! Шершуков! — заулыбался ему доктор. — Ну, как? Печень теперь не ноет? Ишь, какое пузо себе нагулял, — ткнул он в живот тоже смеющегося бывшего своего пациента. — Водки, водки, брат, поменьше пей!

— В меру, Семен Иванович, в меру.

— Мера, знаешь ли, разная бывает. Это понятие растяжимое.

— Вы с ним теперь не шутите, — тоже засмеялся из-за стола Мерцалов, — он теперь директор типографии. И даже по заслугам. Успел уже! Во время бомбежки всех рабочих на производстве удержал и тотчас же объявления командования отпечатал. Вот как!

— Прямо на том же рулоне, на котором «Кубанскую правду» крутили! Без перерыва, — широко размахнул руками Шершунов.

— Так... Значит, — смахнув с лица улыбку, по-деловому, договорил, обращаясь к нему Мерцалов начатую перед приходом доктора фразу, — значит, газету ты полностью обеспечиваешь. Нам — с плеч долой. Ты соберешь сотрудников и редактора разыщешь. Намечаем, значит, Брянцева? Так?

— Точка! К завтраму — полностью. Сегодня — экстренный выпуск на одном полулисте.

— Решили. Текст сами немцы дадут. Полковник Шредер. Кстати,

он полностью русский. Вали! Вы по какому делу? — обратился Мерцалов к студентам, но ответить они не успели.

— Вы, господин доктор, — снова упирая на слово господин, обратился к Дашкевичу Шершуков, — с профессором Брянцевым в близких отношениях состоите и, надо полагать, знаете, где он сейчас находится?

— Они должны знать, — ткнул пальцем в сторону ребят доктор, — его студенты, словесники.

— В учхозе зооинститута, садовым сторожем, — отпрапортовал Мишка.

— Все в порядке, — поймал его за борт пиджака Шершуков. — А вы, ребята, сюда за работой пришли? Лучше не может быть! Давайте их мне, господин бургомистр. Без промедления! У меня корректор ранен.

— Раздробление обеих голеней, — подтвердил доктор, — сегодня ампутировать будем. Сложная операция.

— Фьюить! — присвистнул Шершуков. — Кончился, значит, наш Петр Васильевич! Жалко, человек хороший. Значит, вали прямо в типографию, ребята, — повернулся он снова к студентам. — Я вас за полчаса знакам обучу. Один корректором, другой подчитчиком. Сыпь! Или нет, — поднял он вверх крепкий, зачерненный свинцовой пылью палец, — за три часа на Деминский хутор смахаете? К Брянцеву? Гоните! Отношения к профессору Брянцеву они снесут, — повернулся он к бургомистру, — провернут дело в два счета. Я сейчас сам машинистке продиктую, вы подпишите, — зашагал он вразвалку к сидевшей за одиноким столом поджарой девице в голубом сарафанчике.

— Каков? — взмахнул вслед ему подбородком Мерцалов. — А? Доктор? Какие работники выявляются! Энергия! Деловитость! Чем не директор? А ведь был простым наборщиком или чем-то вроде. Великую силу таит в себе русский народ!

— Некогда мне с вами философию разводить, меня больные и раненные ждут, — отмахнулся старик и засеменил к закрытой двери коменданта.

Студенты, получив подписанное письмо к Брянцеву, тоже двинулись к выходу.

— Есть, капитан! Ловко? — встряхнул за плечи Броницына Мишка, когда они выбились из осаждавшей комендатуру толпы. — За пять минут все устроилось. А то бы давились бы здесь до вечера. К тому же, можно сказать, по специальности работу получили.

— А зарплаты своей не знаем.

— Это мелочи жизни. Меньше советских ставок, я думаю, не получим. Значит, живем... Смотри, смотри, кто стоит! — с удивлением воскликнул он.

— Где?

— Да вон же, рядом с девахой в белой косынке.

— Плотников... — еще более удивленно протянул Броницын. — Вот уж никак не ожидал его здесь увидеть. Неужели он тоже к немцам на службу?

— Дело темное, — покачал своей круглой головой Мишка, — может быть в самом деле переметнулся и выслужиться у новой власти хочет... А, может, и по заданию... для диверсии. Или просто наблюдателем, чтобы на заметку брать тех, кто здесь. Это вернее всего. Зна-

чит, и мы будем в его списке. Ну, черт с ним, все равно узнается. Да я и скрывать не хочу. Ну, сыпем сейчас в учхоз полным ходом. Придется поднажать!

— Скажи, — обратился к Мишке Броницын, когда они, промахнув быстрым шагом улицы пригорода, вышли в степь, — по чести, верно скажи, — обнял он за плечи друга, — вот мы с тобой поступили сейчас на службу к врагам... то есть... Не так, не совсем так. Вернее, к тем, кого привыкли называть врагами...

— Мало ли кого мы врагами-то называли, — засмеялся Мишка, — с чужого голоса. То одни, то другие врагами народа оказывались. И голосовали мы, и клялись, а ты сам-то в эту вражду верил?

— Я — дело иное. Я тебе говорил ведь, что я не советский. Я сам враг. Сын врага, помещика, офицера. А вот ты — крестьянин, мужик по рождению?

— Совсем не мужик, — обиделся Мишка, — а природный казак станицы Полтавской. Это две большие разницы.

— Одна разница бывает, дурень... А еще словесник.

— Одна ли, две ли... Не в том дело. А только не мужик, а казак. Иногородние, Косин, например, те мужики, а мы нет, — сердито настаивал на своем Миша.

— Ладно! Казак! Не спорю. Но на душе-то у тебя все в порядке? Гладко? Или цепляется что-то?

— За что там цепляться? — пожал плечами Мишка. — Все равно, без задоринки. Я своего врага знал, когда еще без порток бегал... Когда нас со станицы согнали... И то еще в милость — бедняками признали. Не в Сибирь и не в подвал. Все семейство цело. Наш враг нам очень хорошо известен. А кто против него, тот выходит нам другом. Я знаю, чего хочу. Однако, подбавим, подбавим ходу! Этот Шершук или как его там велел обязательно к обеду стать на работу. Жмем, Броня! — потянул он за плечо друга, но тот не двинулся. Широко открытыми глазами смотрел Броницын на простор осенней побуревшей степи, раскинул руки, сжав кулаки, так что кости хрустнули, напрягся до боли в плечах...

— И я знаю... Жить! Жить я хочу! Просто жить! Полно! Всем своим существом, всей кровью, всеми фибрами... — свел руки, сжал их, сплел в тугую узел хрустнувшие пальцы...

— Я мало жил,
Я жил в плену, —

не то выкрикнул, не то простонал он.

ГЛАВА 15

Дележку небольшого запаса имевшейся в совхозе муки начали с восходом солнца. Женщины, кто с мешком, кто с ведром, толпились около кладовой и дружно наседали на румяного кладовщика.

— Без бухгалтера не отпущу, — твердил тот.

Бегали в контору. Отец Павел сидел там, но благоразумно заперши и дверь и окно.

— Ведомость составляет, — обнадеживали нетерпеливых вернувшиеся от дверей конторы.

Тут же, в сторонке, стоял Евстигнейч.

Наконец, когда солнце уже высоко поднялось над дымившейся утренним паром степью, дверь конторы раскрылась, и осанистый бухгалтер, держа перед собою широкий лист ведомости, неспешно сошел с крыльца.

— Погоди еще отпирать, — распорядился он, — сначала я зачту список. Если недовольство какое или у меня самого получилась неточность, заявите. К примеру, Кудинова Мария, сколько у тебя едоков в наличности? Трое? Колька-то у тебя в городе?

— Пятеро! — выскочила вперед бойкая, ладная, как спелое яблочко, и такая же румянистая бабенка. — Пятерых считайте в наличности, отец Павел!

— Вот это здравствуйте-пожалуйста, — поклонился ей бухгалтер, выражая этим жестом одновременно удивление и недоверие. — Считаем: ты, две девочки — трое. Положим, Кольку еще из города вернешь. Будет четверо. А кто пятый?

— Андрей Иванович тоже едок. Вот и пятеро, — с долей ехидства тоже поклонилась ему бабенка.

— Ты бы еще дедов и прадедов присчитала! Андрей-то Иванович с год, как мобилизован.

— Аккурат годочек, — еще ехиднее заулыбалась Марья Кудинова. — Что ж тут такого? А он в наличии.

— Что ты мне голову задуряешь! — даже плюнул с досады отец Павел. — Всякому нахальству предел имеется. Раз человек в армии, возможно даже, что и не жив, как его в наличии показывать?

— А вот удостоверьтесь сами. Вот он, как есть, в полном виде! — торжествуя одержанную победу указала Марья на подходящего к кладовой чисто и аккуратно одетого человека. Шел он медленно, несколько смущенно и вместе с тем хитровато улыбаясь свежесбритыми губами. Подойдя, поклонился бухгалтеру, потом шарахнувшись от него на обе стороны женщинам. Кладовщику протянул сложенную дощечкой руку.

— Андрей Иванович! Ты ли это или душа твоя неприкаянная? — патетически возгласил отец Павел, подняв над головой лист ведомости.

Евстигнейч бочком подобрался к пришедшему, осторожно пощупал полу его пиджака и ответил за него отцу Павлу:

— Вполне вещественный. Своевременно из армии смылся, надо полагать.

— В ней и не был ни одного дня, — пожал руку старику подошедший, — год и четыре дня имел подземельное местожительство.

— Ну, дела! — развел руками отец Павел. — Как же тебя, Андрей Иванович, теперь числить?

— Едоком, — услужливо подсказала заскочившая перед мужем Марья, — живая душа пить-есть хочет.

— Значит, перерасчет, всю ведомость ломать, — недовольно пробасил священник-бухгалтер.

— Не стóит. Там у меня кой-какой резерв есть, — успокоил его кладовщик, — из него и выделим. А ты где же обретался всё это время, Андрей Иванович?

— Говорю — в подземельном местожительстве, вроде как бы крота в зимнюю пору или сурка.

— Под печкой погребок вырыли, а поверх сухого будяку навалили, — бойко затараторила, распираемая желанием рассказать всё в подробностях, Марья, — там и находился.

— То-то ты и выглядишь бледноватым.

— Кашель одолевать стал, — сыпала Марья.

— Сырость, конечно, — посочувствовал Евстигнейч, — как-никак, земь. Хотя бы и под печкой.

— Так и сидел весь год? — продолжал изумляться отец Павел.
— Без выхода? Чудеса!

— Ночами иной раз выходил. В юбку мою и в кофту обряжался, — не унималась Марья, торопясь поскорее высыпать весь ворох сенсационных новостей.

— Всеволод Сергеевич, — закричал отец Павел подходившему вместе с Ольгой Брянцеву, — полюбуйте, какие у нас тут чудеса происходят. Вы этого человека знаете?

— В первый раз вижу, — отглядел Брянцев Андрея Ивановича.

— Да что я на самом деле. Конечно, знать вы его не можете. Он до вашего поступления в затвор уединился. Рекомендую: Андрей Иванович Кудинов, огородник нашего учебного хозяйства. Замечателен же в настоящее время тем, что лишь сегодня на свет Божий выполз из подземного пребывания, в коем он провел ни мало, ни много один год...

— И четыре денечка, — вставила Марья.

— И четыре дня, — добавил отец бухгалтер, — укрываясь от призыва в ряды рабоче-крестьянской красной армии. Дезертир, можно сказать, особого вида.

— Нет, не дезик, — согнав улыбку, с сердцем возразил подземельный человек. — Я, извиняюсь, не из армии сбег при военном положении, а идти в нее не схотел. На какой она мне чорт сдалась? Кого мне в ней защищать? Опять же ихнюю власть? Гепею или эту самую сицилизму? Кого?

— Упорный характер. Твердый, — указал на него Брянцеву отец Павел.

— Настырный, ох, и настырный! — с чувством подтвердила Марья.
— Всех пересамит.

— Ну, приступим к проверке и выдаче одновременно, — возгласил бухгалтер, — отомкни! Андрюхина Елизавета со чадами, всего пять едоков... Сначала муку разберем, а потом обсудим и решим о зерне: на руки из закрома или сначала в размол. По алфавиту вычитываю: Брянцев Всеволод Сергеевич, два едока.

Получив свои тридцать кило серой, не отсеянной муки, Ольга выволокла мешок из толкучки и хотела уже взвалить его на плечо Брянцева, но мешок оказался у Евститнейча.

— Зачем вам себя утруждать, — ловко вскинул его на плечо старик, — замазаетесь только. Наше дело привычное.

Брянцев не спорил. Хочет услужить, так и мешать ему незачем. Значит, другой теперь ветер дует, а кроме того, Евстигнейч никогда спроста не действует. Вероятно, и теперь у него что-нибудь на уме, поговорить втихомолку может быть хочет. Хитрый мужик!

— К шалашу нести? Вам бы теперь в подходящее помещение перебраться надо, в директорскую хотя бы, — наставительно советовал Евстигнейч.

— Ну, пока в шалаше еще проживем, — решительно заявила Ольга. — И жить будем недолго. В город надо возвращаться.

— Вам здесь спокойнее будет, — дипломатично ответил ей Евстигнейч, — опять же питание... Какое в городе снабжение окажется — неизвестно.

— Какое бы не оказалось, а вернемся в город, — твердо отчеканила Ольга.

— А зачем? — поднял брови Брянцев. — Институт, несомненно, закрыт.

— А здесь оставаться зачем? Смотреть, как трава растет? Да? Насмотрелся, голубчик! Хватит!

Горячность и решительность Ольгунки радовала Брянцева, но чем — он и сам понять не мог. Привычная, повседневная Ольга, та, которую он знал до мелочей, до каждого движения губ, бровей, оттенка голоса, Ольга, с которой было прожито девять тусклых, не отличимых один от другого лет, уходила куда-то в прошлое, расплывалась, растворялась и меркла в нем, а вместо нее всё яснее и отчетливее проступал другой облик, иной, еще неведомый ему и непонятный.

«Сводные картинки такие были, всплыло в его памяти воспоминание детства, на бумажке тускло, неясно, а когда намочишь и сдернешь бумажку — заблестит. Так и она теперь. Тоже бумажку сбрасывает».

— Дело, конечно, ваше, — политично рассуждал Евстигнейч, — в город ли вертаться или здесь оставаться, а только, по моему соображению, вам здесь даже антиреспектнее будет в общем смысле. Смотрите, дела-то как поворачиваются! Хотя бы Андрея Ивановича взять...

— Что ж в нем особенного? — повел плечом Брянцев. — Обыкновенный деэртир. Мало ли таких.

— Вот и не так рассуждаете, — хитровато посмотрел сбоку на него Евстигнейч и тотчас же спрятал свои медвежьи глазки под брови, — обыкновенный дезик от своего дому подалше оказаться старается. Бежит от него, чтоб на след не навести. Как лиса. Только бы самому сохраниться. А этот под собственный дом закопался. На какой предмет, спрашивается? Как вы об этом располагаете?

— Чтобы борщ хлебать, какой ему жена наварит, только и всего.

— Он этого борщу вдосталь уже нахлебался. В другом тут дело. Он свой дом старается не упустить. Каждому свое мило. Времени он своего дожидался. Опять же профорг...

— Думаешь, он в него и стрелял? — осенила Брянцева внезапно пришедшая гипотеза.

— Всенепременно. Кому другому быть? Промеж них издавняя злоба была. Пришло время — подвел ей счет.

— Верно! — блеснула глазами Ольгунка. — Погоди, не то еще будет. Это только первая ласточка, зарница грядущей грозы. Погоди, погоди...

— Ты и сама словно сводить счета собираешься.

— А почему бы и нет? — вскинула голову Ольга. — Думаешь, у меня должников таких нет? А кто мою молодость съел? Кто? Была она у меня? Детство было? Все сожрали, сволочи! — звонко выклика-

ла она, блестя глазами. Ее как лихорадка била.

«Одержимая, подумал Брянцев, никогда еще ее такой не видал».

— В город! В город! — хваталась Ольга то за один, то за другой мешок. — Сама всё поволоку. А то и здесь брошу.

— Зачем нужные вещи бросать? Всякое барахло пригодится. А мы вам его донесем.

Раскрасневшийся от быстрой ходьбы, блестящий потом и широко раскинувший в улыбку свой рот с мелкими, крепкими зубами, Мишка стоял перед шалашом. От конторы подходил, вытирая лоб платком, Броницын.

— Мы за вами, Всеволод Сергеевич!

— За мной?

— В город вам перебираться надо... В самом срочном порядке! Вот, читайте! — протянул студент Брянцеву невложенное в конверт отношение бургомистра. — И вот еще записка от Шершукова.

— Дай! — выхватила у Брянцева обе бумажки Ольгунка, быстро пробежала их и протянула ему. — По-моему, по-моему выходит! К чорту растущую траву! — рванула она куст ни в чем не повинного чистотела. — Молодцы, ребята, — махнула студентам выпачканной в его желтый сок рукой. — Сейчас олады вам за это напеку!

— Кто такой Красницкий? Почему Шершуков пишет? И кто он сам, собственно говоря? Почему он меня знает? — допрашивал Мишку Брянцев, прочтя оба письма.

— Красницкий — бургомистр города, новая власть, а Шершуков теперь директор типографии, старое начальство всё разбежалось, он выдвинут. Ну, а знает, вероятно, вас по вашим статьям в газете или по общественным докладам... Да кто вас в городе не знает! — и Мишка стал сбивчиво, торопливо выкладывать все городские новости.

— Вам, только вам и быть редактором свободной газеты, беспартийной, нашей русской, понимаете, русской газеты, — насакивал он на Брянцева.

— Так, не обдумав, нельзя... — уклончиво отвечал тот, хотя было видно, что предложение бургомистра и Шершукова его взволновало.

— Вам, только вам! — страстно вторил Мишке Броницын. — Ведь вы старого императорского университета... старый интеллигент... И ваши статьи всегда...

— Тебе! — кричала сквозь шипение примуса Ольга.

— Постойте, постойте... Тут много еще недоговоренного: немцы, их цензура, их пропаганда...

— Немцы — немцами, а мы сами собой, — уверенно выпалил Мишка.

— Пацанок еще, а сказал правильно. Лучше и не надо. Немцы — немцами, а мы сами собой, — послышалось со стороны кустов.

Все обернулись. Между разросшимися по рубежу сада кустами серебристой полыни и густозеленого чернобыла стоял кривой и посмеивался, морща паутину шрамов вокруг выбитого глаза. За его плечом виднелось руно спутанной, непомерно длинной сивой бороды, а над ней опаленное солнцем до черноты буграстое, безволосое темя.

— Ты, дружок, откуда взялся? — с нарочитой слащавостью в голосе спросил Евстигнейч. — Как кот подобрался. Не слышать — не видеть, а он тут.

— Что же удивительного? За семейством в город сходил, а теперь с ним вертаюсь. В тенечке передохнуть присели. Супружница наша при вещах тамочко находится, — мотнул головой кривой за кусты поляны, — а я вас послушать поинтересовался.

— А это при тебе кто? — указал Евстигнейч на бородатого. — Отец твой, что ли?

— Отец, да не мой. Всеобщим отцом допреж был — попом. Теперь же просто человек Божий. Ума решился. Христа ради его при себе блюдем.

— Так, так... — неопределенно промуслил Евстигнейч. — С Тарки, ты говоришь? Ближний? Я там кой-кого знавал. А тебя вот никак не припомню. Чудно...

— Что ж чудного, я там не природный, а вроде как приبلудился. Проживал всё же немалое время и приятельство имею. Вот и теперь к друзьям прибиваюсь.

Напряженно смотревшая на пришедших Ольга взяла с тарелки только что испеченную парующую оладину и медленно, продолжая неотрывно вглядываться в лицо бородатого, подошла к нему. Перекрестилась и протянула оладину:

— Прими, Христа ради, человек Божий!

В тусклых, выцветших глазах старика промелькнул теплый свет. Промелькнул и снова погас. Взяв лепешку, он тою же рукой широко перекрестил Ольгу.

— Благословенна будь, дочь сионская, в путях тебе предначертанных.

Потом промурчал еще что-то, увязшее в его бороде, и закусил подавание.

Ольгунка опустила на колени и в землю поклонилась старику. Смиренная, тихая, вернулась в шалаш. Все молчали, и в наступившей тишине было слышно, как чирикал прыгавший по аллее воробей:

— Жив-жив! Жив-жив!

— Звать-то тебя как? — словно невзначай спросил Евстигнейч кривою.

— Поп Иваном крестил, а люди Вьюгой от себя докрестили...

— Посеявшие ветер пожнут бурю... Возвратися ветер на круги своя, — прошуршало в сивой бороде так тихо, что услышало эти слова только напряженное ухо Ольги.

— Жив-жив! Жив-жив! — ликующе чирикал воробей.

ГЛАВА 16

В типографии, куда Брянцев пошел тотчас же по возвращении в город, он разом попал в распростертые мощные объятия Шершукова. До того они не были знакомы. Шершуков знал Брянцева в лицо, как большую часть сотрудников краевой газеты и просто часто бывавших в редакции. Видал в ней и Брянцев Шершукова, но теперь лишь смутно вспоминал его выделявшуюся среди рабочих крупную, осанистую фигуру.

— Ну, теперь все в порядке, — тряс чуть не до вывиха в плече руку Брянцева Шершуков, — к вечеру экстренный выпуск отстукаем

на американке! За нами задержки не будет. В момент наберем и сверстаем две полосы. Гоните только материал! Заголовок пока афишными наберем. Как назовете новорожденную, — вытянулся во весь рост Шершуков, — русскую свободную беспартийную газету?

Последние слова он произнес тем же торжественным, высокопарным тоном, каким еще так недавно заканчивал свои выступления на рабочих собраниях, провозглашая имя гениальнейшего, мудрейшего вождя народов.

— Позвольте, позвольте... — Брянцев даже на шаг отступил перед этим бурным натиском. — Как же так... Сразу... Ни сотрудников, ни помещения, ни машинистки... Ничего еще не организовано...

— Темпы! Темпы, господин профессор! — особо подчеркивая титулование, выпалил, как из пушки, Шершуков. — Темпы решают все, как говорит товарищ... А, чорт бы его побрал!.. В общем же и целом, переживаемый нами момент глубоко революционный...

— Но прежде всего нужно утверждение меня в должности редактора...

— Утверждение у меня в кабинете сидит и сводку с немецкого переводит. Идемте! — подхватил Брянцева под руку Шершуков и столь же стремительно повлек к низенькой двери в глубине канцелярии. Оглушенный Брянцев успел лишь заметить, что за всеми столами сидели бухгалтеры, счетоводы, кассир. Они что-то записывали в разостланные полотнища ведомостей, щелкали костяшками счетов — словом, все шло обычным, установленным порядком рабочего дня в советском учреждении. Это его поразило и запомнилось. Остальное ушло в туман. Запомнился еще осыпанный осколками битого стекла подоконник подслеповатого маленького кабинетика зава типографии, где за едва помещавшимся в нем письменным столом сидел пожилой немецкий офицер с коротко подстриженными, переходящими в лысину седыми волосами.

— Вот ваше утверждение в должности. Оно же и непосредственное начальство, — подтолкнул к нему Брянцева Шершуков, — а вам, Василий Васильевич, честь имею представить главного редактора газеты, профессора Брянцева, — снова подчеркнул он ученое звание.

— Только временное и даже очень кратковременное начальство, — протянул ему руку офицер и назвал себя: — Полковник фон-Мейер. Кратковременное, потому что я — офицер штаба дивизии, а не абтейлюнг-пропаганды, отдела, говоря по-русски, который прибудет потом. Тогда и организуете работу, как надо. А пока мы, то есть штаб дивизии, будем давать вам лишь краткие сообщения, чтобы внести успокоение в среду населения. Ну, и сводки, конечно. Вот вам первая, — протянул он Брянцеву три листа, исписанных мелким, бисерным, но очень четким почерком. — И еще там... Что сможете и найдете нужным, печатайте, конечно, но коротко. И, пожалуйста, первый выпуск сегодня же. Успеете?

— Не беспокойтесь, Василий Васильевич! — ответил за Брянцева Шершуков и приложил ладонь к виску, как бы отдавая честь.

— К пустой голове руку не прикладывают, — засмеялся немецкий полковник, — так в русской армии раньше говорилось. И ладонь нужно распрямить и повернуть, — поправил он растопыренную пятерню Шершукова. — Вот теперь настоящее русское отдание чести. Ну, я

ухожу. Вернусь в пять... нет, даже в четыре тридцать. Тогда посмотрим корректуры и поговорим подробнее.

— Будьте покойны-с. Точно! — уже вслед ему рапортовал Шершуков.

— Кто это? — только и нашелся спросить его Брянцев.

— Видите теперь, как немцы дела делают? — спросил его в свою очередь Шершуков вместо ответа. — Безо всякой волокиты и бюрократизма. На-слово. Полное доверие. Раз, два — и в дамках. Вот это действительно темпы! — упер он руки в бока.

— Нет... Кто этот полковник? По-русски он говорит без малейшего акцента.

— А зачем ему этот акцент, когда он, Василий Васильевич, родом из Крыма. Теперь, понятно, эмигрант. Ну, его автобиографию сами потом узнаете, а сейчас, не теряя минуты, начинаем. Где будете работать? В редакции? Тогда пошли, там уже кто-то есть.

Редакция краевой газеты занимала два этажа в том же доме, над типографией. Шершуков уверенно взбежал по лестнице, шумно вздохнул, отдулся и покрутил головой.

— Склерозец. Ничего не попишешь, — хлопнул он себя по широкой груди и с удивлением осмотрелся, — ничего не поперли! Даже занавески на месте... Удивительно!.. — протянул он. — А вы видели в крайкоме? Все дочиста растащили. Да впрочем вас в городе не было. Тут такое вчера творилось, больше, правда, по части продуктов питания... Ну, и мануфактуры, конечно. Вот и ваш кабинет, — растворил он плечом обе половинки двери и театрально расшаркался. — Ну, я смываюсь. Жду материала. Не задержите.

Оставшись один, Брянцев оглянул знакомый ему редакторский кабинет. Все, как было. Все в полном порядке. Только серый налет пыли на большом, покрытом зеленым сукном столе редактора, на массивном письменном приборе с бронзовым бюстом Ленина, да разбитые стекла в окнах говорили о прерванной внутренней жизни, размеренно протекавшей в этой комнате.

«С чего же начать? Как начать?» — силился связать в плотный узел беспорядочно клубившиеся в его голове мысли Брянцев. «Была четко налаженная, действовавшая без перебоев машина, ее агрегатами, винтами, шестернями, валами были десятки людей. Теперь их нет. Значит, нет и машины?»

— Сейчас я только со стола обмету и с подоконников уберу, а вечером полный порядок наведу. Сегодня уж как-нибудь так поработайте...

Оглянувшись, Брянцев увидел незаметно вошедшую широколицую, широкобедрую уборщицу Дусю с ее неизменными атрибутами — ведром, метлой и тряпкой. Увидел и обрадовался ей, как родной. Даже метле и грязной тряпке обрадовался.

— Дуся! Вот хорошо, что вы здесь!

— А где ж мне быть? — просто, по-домашнему ответила техничка. — Комната-то моя при редакции. Я все эти дни, когда самый грабеж шел, в ней и сидела с ребятишками. Нижнюю дверь заперла. Застучат, а я им в ответ: «Немцы здесь, занято». Этим только и отбилась, а то бы все начисто растащили.

— Вот какой вы молодец. Только вы одна здесь и остались?

— Зачем одна? С нашего двора никто не эвакуировался. Надя-сте-

нографистка здесь, Мария Гавриловна — в библиотеке. Куда им с детьми ехать? А из сотрудников только один Котов два раза приходил. Он и сейчас здесь. Позвать?

Дуся поставила ведро на пол и, раскачивая бедрами, выплыла в коридор.

— Вот он сам идет! — крикнула она оттуда, снова заглянув в дверь.

В кабинет вошли двое. Брянцев знал обоих. Впереди прямой и высокий, похожий на англичанина с иллюстрации к Жюль Верну, сотрудник редакции Котов, всегда удивлявший Брянцева своей исключительной сдержанностью, резко выделявшей его в среде шумных, торопливых и размашистых работников газетной кухни. За ним — хорошо знакомый — студент-выпускник Зорькин, всегда ловивший Брянцева в коридоре института с дополнительными вопросами, в которых неизменно чувствовалась недоговоренность, боязнь самому поскользнуться.

— Слышал от Шершукова, редактором назначены вы. Очень рад, — пожал протянутую Брянцевым руку Котов. Фразу он выговорил медленно, тихо, отдельно и без улыбки. — Кстати, ваше имя и отчество? Простите, я не знаю, а «товарищ», надо полагать, навсегда отменен. Вот очерк городской жизни за последние дни. Трудно, конечно, писать, не зная требований и цензурных условий. Однако, факты говорят сами за себя. Осмотр подвалов НКВД... ужас... Стены забрызганы кровью и мозгами... На полу разорванные в клочья трупы...

— Гранаты в окна кидали, — не утерпел вставить, захлебываясь сенсацией, студент. — Что там сейчас творится — уму непостижимо! — схватился он за голову. — Родственники сбежались! Плач! Крик! Дети!

— У вас о том же? — протянул руку к листку студента Брянцев.

— Нет, у меня повеселее. Хроника. Уличные сценки. Но тоже очень интересно. Директора маслозавода рабочие убили при попытке поджога...

— Это, по-вашему, весело? — покосился на студента Котов.

— А как же? — наивно удивился тот. — Всем интересно. Пожар элеватора тоже... — рылся в своих листках студент. — Еще — реестр запасов продовольствия, обнаруженных в закрытом распределителе. Целый «Гастроном», — прищелкнул он языком с завистью голодного человека. — И сейчас еще оттуда таскают. Я только у зава выборку из складной книги взял. Не все, конечно, но самое главное, — частил Зорькин, — масла две тонны, сыр... ветчина дальше... вот и еще... Только почерк у меня аховый.

— Пошлите Дусю за машинисткой Надей и передиктуйте, — посоветовал Котов. — Вашу куриную скоропись в набор не примут, — брезгливо приподнял он со стола один из листов. — Дуся!

— Разместимся пока здесь, господа! Всем вместе в одной комнате удобнее. И начинаем работу, — чувствуя как с каждым словом крепнет его голос и уверенность в себе, распорядился Брянцев. — Итак, в экстренный выпуск, две полосы, у нас есть уже сводка, три объявления от немцев, ваш очерк, хроника... Теперь моя передовая и, пожалуй, будет уже достаточно. Перья вот все острые, — порылся он в мраморной вазе, стоящей на редакторском столе, — досадно... Привык к рондо... Ну, сажусь, — опустил Брянцев в кресло и придвинул к

себе большой блокнот с бланком главного редактора. Оборвал с него несколько верхних исписанных красным карандашом листов и обмакнул перо в загустевшие чернила.

«Вот и двинулась в ход машина, думал он про себя. Агрегаты появились сами собой. Как все легко получилось! Ну, — сдал в руки виски Брянцев, — первые слова первой передовицы первого номера первой в нашем крае свободной русской газеты... Как прозвучат они?»

Брянцев еще сильнее сжал виски, словно прессуя в них хаос клубившихся мыслей, и с каким-то внезапным порывом схватив перо, уверенно написал первые слова Великого Манифеста:

«Осени себя крестным знаменем, православный русский народ...»

ГЛАВА 17

Рабочая жизнь редакции быстро налаживалась. Брянцеву казалось, что и он, и сотрудники, число которых с каждым днем взрасталось, разом вливались в какое-то, уже проложенное когда-то и кем-то, русло, шли по проторенной дорожке, открывавшейся им самим шаг за шагом; без поисков и усилий с их стороны. Немецкий цензор не мешал. Он аккуратно приносил переводы сводок, приказы и оповещения комендатуры, а от просмотра корректур в большинстве случаев отказывался:

— Мне некогда. В немецких штабах много работы. Но ведь не будете же вы помещать статьи, направленные против Германии? Остальное же — городские новости, беллетристика и прочее их не интересует.

— Вы всегда говорите о немцах в третьем лице: они, их, — сказал ему как-то Брянцев. — Но ведь вы немецкий полковник, да и по крови, по крайней мере по фамилии, немец?

— Не только немецкий, но и русский полковник, — с осветившей его лицо бледной и несколько грустной, но вместе с тем теплой улыбкой ответил фон-Мейер, — да и по крови... Кто подсчитает, сколько ее во мне русской и сколько немецкой... Не в том дело.

— А в чем же?

— Вот в том, что родился, вырос и прожил лучшие годы жизни в России, — совсем уже грустно, без улыбки ответил старый офицер, — в том, что позже... телом жил в Германии, а душой... вот здесь где-то.

— Счастье ваше, что не наоборот, а то, пожалуй, вашего тела не было бы теперь ни в России, ни в Германии.

— Счастье или нет — не знаю. Но в эмиграции, особенно в первые ее годы, это не было счастьем. Скорее мукой. Я чувствовал себя тогда беглецом, изменником, дезертиром, трусом... Это было тяжело. Особенно для тех из нас, кто был воспитан в традициях служения родине.

Брянцев понял, что коснулся каких-то сокровенных, запрятанных в глубь души струн, что расспрашивать дальше фон-Мейера нецелесообразно, нечутко, но не смог удержаться от вопроса:

— А теперь?

— Теперь... Нет, — твердо ответил фон-Мейер, — теперь я снова служу ей.

— Даже в этом мундире?

— Мундир — условность, неизбежный тактический маневр. Впрочем и у меня были видимо волнующие вас теперь сомнения, пока я воочию не насмотрелся картин современной России, вернее того, во что ее превратили. И еще другого...

— Чего?

— Того, что населяющие ее люди — такие же самые, каких я видел, прощаясь с Россией, остались теми же самыми, а не превратились в уродов, какими мы их представляли себе, живя за рубежом.

Но подобные разговоры, в которые Брянцев часто пытался втянуть фон-Мейера, были все же редкими. Полковник явно избегал их и после двух-трех вырвавшихся у него фраз круто менял тему.

Брянцева это удивляло и даже обижало. В уклончивости Мейера он видел недоверие к себе, но Ольгунка, когда Брянцев рассказал ей об этом, посмотрела с другой стороны.

— А как иначе? Не забывай, что он состоит офицером германской армии. Мундир обязывает к многому, а его к еще большему, чем природного немца. Вероятно, на него там если не косятся, то во всяком случае смотрят несколько недоверчиво, не как на вполне своего. А двойственность в его душе чувствуется — те же сомнения в своей правоте, как у тебя. Но разве ты болтаешь о них каждому встречному? Эх, ты, интеллигент мой российский! — дернула Брянцева за волосы Ольгунка. — Не можешь обойтись без рефлексии, без нудных противоречий с самим собой. Бери лучше пример с Мишки: у него все просто и ясно. Стал на дорогу, так идет по ней, не озираясь по сторонам.

— А что он, кстати, делает?

— Об этом сам тебе расскажет, — загадочно ответила Ольга. — Лучше ты мне расскажи, как идет работа в редакции.

— Там все гладко, — разом повеселел Брянцев. — И знаешь, странно: редакция стала каким-то русским центром, особенно в первые дни по занятии города. Кто только ни приходил и с какими только вопросами не обращались! Для прямой работы времени не оставалось. Ибрагимова и еще какая-то учительница приходили о своих мужьях справки наводить. Этих мужей арестовали перед самым приходом немцев и, конечно, куда-то угнали, раз среди трупов их не нашли. А об этих угнанных самые печальные сведения. Половину или больше того в глубокой балке из пулеметов ликвидировали. Немцы там около сотни незарытых трупов нашли. Я и направил их туда: неизвестность еще тяжелее. Стасенко, помнишь, такой длинный, в прошлом году институт окончил, этот прибежал узнавать, где ему получить разрешение на открытие ресторана. Не пропадет парень: разом врос в капитализм.

— Не он один. Ты посмотрел бы базар — кого и чего там только нет: и спекулянтки, эти, конечно, всюду поспеют, и пригородные колхозницы, и городские интеллигентки — все за торговлю взялись! Кто чем! Колхозницы овощами, картошкой, мукой из разбитых амбаров, городские — добытым со складов распределителей... Конечно, и те и другие награбили. Впрочем, зачем это глупое слово? Не награбленным, а своим, конечно, своим, недоданным им, у них выхваченным!

— Интересно! Надо туда репортера послать.

— Как важно — репортера! А у тебя их много?

— С каждым днем прибавляется. Первый номер делало нас трое, а теперь уже за дюжину перевалило.

— Ого! Кто же? Знакомые есть?

— Почти все знакомые. Неожиданные скрытые таланты в них открылись.

— Даже таланты!

— Да. Таланты. Бухгалтер плодовоощи Крымкин такие фельетоны пишет, что и Дорошевичу не стыдно было бы. Помнишь его? С бородкой, вид уездного Мефистофеля и псевдоним себе избрал «Змий». наших студентов человек пять во всех жанрах упражняется. Стихов, конечно, непрерывный поток. Но главное интересно то, что все стали хорошо писать: искренно, доходчиво.

— Потому что много на душе накопело, паров в ней накопилось. Знаешь, Всевка. . . — Ольга замолчала, подошла к окну, посмотрела на залитую осенним солнцем пустую улицу, по которой деловито разгуливали две курицы, и досказала: — Знаешь, я думала: если бы найти такой способ, чтобы все эти накопившиеся в человеческих душах за советское время пары пустить разом в дело, в творческую работу. . . Что б тогда было?

— Мечтаешь ты, как всегда. Тебе бы Гербертом Уэллсом быть.

— Нет, ты послушай. Я знаю, что будет, — постукала Брянцева по лбу Ольгунка, — смотри, после бегства советов едва лишь неделя прошла, а как разом все ожило! Все начали что-то делать. Одни на базаре торгуют, другие рестораны открывают. . . Профессор Гриценко забегал сегодня, думал тебя утром застать. . . Он брошенные по учрежденским библиотекам книжки собирает. Что-то задумал: то ли книготорговлю, то ли библиотеку, а может и то и другое вместе. Об этом он и хотел с тобой поговорить.

— Не люблю его: хитрый, двуличный хохол.

— Это неважно. Сволочи и были и будут. Всегда будут, всегда! — уверенно повторила Ольгунка. — Но надо так, чтобы и они делали дело. А хороших людей тоже достаточно. Мария Васильевна, например. Она с бабами какими-то собрала беспризорных коров в Архиерейском лесу и теперь «Каплю молока» для больных детей организует.

— Знаю. Была у меня. Свел ее с немцами. Те тотчас же за нее схватились, во всем пошли навстречу: помещение ей отвели, дали ордер на получение кормов, сепаратор и еще что-то там. . . Одним словом, все имущество советской «Капли молока».

— От которой населению ни одной капли не приходилось? — злобно встала Ольгунка.

— Да, она молодец, деятельная, — пропустив мимо ушей реплику Ольги, продолжал Брянцев. — Кроме того, церковь ремонтирует в бывшем клубе Спартак. Также все своими силами. Вот никогда не подумал бы, что в этой скромненькой, тихой, безличной, как казалось, машинистке окажется столько инициативы и энергии.

— А главное — воли к добру. Вот я и твержу тебе все время про это. Это тот самый сдавленный советами пар рвется наружу. . . К добру. К свету рвется.

— Ну, и к злу тоже, моя дорогая! В редакцию достаточно этой дряни тащут. . . Форменные доносы под видом фельетонов и корреспонденций. . . Сведение личных счетов или просто пена кипящей злобы.

— Что ж, и ее накопело достаточно. Это естественно. Разве могло быть иначе? . . Но ведь и злоба, Всевка, и ненависть могут быть тоже

направлены к добру, если они вступают в борьбу с другою, сильнейшей ненавистью . . .

— Опять зафилософствовала!

— Никакой тут философии, а самая обыкновенная, вот такая повседневная, обывательская жизнь, — обиделась Ольгунка, но тут же снова вспыхнула изнутри, выкрикнула: — Вот Мишка, например! — выкрикнула и тотчас же прикусила язык. — Не могу еще пока сказать, это его тайна. Он сам тебя в нее посвятит.

— Посвятит, так посвятит . . . Будем ждать. А вот с обедом ждать не буду. Мне нужно опять в редакцию бежать.

— Ждать не придется, все готово. Да еще что готово-то! Угадай! — сняла Ольга с примуса прикрытую тарелкой сковородку. — Ни за что не угадаешь . . . Твоя любимая рыба! Свежая! Сегодня утром в озере еще плавала. А к ней — грибной соус.

— Откуда такие деликатессы?

— От свободы, дорогой мой, все от нее. На Сентилеевском озере, помнишь, охрана всегда стояла. Чорт их знает, что там чекисты оберегали, границу аэродрома, что ли . . . Но ловить рыбу никому не давали, да и вообще гоняли всех с берега. Теперь ребятишки побежали туда, конечно, раков ловить. А там уже немцы гранатами рыбу глушат. Крупную себе взяли, а мелочь отдали мальчишкам. Те два ведра на базар приволокли. Тоже предпринимательством занялись, и кстати грибов по дороге набрали. Говорю тебе, Всевка, из всех этих сдавленный пар прет.

Ольга сняла со сковородки тарелку и, как фокусник, наслаждалась эффектом, весело смотря на втягивавшего носом запах любимого кушанья Брянцева.

— Дары свободы!

— Добавь — желудочной. Ну, пожалуй, еще по наполнению карманов. А о прочих ее видах пока помолчим. Я, знаешь, вчера смотрел карту будущей Восточной Европы по немецкой планировке. Весь юг России — Украина, отдельное государство под германским протекторатом. Русская граница проходит к северу от Курска. Одесса — румынская. Крым, кажется, полностью германский. На Кавказе какая-то неразбериха: федеративное казачье царство, еще какие-то лоскутные союзы, но в целом тоже немецкая сфера.

— Начертить на бумаге что угодно можно, — спокойно и даже несколько презрительно откликнулась Ольгунка, но потом разом помрачнела, — чушь все это. Ничего подобного никогда не будет!

— Немцы иначе думают. И знаешь, что особенно интересно: показывает мне зондерфюрер эту карту и уверен, глубоко уверен, что она должна мне очень понравиться! Расплывается в самой благожелательной и вполне искренней улыбке. «А вам», говорит, «мы предоставим Персию с выходом в Индийский океан. Колоссально! Какие необозримые перспективы! Вы станете великой азиатской страной, владеющей двумя океанами. В этом ваша историческая миссия».

— Как раз! — стукнула о стол опустевшей сковородкой Ольга. — Здорово выдумал! Азиаты! Никогда этого не будет! Не дадим!

— Кто это «не дадим»? Какие силы? — усмехнулся Брянцев. — Ты, что ли, с Мишкой?

— Сила опять тот же пар, — уверенно и спокойно проговорила Ольга. — Это земля парует . . . Русская земля. Понимаешь?

Брянцев не ответил.

Возвращаясь в редакцию, он завернул на базар. Несмотря на поздний час — было уже около трех — вся площадь кишела народом. Со въезда, там, где в нее вливались две главные улицы, что-то строили. Брянцев рассмотрел два свежеструганных толстых столба, к которым стоящие на лесенках плотники прилаживали перекладину со ввинченными в нее большими железными кольцами. Сомнений в назначении этой конструкции быть не могло.

«Виселица!» — передернуло Брянцева. «Вот тебе и свобода, о которой твердит Ольгунка. Пар земли русской... Плотники-то русские ставят, немецкий унтер лишь распоряжается».

— Всеволод Сергеевич! — окликнули его сзади.

Отдельной группой, не смешиваясь с толпой, позади Брянцева стояли три студента. Двух из них он узнал — Броницина и Мишку. Лицо третьего ему лишь смутно припоминалось.

— Идите к нам, Всеволод Сергеевич, — звал Мишка, — разрешите наш спор. Вот Таска, — указал он на незнакомого студента, — протестует и возмущается этим сооружением, а Броницын говорит: так и надо.

— Надо! — горячо, почти раздраженно выкрикнул сам Броницын. — Надо! Слишком много всякой сволочи развелось. Нельзя иначе! Надо! Надо! Надо!

— Что же получается, — так же горячо возразил ему тот, кого Мишка назвал Таской, — то в подвал тащили и там шлепали, а теперь на базаре на перекладину вздергивать будут... Прежде вниз, а теперь вверх. В этом только и разница... В двух этажах.

— А вы, Миша, как думаете? — спросил Брянцев, вспомнив недоумовки Ольги: — Надо или не надо?

— Сам не могу этого решить, Всеволод Сергеевич, — почесал себе вихры Мишка, — и надо... Прав Гришка, много сволочи, и... обидно. То обидно, что эту хоть и сволочь, а все-таки нашу сволочь, чужие вешать будут. Если бы мы сами — тогда другое дело. Тогда — надо.

— Договорился, — развел руками Таска, — собственничную кандидатуру в шлепальчики и вешальчики, в общем и целом в палачи, выставил.

— Надо! Надо! — упрямо повторял, словно дятлом кору долбил, Броницын. — Сволочь уже теперь на верхи выскакивает, на всех руководящих должностях партийцы утверждаются. Наш Плотников, например, член бюро комсомола, самый твердокаменный во всем бюро, жидотделом теперь заворачивает. Проскочил. Сумел.

— И пусть, — забыв о Брянцеве, напустился на него Мишка. — Ты Плотникова не хуже меня знаешь. Кто он? Пламенный коммунист, по-твоему? Ничего подобного! Весь коммунизм его только на схеме и держится: раз предписано — значит надо выполнять. А исполнитель он дельный, выдержанный на партработе. Ты тоже это знаешь. Спустят ему новую схему — он и ее так же выполнять будет. Чердак у него, правда, пустоват, ну, для размещения по квартирам философских знаний не требуется. Увидишь: на своем месте он будет. Здесь нужен к каждому индивидуальный подход. Есть и полезная сволочь... То есть не совсем сволочь, не полностью, а так, вроде полусволочи или временно осволочившихся... — запутался Мишка в клубке своих мыслей.

— Опять хватанул! Наломал дров. Полезную сволочь какую-то нашел... Полусволочь... — вставил реплику Таска.

— Я только оформить не могу, а мне ясно, как надо поступать, — почти извинялся Мишка.

— Тебе ясно, так пойдй разъясни немцам, — злобно, как и прежде, огрызнулся Броницын. — Пусть классифицируют сволочь на полезную и бесполезную. Чудные они! Не то фантазеры, не то просто дураки. Делают определенную ставку на партийцев. Всюду! Во всех учреждениях их сажают.

— Дело, мне кажется, не в самом факте установки виселицы, — вступил теперь в спор и Брянцев, — а в том, кто на ней будет висеть.

— Пусть и невинные, случайные повиснут, — перебил его Броницын, — такие случайности неизбежны в ходе войны, но кого надо все-таки повесят. А надо, надо! — злобно и упорно повторил он, махая кулаком сверху вниз, словно вгоняя в землю какой-то кол. — Надо!

— Страсть-то какая! — причитала проходившая женщина. — На самом базаре вешалку ставят! На виду у всего народа.

— А по-твоему, втихую, в подвале шлепать лучше? — бросил ей в ответ Броницын.

— Конечно, это для людей спокойнее, когда не наглядно, — приостановилась баба. — А то на самом базаре, где едой торгуют. Какой может быть тогда аппетит?

— Вот вам еще и третья точка зрения, — улыбнулся Брянцев, — на этот раз полностью базирующаяся на желудке.

— Значит, самая правильная! Полностью марксистская! — хлопнул себя по животу Таска. — Вы, ребята, уже подожрали, а я нет еще... Направляюсь прямолинейно к Галке Смолиной; она теперь в немецком офицерском клубе подавальщицей, значит и мне на кухне кое-что перехватить найдется.

— Пристроился?

— Давлюсь, друг, а... ем...

— Это как прикажешь понимать? — иронически и несколько высокомерно усмехнулся Броницын. — В прямом смысле или в иносказательном?

— Можешь хоть в обоих. В прямом смысле — генеральский рацион по первому классу, а в иносказательном — разрешение проблемы ищи на своем собственном чердаке.

— Ты, видно, жук хороший! — покачал головой Броницын. — Ну, что ж, вали! Приятного аппетита тебе и в прямом и в переносном смысле.

(Окончание следует)

Дневники. Воспоминания. Документы.

Сергей Маковский

Н. С. Гумилев

С Гумилевым я познакомился в первых числах января 1909 года в Петербурге, на выставке «Салон»...

Эта выставка — «Живописи, графики, скульптуры и архитектуры», устроенная мною в музее и в меншиковских комнатах Первого кадетского корпуса, оказалась providенциальной для будущего «Аполлона». Я затеял ее просто оттого, что Дягилев перестал пестовать «Мир искусства» и кому-то надлежало «объединить» наиболее одаренных художников (после того, как по почину В. А. Верещагина и моему были объединены наши историки искусства журналом «Старые годы»).

Далось мне устройство «Салона» нелегко, но я был вознагражден успехом. На мое приглашение откликнулось около сорока художников (из разных обществ); было выставлено более шестисот произведений, — картин и рисунков по преимуществу: одного Рериха, которым я увлекался в то время, пятьдесят вещей, и между ними лучший его холст маслом — «Бой» (приобретен с выставки Третьяковской галереей); впервые выступили тогда прославившиеся впоследствии К. С. Петров-Водкин, В. В. Кандинский, Н. К. Чурлянис; большое впечатление произвели предсмертные этюды Врубеля и «Terror Antiquus» Бакста, самая значительная из его станковых композиций.

С этой символической картины-декорации Бакста, занявшей целую стену на выставке, началось увлечение передового Петербурга архаической Элладой; когда почти годом позже мне пришлось выбрать художника-графика для обложки «Аполлона», я обратился к Баксту, — весь первый год журнал выходил с его титульной виньеткой.

Так вот, несколько дней до вернисажа (еще продолжалась развеска картин) в «секретарскую» постучался неведомый мне до того молодой человек — Михаил Константинович Ушков; приехал он из Царского Села, чтобы предложить мне выставить принадлежавший ему мрамор С. Н. Судьбинина; сам скульптор, живший тогда в Париже, просил его об этом.

С Ушковым мы тут же подружились. Он оценил немалый труд мой по устройству этого грандиозного смотра художников-модернистов и предложил помощь для осуществления дальнейших моих замыслов (художественного журнала и издательства), ничего не требуя взамен... В этом человеке, добрейшем и скромнейшем, ни капли не было ни эгоизма, ни честолюбия; от него веяло каким-то абсолютным бескорыстием и порядочностью (через год я с трудом убедил его подписывать «Аполлон» в качестве соиздателя); моя дружба с Михаилом Константиновичем продолжалась и в эмиграции до самой его смерти.

На вернисаже «Салона» судьба свела меня и с другим царскоселом, Николаем Степановичем Гумилевым. Кто-то из писателей отрекомендовал его как автора «Романтических цветов». Юноша был тонок, строен, в элегантном университетском сюртуке с очень высоким, модным тогда, темносиним воротником и причесан на пробор тщательно, но лицо его благообразием не отличалось: бесформенно-мягкий нос, толстоватые бледные губы и немного косящий взгляд (белые точеные руки и красивые голубые глаза я заметил не сразу). Портил его и недостаток речи: Николай Степанович плохо произносил некоторые буквы, как-то особенно заметно шепелявил, вместо «вчера» выходило у него «вчерла».

В следующий раз он принес мне свой сборник (а я дал ему в обмен только что вышедший томик моих «Страниц художественной критики»). Стихотворения показались мне довольно слабыми даже для ранней книжки. Однако, за исключением одного — «Баллады»: оно поразило меня трагическим тоном, вовсе не вязавшимся с тем впечатлением, какое оставлял автор сборника, этот белобрысый самоуверенно подтянутый юноша (ему было 22 года). К «Балладе» из «Романтических цветов» я еще вернусь, ее четырехстопные анапесты удивительно перекликаются с тем, что было написано Гумилевым в самом конце жизни.

Юный поэт-царскосел восторженно говорил об Иннокентии Анненском (незадолго перед тем вышли «Тихие песни» Анненского, но я даже не подозревал тогда, что псевдоним Ни-кто принадлежит известному переводчику Эврипида, недавнему директору Царскосельской гимназии!). Гумилев бывал у него часто, помнил наизусть строфы из «трилистников» «Кипарисового ларца», с особой почтительностью отзывался о всеискушенности немолодого уже, но любившего юношески пламенно новую поэзию лирика-эллиниста Анненского, и предложил повезти меня к нему в Царское Село.

Мое знакомство с Анненским, необыкновенное его обаяние и сочувствие моим журнальным замыслам (в связи с обещанной М. К. Ушковым помощью) решили вопрос об издании «Аполлона». К проекту журнала Гумилев отнесся со свойственным ему пылом. Мы стали встречаться все чаще, с ним и его друзьями — Михаилом Алексеевичем Кузминым, Алексеем Толстым, Ауслендером. Так образовался кружок, прозванный впоследствии секретарем журнала Е. А. Зноско-Боровским — «Молодая редакция». Гумилев горячо взялся за отбор материалов для первых выпусков «Аполлона», с полным бескорыстием и с примерной сговорчивостью. Мне он сразу понравился тою серьезностью, с какой относился к стихам, вообще к литературе, хотя и казался подчас чересчур мелочливо-принципиальным судьей. Зато никогда не изменял он своей принципиальности из личных соображений или «по дружбе», был критиком на редкость честным и независимым.

Понравилось мне и то, что не принадлежал он, в сущности, ни к какому литературному толку. Его корёжило от реалистов-бытовиков, наводнявших толстые журналы, но он считал необходимым бороться и с десятилетним «символическим пленением» русской поэзии, как он говорил. Об «акмеизме» еще не было речи, но, несмотря на увлечение Брюсовым, Анненским, Сологубом и прославленными французскими символистами (Бодлером, Ренье, Верленом, Рембо), Гумилева тянуло прочь от мистических туманов модернизма.

Мне самому новый ежемесячник, посвященный главным образом искусствам изобразительным и критике (на второй год пришлось пожертвовать всей беллетристической прозой), представлялся меньше всего примыкающим к одному из тогдашних передовых литературных «течений», будь то декадентство московских «Весов» с Брюсовым у кормила, или богоискательство и мифотворчество петербургских новаторов (с Блоком, Вячеславом Ивановым, Мережковским и,

Г. Чулковым). Гумилев верил в свою миссию реформатора, в нем ощущались не только талант, но свежесть какой-то своей поэтической правды.

Стихи были всей его жизнью. Никогда не встречал я поэта до такой степени «стихомана». «Впечатления бытия» он ощущал постольку, поскольку они воплощались в метрические строки. Над этими строками, заботясь о новизне рифмы и неожиданной яркости эпитета, он привык работать упорно с отроческих лет. В связи отчасти с этим стихотворным фанатизмом — известная ограниченность его мышления, прямолинейная подчас наивность суждений. Чеканные, красочно-звучные слова были для него духовным мерилom. При этом — неистовое самолюбие! Он никогда не пояснял своих мыслей, а «изрекал» их и спорил как будто для того лишь, чтобы озадачить собеседника. Вообще было много детски-заносчивого, много какого-то мальчишеского озорства в его словесных «дерзаниях» (в критической прозе, в статьях это проявлялось куда меньше, несмотря на капризную остроту его литературных заметок).

Все это вызывало несколько ироническое отношение к Гумилеву со стороны его товарищей по перу. Многие попросту считали его «неумным».

Особенно протестовал Вячеслав Иванов, авторитет для аполлоновцев непрекаемый. Сколько раз корил он меня за слабость к Николаю Степановичу! Удивлялся, как мог я поручить ему «Письма о русской поэзии», иначе говоря — дать возможность вести в журнале «свою линию». «Ведь он глуп, — говорил Вячеслав Иванов, — да и плохо образован, даже университета окончить не мог, языков не знает, мало начитан»... *)

В этом несомненно была правда... Гумилев любил книгу, и мысли его большей частью были книжные, но точными знаниями не обладал он ни в какой области, а язык знал только один — русский, да и то с запинкой (писал не без орфографических ошибок, не умел расставлять знаков препинания, приносил стихи и говорил: «А запятые расставьте сами!»). По-французски кое-как понимал, но в своих переводах французов (напр., Теофиля Готье) поражал иногда невероятными ляпсусами. Помню, принес он как-то один из своих переводов Готье; предпоследнюю строку в стихотворении «*La mansarde*» (где сказано о старухе у окна — «*devant Minet, qu'elle chapitre*») он перевел: «Читала из Четьи-Минеи»... Так и было опубликовано, за что переводчика жестоко высмеял Андрей Левинсон в «Речи».

Тем не менее я Гумилеву верил; что-то в нем меня убеждало, и я отстаивал его во всех случаях, даже тогда, когда сам он, всё решительнее возглашая акмеизм против символизма, захотел ничем неограниченной самостоятельности, завел «Цех поэтов» и стал выпускать тонкими тетрадями свой собственный журнальчик «Гиперборей»**). «Письма о русской поэзии» тем не менее он продолжал писать, даже (когда мог) в годы войны, на которую с примерным мужеством пошел добровольцем (один из всех сотрудников «Аполлона»). Жест был от чистого сердца, хотя доля поэты, конечно, чувствовалась и тут. Позерство, желание удивить, играть роль — были его второй натурой...

Вот почему мне кажется неверным сложившееся мнение о его поэзии, да и о

*) С годами Вячеслав Иванов изменил свое мнение. Мне было приятно много позже (в 1935 г.) в его предисловии к сборнику стихов Ильи Голенищева-Кутузова (изд. «Парабола»), прочесть о Гумилеве — «наша погибшая великая надежда».

**) В котором появилась его короткая и, на мой взгляд, удачнейшая из драм в стихах — «Актеон» (заняла весь номер «Гиперборей»).

нем самом (разве личность и творчество поэта не неразделимы?). Сложилось оно не на основании того, чем он был, а чем быть хотел. О поэте надо судить по его глубине, по самой внутренней его сути, а не по его литературной позе.

Внимательно перечитав Гумилева и вспоминая о нашем восьмилетнем дружном сотрудничестве, я еще раз убедился, что настоящий Гумилев — вовсе не конквистадор, дерзкий завоеватель Божьего мира, певец земной красоты, т. е. не тот, кому поверило большинство читателей, особенно после того, как он был зверски убит большевиками. Этим героическим его образом и до «Октября» заслонялся Гумилев-лирик, мечтатель, по сущности своей романтически-скорбный (несмотря на словесные бубны и кимвалы), всю жизнь не принимавший жизнь такой, какая она есть, убегавший от нее в прошлое, в великолепие дальних веков, в пустынную Африку, в волшебство рыцарских времен и в мечты о Востоке «Тысячи и одной ночи».

Наперекор унылому пессимизму большинства русских поэтов (об этом пиитическом унынии говорил еще Пушкин), Гумилев хотел видеть себя «рыцарем счастья». Так и озаглавлено одно из предсмертных его стихотворений (в «Неизданном Гумилеве» Чеховского издательства):

Как в этом мире дышится легко!
Скажите мне, кто жизнью недоволен,
Скажите, кто вздыхает глубоко,
Я каждого счастливым сделать волен.

.

Пусть он придет! Я должен рассказать,
Я должен рассказать опять и снова,
Как сладко жить, как сладко побеждать
Моря и девушек, врагов и слово.

А если всё-таки он не поймет,
Мою прекрасную не примет веру
И будет жаловаться в свой черед
На мировую скорбь, на боль — к барьеру!

Таким счастливым «бретером» и увидело его большинство критиков. Недавно попалась мне на глаза написанная перед самой революцией статья весьма осведомленного В. М. Жирмунского о поэтах, «преодолевших символизм»^{*)}. Вот как он характеризует гиперборейца Гумилева: «Уже в ранних стихах поэта можно увидеть черты, которые сделали его вождем и теоретиком нового направления. От других представителей поэзии «Гиперборея» Гумилева отличают его активная, откровенная и простая мужественность, его напряженная душевная энергия, его темперамент». «Его стихи бедны эмоциональным и музыкальным содержанием, он редко говорит о переживаниях интимных и личных: как большинство поэтов «Гиперборея», он избегает лирики любви и лирики природы, слишком индивидуальных признаний и слишком тяжелого самоуглубления. Для выражения своего настроения объективный мир зрительных образов, напряженных и ярких, он вводит в свои стихи повествовательный элемент и придает им характер полуэпический — «балладную» форму. Искание образов и форм, по

^{*)} «Русская мысль». 1916 кн. XII.

своей силе и яркости соответствующих его мироощущению, влечет Гумилева к изображению экзотических стран, где в красочных и пестрых видениях его находит зрительное, объективное воплощение своей грезы. Муза Гумилева — это «Муза дальних странствий»:

Я сегодня опять услышал
Как тяжелый якорь ползет,
И я видел, как в море вышел

Пятипалубный пароход.
Оттого и солнце дышит,
А земля говорит, поет...

«Но действительно до конца, продолжает Жирмунский, муза Гумилева нашла себя в «военных» стихах. Эти стрелы в «Колчане» — самые острые. Здесь прямая, простая и напряженная мужественность поэта создала себе самое достойное и подходящее выражение. Война, как серьезное, строгое и святое дело, в котором вся сила отдельной души, вся ценность напряженной человеческой воли открывается перед лицом смерти. Глубоко религиозное чувство сопутствует поэту при исполнении воинского долга:

И воистину светло и свято
Дело величавое войны,
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны...

Четвертью века позже Гумилева окончательно героизировал Вячеслав Завалишин, написавший вступление к собранию его стихотворений, изданных (надо сказать, весьма небрежно) в Регенсбурге. Он замечает: «Николай Гумилев вошел в историю русской литературы как знаменосец героической поэзии:

Я конкистадор в панцире железном,
Я весело преследую звезду,
Я прохожу по пропастям и безднам
И отдыхаю в радостном саду...

Эта характеристика верна, но только если поверить поэту на слово, если не вдуматься в скрытый смысл его строф (может быть, до конца и не осознанный им самим). Многие из них хоть и звучат, на первый слух, как мажорные фанфары, но когда внимательнее их перечтешь, сокровенный смысл их кажется безнадежно печальным.

Таковы, в особенности, наиболее зрелые стихи Гумилева, которых не знал Жирмунский, когда писал свою статью о «преодолевших символизм»: стихи сборников — «К синей звезде» и «Огненный столп». Тут никак уж не скажешь, что Гумилев «избегает лирики любви», «слишком индивидуальных признаний и слишком тяжелого самоуглубления». В этих стихах он предстает нам не как конкистадор и Дон-Жуан, а как поэт, замученный своей любовью-музой. Можно сказать, что в последние годы Гумилев только и писал о неутоленной и неутолимой любви: почти все стихотворения приводят к одному и тому же «духовному тупику» — к страшной тайне сердца, к призраку девственной прелести, которому в этом мире воплотиться не суждено. Пусть темпераментный поэт про-

должает «рваться в бой» с жизнью и смертью, — он раз навсегда и неизлечимо ранен.

Стихи «К синей звезде» отчасти биографичны. Поэт рассказывает свою несчастливую любовь в Париже 1917 года, когда он, отвоював на русском фронте, гусарским корнетом был командирован на салоникский фронт и попал в Париж (в распоряжение генерала Занкевича). Тут и приключилась с ним любовь, явившаяся косвенно причиной его смерти (Гумилев не вернулся бы, вероятно, в Россию весной 1918 года, если бы девушка, которой он сделал предложение в Париже, ответила ему согласием).

Целую книжку стихов посвятил он этой «любви несчастной Гумилева в год четвертый мировой войны». «Синей звездой» зовет он её, «девушку с огромными глазами, девушку с искусными речами», Елену, жившую в Париже, в тупике «близ улицы Дека», «милую девочку», с которой ему «нестерпимо больно». Он признается в страсти «без меры», в страсти, пропевшей «песней лебединой», что «печальней смерти и пьяней вина»; он называет себя «рабом истомленным» перед её «мучительной, чудесной, неотвратимой красотой». И не о земном блаженстве грезит он, воспевая ту, которая стала его «безумием» или «дивной мудростью», а о преображенном, вечном союзе, соединяющим и землю, и ад, и Божьи небеса:

Если ты могла явиться мне
Молнией слепительной Господней,
И отныне я горю в огне,
Вставшем до небес из преисподней...

Не отсюда ли впоследствии название сборника — «Огненный столп», где лирика любви приобретает некий эзотерический смысл?

Но все-таки не будем преувеличивать значения «несчастной» парижской страсти Гумилева. Стихи к «Синей звезде» несомненно искренни и отражают подлинную муку. Однако они остаются «стихами поэта», и неосторожно было бы их приравнивать к трагической исповеди. Гумилев был влюбчив до крайности. К тому же привык «побеждать»... Любовная неудача больно ущемила его самолюбие. Как поэт, как литератор прежде всего, он не мог не воспользоваться этим горьким опытом, чтобы подстегнуть вдохновение и выразить в гиперболических признаниях не только свое горе, но горе всех любивших неразделенной любовью.

С художественной точки зрения эти стихотворения не всегда безупречны; неудавшихся строк много. Но в каждом есть строки, которые останутся в русской лирике, — их находишь как драгоценные жемчужины в глуби морских раковин.

Нежность и безысходная грусть, с легкой усмешкой по своему адресу, переходящая то и дело в трагическое вещание... Но трагизм этой любви — не в ней самой, а в том, что она неразлучна с мыслью о смерти. К смерти возвращается поэт со зловещим постоянством. Каждый день его — «как мертвец спокойный»; он искупает «вольной смертью» свое «слепительное дерзновение»; он скорбит «смертной скорбью»; он принимает одно «не споря»: «тихий, тихий, золотой покой, да двенадцать тысяч футов моря» над своей «пробитой головой»; он добавляет в другом стихотворении:

И не узнаешь никогда ты,
Чтоб в сердце не вошла тревога,
В какой болотине проклятой
Моя окончилась дорога.

И врывается в эту тему страшной смерти (невольно мерещится: предчувствие!) другая тема — тема возникающей вдруг, сияющей, райски-прекрасной, но раненой птицы:

И умер я . . . и видел пламя
Невидимое никогда,
Пред ослепленными глазами
Светилась синяя звезда.

И вдруг из глубы осиянной
Возник обратно мир земной,
Ты птицей раненой неожиданно
Затрепетала предо мной.

Эта райская раненая птица «как пламя» — не только случайная метафора. В лирике Гумилева она займет центральное место, вскрывая духовную глубину его; она засветится сквозь всё его творчество и придаст, в конце концов, мистический смысл его поэзии, на первый взгляд такой внешне-выпуклой, красочно-описательной, подчас и мишурно-блещущей.

Все ли почитатели Гумилева прочли внимательно одно из последних его стихотворений (вошло в «Огненный столп»), названное поэтом «Дева-птица»? Нет сомнения: это всё та же райская птица, что среди строф к «Синей звезде» появилась «из глубины осиянной». Но тут родина ее названа определеннее — доли баснословной Броселианы (т. е. баснословной страны из «Романов круглого стола», точнее — Броселианды), где волшебствовал Мерлин, сын лесной непорочной девы и самого дьявола*).

Чтобы отнестись так или иначе к моему пониманию Гумилева-лирика, необходимо задуматься именно над этими стихами. Сам я прочел их как следует лишь в последние годы, долго после того, как они проникли в эмиграцию (вместе с приблизительно тогда же написанным и сразу прославленным «Заблудившимся трамваем»).

Напомню их:

Пастух веселый
Поутру рано
Вывел коров в тенистые доли
Броселианы.

Паслись коровы,
И песню своих веселий
На тростниковой
Играл он свирели.

И вдруг за ветвями
Послышался голос, как будто не птичий,
Он видит птицу, как пламя,
С головкой милой, девичьей.

*) Недаром перед возвращением в Россию Гумилев усердно занялся французскими народными песнями. Они были изданы берлинским «Петрополисом» в 1923 году.

Прерывно пенье,
Так плачет во сне младенец,
В черных глазах томленье,
Как у восточных пленниц.

Пастух дивится
И смотрит зорко:
Такая красивая птица,
А стонет так горько.

Её ответу
Он внемлет, смущенный:
— Мне подобных нету
На земле зеленой,

— Хоть мальчик-птица,
Исполненный дивных желаний,
И должен родиться
В Броселиане.

— Но злая
Судьба нам не даст наслажденья,
Подумай, пастух, должна я
Умереть до его рожденья.

— И вот мне не любы
Ни солнце, ни месяц высокий,
Никому не нужны мои губы
И бледные щёки.

— Но всего мне жальче,
Хоть и всего дороже,
Что Птица-мальчик
Будет печальным тоже.

— Он станет порхать по лугу,
Садиться на вязы эти
И звать подругу,
Которой уж нет на свете.

— Пастух, ты, наверно, грубый.
Ну, что ж, я терпеть умею,
Подойди, поцелуй мои губы
И хрупкую шею.

— Ты сам захочешь жениться,
У тебя будут дети,
И память о Деве-птице
Долетит до поздних столетий.

Пастух вдыхает запах
Кожи, солнцем нагретой,
Слышит, на птичьих лапах
Звонят золотые браслеты.

Вот уж он в иступленьи,
Что делает, сам не знает,
Загорелые его колени
Красные перья попирают.

Только раз застонала птица,
Раз один застонала,
И в груди ее сердце биться
Вдруг перестало.

Она не воскреснет,
Глаза помутнели,
И грустные песни
Над нею играет пастух на свирели.

С вечерней прохладой
Встают седые туманы,
И гонит он стадо
Из Броселианы.

Стихотворение это неожиданно-сложно... К кому оно обращено? Кто эта птица «как пламя», плачущая в ветвях и отдающаяся заметившему ее случайно пастуху? Почему именно к нему обратилась птица, чтобы умереть от его поцелуя? И о какой «птице-мальчике» печалится она, предсказывая свою смерть «до его рождения»? Почему наконец ей, птице «с головкой милой, девичьей», всего жальче, хоть и всего дороже, что он, птица-мальчик, «будет печальным тоже»?

Очень сложно построена эта запутанная криптограмма в романтично-мистическом стиле... Но в конце концов дешифровка вероятна, если хорошо знать Гумилева и сердцем почувствовать его как лирика-романтика, всю жизнь влюбленного в свою Музу и ждавшего чуда — всеразрешающей женской любви. Дева-птица и есть таинственная его вдохновительница, его духовная мать, и одновременно — та девушка, к которой он рвется душой. «Пастух» и «птица-мальчик» — сам он, не узнающий своей Музы, потому что встретил её, еще «не родившись» как вещий поэт, а только беспечно поющий «песню своих веселий». В долах Броселианы лишь безотчетно подпадает он под её чары и «что делает — сам не знает», убивая её поцелуем. Но убитая им птица позовет его из другого, преображенного мира, и тогда станет он «звать подругу, которой уж нет на свете».

Не похожа эта муза Гумилева, соблазняющая и соблазненная райская птица, на «Музу дальних странствий», которая уводила его в неведомые земли и забытые века. А между тем это и есть гумилевская настоящая Муза; его «поэтическое нутро» ни в чем так не сказалось, как в этих стихах о любви, приближающей сердце к вечности. Так было с первых «проб пера», с юношеских его песен, хотя и стал он сразу в оппозицию к символизму, к «Прекрасной даме» Блока, к Волошинской «Царевне Таиах» и к «Царице-Сивилле» Вячеслава Иванова. В сущности, потусторонний эрос у них — общий. Но Гумилев был слишком горделиво-самолюбив, чтобы не грести «против течения», к тому же в то время и помимо него

намечался путь от символизма к нео-классике: в поэзии Зинаиды Гиппиус, Сологуба, Кузмина отчасти, и того же Блока; акмеизм расцвел на вспаханной почве.

Было, конечно, много напускного в его повелительной мужественности, в героической патетике «Жемчугов» и «Шатра», в его отрицании метафизических глубин и «туманной мглы германских лесов». Гумилевская Дева-птица родилась всё-таки в мифической Броселиане... Были для него лишь известного рода самозащитой гимны телесной мощи, бесстрашной борьбы с людьми и стихиями и радостной отваге. На самом деле, физически слабый и предчувствовавший раннюю смерть поэт, с отрочества падкий на волшебства Денницы, но с совестью религиозной, оглядывающейся на Христа, поэт с упорной волей, но жалостливый и нежный, как Мерлин из Броселианы, — мечтал об одном, о вечном союзе со своей Вивианой...

Напомню еще раз одно из самых молодых его стихотворений — «Балладу» (сборник «Романтические цветы»). Оно помещено первым после вводного сонета с заключительными строками:

Пусть смерть приходит, я зову любую!
Я с нею буду биться до конца.
И, может быть, рукою мертвеца
Я лилию добуду голубую.

Гумилеву было всего лет двадцать, когда он сочинил эту «Балладу», похожую романтическим подъемом на его предсмертную «Деву-птицу». Да и вся «декорация» стихотворения разве не из той же сказки?

Пять коней подарил мне мой друг Люцифер
И одно золотое с рубином кольцо,
Чтобы мог я спускаться в глубины пещер
И увидел небес молодое лицо.

.

Там на высях сознания — безумье и снег,
Но коней я ударил свистящим бичем,
И на выси сознания направил их бег
И увидел там деву с печальным лицом.

.

И, смеясь надо мной, презирая меня,
Люцифер распахнул мне ворота во тьму,
Люцифер подарил мне шестого коня —
И Отчаянье было название ему.

Не буду перечислять других стихотворений, где упорно повторяется тот же образ, тот же символ из «святая-святых» встревоженной души поэта, те же зовы к любви недостижимой, те же предчувствия безвременной смерти, та же печаль, переходящая в Отчаяние (это слово он пишет с прописной буквы), печаль броселианского «грубого» пастуха, убившего своим поцелуем Деву-птицу, за что «злая судьба» не даст ему наслаждения, а «шестой конь», подаренный Люцифером, унесет во тьму, в смерть...

Через все его книги проходит мысль о смерти, о «страшной» смерти. Это — навязчивый его призрак. Недаром в первом же вступительном стихотворении «Жемчугов», сравнивая свою поэзию с волшебной скрипкой, он кончает строками:

На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ,
И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача.

Продолжим перелистывание «Жемчугов»... В «Поединке» выделяются такие строфы:

Я пал... и молнии победней
Сверкнул и в тело впился нож...
Тебе восторг — мой стон последний,
Моя прерывистая дрожь.

.

И над равниной дымно-белой,
Мерцая шлемом золотым,
Найдешь мой труп окоченелый
И снова склонись над ним.

Стихотворение «В пустыне» начинается с той же гибели:

Давно вода в мехах иссякла,
Но как собака я умру...

Мечтая о прошлых столетиях, видит он какого-то старого «товарища», «древнего ловчего», утонувшего когда-то, и кончает стихотворение обращением к нему:

Скоро увижусь с тобою, как прежде,
В полях неведомой страны.

Эту страну в другом стихотворении («В пути») он окрестит «областью уныния и слез» и «оголенным утесом». Тут же стихотворение, посвященное «светлой памяти Ин.Ф. Анненского», «Семирамида», он заключает признанием более, чем безотрадным:

И в сумеречном ужасе от лунного взгляда,
От цепких лунных сетей,
Мне хочется броситься из этого сада
С высоты семисот локтей.

Поэт поистине вправе, с полной искренностью, утверждать:

В мой мозг, в мой гордый мозг собрались думы,
Как воры ночью в тихий мрак предместий...

и в заключение:

И думы, воры в тишине предместий,
Как нищего во мгле, меня задушат.

Единственным утешением от этих злых дум было для Гумилева искусство, поэзия, а родоначальником ее представлялся ему дух печально-строгий, учитель красоты (как Лермонтову и французским «проклятым поэтам»), принявший имя

утренней звезды. Отсюда такое языческое его восприятие жизни «по ту сторону добра и зла». Недаром, как Адам, что «тонет душою в распутстве и неге», но «клонит колена и грезит о Боге», молясь «Смерти, богине усталых», он хочет быть как боги, которым «все позволено», хоть и задумывается подчас о христианском завете; напомним заключительное шестистишие сонета «Потомки Каина» (из «Жемчугов»):

Но почему мы клонимся без сил,
 Нам кажется, что кто-то нас забыл,
 Нам ясен ужас древнего соблазна,

Когда случайно чья-нибудь рука
 Две жердочки, две травки, два древка
 Соединит на миг крестообразно?

Эти строки относятся к году нашего знакомства (1909). Тогда писал он с воодушевлением своих талантливых, но несколько трескучих «Капитанов» и готовился, по примеру Рембо, к поездке в Абиссинию. Тогда он еще не был женат на Анне Андреевне Горенко (ставшей Ахматовой), но знал ее уж давно. После более трех лет колебаний наконец женился. Свадьба состоялась в 1910 году. Я встретился с молодыми тогда же в Париже. Затем мы вместе возвращались в Петербург.

В железнодорожном вагоне, под укачивающий стук колес, легче всего разговаривать «по душе». Анна Андреевна, хорошо помню, меня сразу заинтересовала и не только в качестве законной жены Гумилева, повесы из повес, у которого на моих глазах столько завязывалось и развязывалось романов «без последствий», но весь облик тогдашней Ахматовой, высокой, худенькой, тихой, очень бледной с печальной складкой рта, вызывал не то растроганное любопытство, не то жалость. По тому, как разговаривал с ней Гумилев, чувствовалось, что он ее полюбил серьезно и гордится ею. Не раз и до того он рассказывал мне о своем жениховстве. Говорил и впоследствии об этой своей единственной настоящей любви...

Что она была единственной — в этом я и теперь убежден, хотя за десять последующих лет столько «возлюбленных» оказалось на пути Гумилева; его переходящим увлечениям и счета нет!

Поэтому никогда не верил я в серьезность его парижской неудачливой страсти к «Елене» из «Синей звезды», хотя посвящено ей двадцать пять стихотворений (и много внушено ею же в последней его драме «Окровавленная туника»).

Ахматовой (насколько память мне не изменяет) он посвятил открыто всего одно стихотворение, зато сколько стихотворений куда более выразительных сочинил, не называя ее, но явно относящихся к ней и к ней одной. Перечитывая эти стихи, можно восстановить драму, разлучившую их так скоро после брака, и те противоречивые чувства, какими Гумилев не переставал мучить и ее и себя; в стихах он рассказывал свою борьбу с ней и несравненное ее очарование, каясь в своей вине перед нею, в вине безумного Наля, проигравшего в кости Дамаянти:

Сказала ты, задумчивая, строго:
 — «Я верила, любила слишком много,
 А уйду, не веря, не любя,
 И пред лицом Всевидящего Бога,
 Быть может, самое себя губя,
 Навек я отрекаюсь от тебя».

Твоих волос не смел поцеловать я,
 Ни даже сжать холодных, тонких рук.
 Я сам себе был гадок, как паук,
 Меня пугал и мучил каждый звук.
 И ты ушла, в простом и темном платье,
 Похожая на древнее распятие.

Я не хочу слишком уточнять перепитий семейной драмы Гумилевых. К тому же каждому, знающему стихи, какими начинается «Чужое небо» и каких много в сборниках Ахматовой — «Вечер» и «Четки», не трудно восстановить эту драму и судить о том, насколько в этих стихах все автобиографично. Но, несмотря на «камуфляж» некоторых строк, стихи говорят сами за себя. Напомню только о Гумилевском портрете «Она», который он мог написать, конечно, лишь с Ахматовой:

Я знаю женщину: молчание,
 Усталость горькая от слов,
 Живет в таинственном мерцании
 Ее расширенных зрачков.

Неслышный и неторопливый,
 Так странно плавлен шаг ее,
 Назвать ее нельзя красивой,
 Но в ней все счастье мое.

И конец:

Она светла в часы томлений
 И держит молнии в руке,
 И четки сны ее, как тени
 На райском огненном песке.

Этот портрет дополняется другим, насмешливо-заостренным, рисуя не идеализированную, а бытовую Ахматову, выдает уже наметившуюся трещину в их любви. Напомню лишь первую и последнюю строфы:

Из логова змиева,
 Из города Киева,
 Я взял не жену, а колдунью,
 А думал забавницу,
 Гадал — своенравницу.
 Веселую птицу-певунью.

.

Молчит — только ежится
 И все ей неможется,
 Мне жалко ее, виноватую,
 Как птицу подбитую,
 Березу подрывтую,
 Над участью, Богом закланною.

Эти стихи (вошедшие в сборник «Чужое небо») написаны вскоре после возвращения Гумилева из африканского путешествия. Помню, он был преисполнен впечатлениями от Сахары и субтропического леса и с мальчишеской гордостью

показывал свои «трофеи» — вывезенные из «колдовской» страны Абиссинии слоновые клыки, пятнистые шкуры гепардов и картины-иконы на кустарных тканях, напоминающие романские примитивы. Только и говорил об опасных охотах, о чернокожих колдунах и о созвездиях южного неба — там, в Африке, доисторической родине человечества, что висит «исполинской грушей» «на дереве древнем Евразии», где

... Солнце на глади воздушных зеркал
Пишет кистью лучистой миражи...

Но житейской действительности никакими миражами не заменить, когда «дома» молодая жена тоскует в одиночестве, да еще такая «особенная», как Ахматова... Нелегко поэту примирять поэтическое «своеволие», жажду новых и новых впечатлений, с семейной оседлостью и с любовью, которая тоже, по-видимому, была нужна ему, как воздух... С этой задачей Гумилев не справился, он переоценил свои силы и недооценил женщины, умевшей прощать, но не менее гордой и своевольной, чем он.

Отстаивая свою «свободу», он на целый день уезжал из Царского, где-то пропадал до поздней ночи и даже не утаивал своих «побед»... Ахматова страдала глубоко. В ее стихах тогда написанных, но появившихся в печати несколько позже (вошли в сборники «Вечер» и «Четки») звучит и боль ее от заброшенности, и ревнивое томление по мужу:

... Знаю: гадая, не мне обрывать
Нежный цветок маргаритку,
Должен на этой земле испытать
Каждый любовную пытку.
Жгу до зари на окошке свечу
И не о ком не тоскую,
Но не хочу, не хочу, не хочу
Знать, как целуют другую.

Анна Андреевна неизменно любила мужа, а он? Любил, насколько мог... Но занятый собою, своими стихами и успехами, заперев в клетку ее, пленную птицу, он свысока утверждал свое мужское превосходство, следуя Ницше, сказавшему (в «Заратустре», кажется): «Мужчина — воин, а женщина для отдохновения воина»... Подчас муж-воин проявлял и жестокость, в которой потом каялся.

А она жаловалась:

... Рассветает. И над кузницей
Подымается дымок.
А со мной, печальной узницей,
Ты опять побыть не мог.

Для тебя я долю хмурю,
Долю-муку приняла.
Или любишь белокурую,
Или рыжая мила?

Как мне скрыть вас, стоны звонкие!
В сердце темный, душный хмель.
А лучи ложатся тонкие
На несмятую постель.

Но, повторяю, она прощала. Ее любовь побеждала страдание, — разве муж не друг навеки, посланный Богом? И в нескольких словах, с такой характеризующей ее проникновенной простотой, она рассказывает и о неверности мужа, и о своей всепрощающей нежности:

У меня есть улыбка одна.
Так. Движение чуть видное губ.
Для тебя я ее берегу —
Ведь она мне любовью дана.

Все равно, что ты наглый и злой,
Все равно, что ты любишь других.
Предо мной золотой аналой
И со мной сероглазый жених.

Но всему приходит конец, даже любовному долготерпению. Случилось то, что должно было случиться. После одного из своих «возвращений» убедился ли он в том, что она встретила «того, другого», которого он называет преступным за то, что он вечность променял на час —

Принявши дерзко за оковы
Мечты, связующие нас.

Или это одна «литература», а все кокетства Ахматовой и даже умственные увлечения ничем серьезным не кончались, и не было вовсе «того другого»?

Как бы то ни было, но уже задолго до войны, Гумилев почувствовал, что теряет жену, почувствовал с раскаянной тоской и пил «с улыбкой» отравленную чашу, приняв ее из рук любимых, как заслуженную кару, и ощущая «смертельный хмель», обещал покорность и соглашался на ее счастье с другим:

Знай, я больше не буду жестоким,
Будь счастливой, с кем хочешь, хоть с ним.
Я уеду далеким, далеким
Я не буду печальным и злым.

Теперь, стоя у догорающего камина и говоря ей о своих страннических подвигах, он отдается одной печали:

Древний я отрыл храм из-под песка,
Именем моим названа река,

И в стране озер, семь больших племен
Слушались меня, чтили мой закон.

Но теперь я слаб, как во власти сна,
И больна душа, тягостно больна.

Я узнал, узнал, что такое страх,
Заклученный здесь в четырех стенах;

Даже блеск ружья, даже плеск волны
Эту цепь порвать ныне не вольны.

И тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.

Развивалась эта драма любви на моих глазах. Женившись, я поселился тоже в Царском Селе: в отсутствие Гумилева навещал Ахматову, всегда какую-то загадочно-печальную и вызывавшую к себе нежное сочувствие. Как-то Гумилев был в отъезде, зашла она к моей жене, читала стихи. Она еще нигде не печаталась в журналах, Гумилев «не позволяя». Прослушав некоторые из ее стихотворений, я тотчас предложил поместить их в «Аполлоне». Она колебалась: что скажет Николай Степанович, когда вернется? Он был решительно против ее писательства. Но я настаивал: «Хорошо, беру на себя всю ответственность. Разрешаю вам говорить, что эти строфы я попросту выкрал из вашего альбома и напечатал самовластно».

Так и условились... Стихи Ахматовой, как появились в журнале, вызвали столько похвал, что Гумилеву, вернувшемуся из «дальних странствий», оставалось примириться с *fait accompli*. Позже он, первый, восхищался талантом жены и хотя всегда относился ревниво к ее успеху, считал ее лучшей своей ученицей-акмеисткой.

Но тут акмеизм — отмечу в двух словах — пожалуй и ни при чем. Дарование Ахматовой (очень большое), созревшее в тишине и безвестности (она писала рифмованные строки с малых лет), в гумилевской выучке не нуждалось. Вкус у нее куда безусловней его вкуса, поэтический слух, не говоря об уме, гораздо тоньше. Ее строки всегда поют, и в них глубоко-пережитого чувства всегда больше, чем внешнего блеска.

Родившегося зимой 1912 года у Анны Андреевны сына, которого крестили Львом, вынянчила мать Гумилева, Анна Ивановна (в «Слепневе», родовом имении Тверской губернии, унаследованном ею и старшей сестрой Варварой от брата Льва Ивановича Львова, адмирала в отставке.)*)

Ахматова в стихах называла себя «дурной матерью», но всюю своей последующей жизнью она показала, что это неправда. Она любила сына самоотверженно, скорее Гумилев мог считать себя «дурным отцом», хотя еще в 1918 году, в Лондоне, покупал Левушке игрушки, но это ему не помешало сейчас же по возвращении в Россию развестись с Анной Андреевной и жениться на Анне Николаевне Энгельградт, молодой, хорошенькой, но умственно незначительной девушке, у которой вскоре родилась дочь.

С тех пор еще более звучат в его стихах, когда вдуматься в тайный их смысл, все та же обида и тот же зов к ней, развенчанной любви, и стремление преодолеть ее всепримиряющей правдой иного мира. С этой мыслью написаны последние стихотворения «Костра» (может быть, лучшие из всех «Юг», «О тебе», «Эзбеки»).

Муку ранней любви выдают не только лирические стихи Гумилева, но и его проза, и написанные стихами драмы. Одной и той же темой сквозят анапесты Гондлы и ямбы «Окровавленной туники», и рассказы из сборника «Тень от пальмы»**) (первые три новеллы посвящены Ахматовой, тогда еще Анне Ан-

*) Анна Ивановна Львова вышла замуж за военного врача Гумилева. Его фамилия произносилась первоначально с ударением на первом слоге Гумилев (от *humilis*, отец был священником). Николай Степанович не мог терпеть, когда его в гимназии вызывали с этим ударением и не вставал с места.

**) Посмертное издание Центральн. Кооперативн. Изд-ства «Мысль». Петроград. 1922 г.

древне Горенцо): «Принцесса Зара», «Черный Дик», «Лесной дьявол», «Скрипка Страдивариуса» и др. Везде — та же роковая антиномия: свет и тьма, любовь возвышенная и страсть жестоко-грубая, тайна девственной прелести и уродство плоти, поэзия мечты и действительность.

Излюбленный герой Гумилева-драматурга — поэт-калека, обиженный судьбой лебеденок, но гений и прозорливец, бессильный на жизненном пиру и побеждающий жизнь своей жертвенностью, уходя —

... от смерти, от казни
Брат мой, слышишь ли речи мои? —
К неземной, к лебединой отчизне
По свободному морю любви.

Ему, покаранному в земном существовании поэту, мерещатся «девушки странно-прекрасные и странно-бледные со строго опущенными глазами и сомкнутыми алыми устами»; они «выше гурий, выше ангелов, они как души в седьмом кругу блаженств; они печальны и улыбаются рыцарю-поэту с безнадежной любовью, и он упивается неиссякаемым мучительным вином чистой девичьей скорби...»

Здесь стирается граница между реальностью и приоткрытой духу небесной державой. Поэту, как безумному скрипачу Паоло Беллитини из его рассказа «Скрипка Страдивариуса», «ясно все, чем он томился еще так недавно и другое, о чем он мог бы томиться, и то, что было недоступно»... Но при мысли, что кто-то другой, после него, сумеет приручить волшебную скрипку, Паоло Беллитини решает уничтожить ее: «Старый метр вздрогнул... нет, никто и никогда больше не коснется ее, такой любимой, такой бессильной! И глухо зазвучали неистовые удары каблука и легкие стоны разбиваемой скрипки».

Так, злым испуганием кончается эта повесть любви скрипача-поэта, хоть и молился он часами Распятому: кончается убийством! Не достигнув высшей гармонии, он в конце концов уступает лстивым козням Денницы.

Драматические герои Гумилева, и Гондла и Имр, тоже кончают век убийством...самоубийством. Поэт казнит их с глубоким убеждением, так же, как говорит о смерти в одном из стихотворений «Колчана»: «Правдивее смерть, а жизнь бормочет ложь». Недаром, еще в первой юности, «шестого коня», подаренного ему Люцифером, он назвал «Отчаяньем». Как ни настраивал себя Гумилев религиозно, как ни хотел верить, не мудрствуя лукаво, как ни обожествлял природу и первоначального Адама, образ и подобие Божье, есть что-то безблагодатное в его творчестве. От света серафических высей его безотчетно тянет к стихийной жестокости творения и к первобытным страстям человека-зверя, к насилию, к крови, ужасу и гибели.

Удивительна в Гумилеве эта дисгармония. Она ощущается и в житейской и в писательской его личности. Для меня осталось проблемой и то, почему смешно-претенциозный в жизни (особенно в литературных спорах), он был так обдуманно-меток и осторожен в своих критических статьях. Его «Письма о русской поэзии», печатавшиеся из месяца в месяц в «Аполлоне» (были изданы, при большевиках, отдельной книгой*), представляют сокровищницу остроумных замечаний и критических оценок, прочесть которые не мешало бы никому из поэтов. И похвалить и выбрать он умел с исчерпывающим лаконизмом и, я бы сказал, с изящной недоговоренностью.

¹) Изд. Центр. Коопр. Из-ва «Мысли», 1922 и 1923, с введением Георгия Иванова.

Еще известнее он как теоретик поэзии, антисимволист, создатель новой литературной школы, учивший молодых наших пиитов писать стихи, ментор «Цеха поэтов». Новизна его с этой точки зрения даже преувеличена. На самом деле, отталкиваясь от символизма, свою поэтику Гумилев не определял положительными признаками, его «акмеизм» сводится к указаниям на то, чего по его мнению не надо допускать в поэзии, т. е. определяется отрицательно. Во всяком случае, самый термин — безусловен: «акмэ» (с греческого — вершина, предельное заострение) по существу — не путь к школьной новизне; ведь слово всегда должно, в идеале, достигать наивысшей выразительности, в любой поэзии.

Вот почему под флагом «акмеизма» могли выступить такие ничем друг на друга не похожие поэты как Городецкий и Осип Мандельштам, Ахматова и тот же Гумилев: их связывает общее отношение к «изреченному слову», но не стиль. Из мира нездешних сущностей Гумилев звал поэтов обратно к земной реальности и, следовательно, к предметным образам, прочь от подобию с неясным потусторонним содержанием. Но это его несогласие с Андреем Белым и Вячеславом Ивановым (прежде всего) не есть еще новая концепция поэзии.

Так же верно и другое: отрицание символизма, навеянного декадентским Западом «конца века», восстанавливало прерванную традицию, возвращало отечественное слово к истокам. Реалистическая всем своим погружением и имманентный мир русская поэзия не могла не захиреть от привитой ей трансцендентности и мистики. Расти дальше в атмосфере магии и теософских вещаний она не могла. Роль Гумилева тут несомненна. И, конечно, отнюдь не Блок и не Вячеслав Иванов — зачинатели нашей поэзии XX века (с советской вкуче, несмотря на «социалистический реализм» и маяковщину), а именно — стихотворцы, прошедшие через «Цех поэтов».

Сам Гумилев, в первый книжке «Аполлона» за 1913 год, так сказал об «акмеизме»: «Русский символизм направил свои главные силы в область неведомого. Попеременно он брался то с мистикой, то с теософией, то с оккультизмом. Между тем, непознаваемое по самому смыслу этого слова нельзя познать... Все попытки в этом направлении — нецеломудренны. Детски-мудрое, до боли сладкое ощущение собственного незнания — вот то, что нам дает неведомое» (здесь Гумилев как бы заимствует мысль у богослова XV века Николая Кузанского: *docta ignorantia*). «Разумеется, познание Бога, прекрасная дама Теологии, остается на своем престоле, но ни ее низводить до степени литературы, ни литературу поднимать в ее алмазный холод акмеисты не хотят». «Романский дух, — говорит он дальше, — слишком любит стихию света, разделяющую предметы, четко вырисовывающую линию; эта же символическая связанность всех образов и вещей, изменчивость их облика, могла родиться в туманной мгле германских лесов... Новое течение... отдает решительно предпочтение романскому духу перед германским».

Городецкий, разделявший взгляды Гумилева из приверженности к народнорусскому стилю, так дополнил его размышления о символизме: «Борьба между акмеизмом и символизмом... есть прежде всего борьба за э т о т мир, звучащий, красочный, имеющий формы, вес и время, на нашу планету Землю... После всяких «неприятностей» мир бесповоротно принят акмеизмом во всей совокупности красот и безобразий... «Искусство есть прочность. Символизм принципиально пренебрегает этими законами искусства. Символисты старались использовать текучесть слова... усиливали ее всеми мерами и тем самым нарушали царственную прерогативу искусства — быть спокойным во всех положениях»...

Гумилев тут же, помнится мне, приводил переведенные им строки Теофиля Готье:

Создание тем прекрасней,
Чем взятый материал
Бесстрастней! —
Стих, мрамор иль металл!

Замечу к слову, что Готье был для него идеалом поэта. В девятом выпуске «Аполлона» за 1911 год он поместил восторженную статью о французском парнасце, которого усердно переводил.

Гумилев настолько восхищался французским Учителем, что хотел быть похожим на него и недостатками. Готье не понимал музыки. Не раз говорил мне Николай Степанович не без гордости, что и для него симфонический оркестр не больше, как «неприятный шум».

Для «Аполлона» его мысли — прочь от туманной символики — не явились новостью. Первым высказал их несколькими годами раньше, хотя обращался не столько к поэтам, сколько к прозаикам, один из ближайших ко мне аполоновцев — М. А. Кузмин. В 1916 году в «Аполлоне» появилась его статья, озаглавленная «О прекрасной ясности». Она звучит и теперь, через полвека без малого, что была написана, как наставление, к которому следовало бы прислушаться многим из русских авторов и в наши дни. Оглядываясь, мы видим, — говорит Кузмин, — что периоды творчества, стремящегося к ясности непоколебимо стоят, словно маяки, идущие к одной цели, и напор разрушительного прибола придает только новую глянцеvitость вечным камням и приносит драгоценности в сокровищницу, которую сам пытался низвергнуть. Есть художники, несущие людям хаос, недоумевающий ужас и расщепленность своего духа, и есть другие — дающие миру свою стойкость. Нет особенной надобности говорить, насколько вторые, при равенстве таланта, выше и целительнее первых...

Самым парадоксальным из основоположников акмеизма был Осип Мандельштам; он изменил ему в конце творческой жизни для поэзии менее всего созвучной Кузминскому «кларизму», но еще в 1922 году, следуя за Гумилевым, написал статью «О природе слова»*), в которой подымает на смех речевые неясности поэтической символики и мистики. Вот эта злая характеристика «литургического слова» символистов: «Все преходящее есть только подобие. Возьмем к примеру розу и солнце, голубку и девушку. Ничего настоящего, подлинного. Страшный контреданс «соответствий», кивающих друг на друга. Вечное подмигивание. Ни одного ясного слова, только намеки, недоговаривания. Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой... Жорж Данден открыл на старости лет, что он говорил всю жизнь прозой. Русские символисты открыли такую же прозу, изначальную, образную природу слова. Они запечатали все слова, все образы, предназначив их исключительно для литургического употребления. Получилось крайне неудобно — ни пройти, ни встать, ни сесть. На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это, может, значит такое, что сам потом не рад будешь... Человек больше не хозяин у себя дома. Ему приходится жить не то в церкви, не то в священной роще друидов, хозяйскому глазу человека не на чем отдохнуть, не на чем успокоиться. Вся утварь взбунтовалась. Метла просится на шабаш, печной горшок не хочет больше варить, а требует себе абсолютного значения (как будто варить не абсолютное значение)...

*) «Истоки», 1922.

Все это очень близко к тому, что проповедовал Гумилев на собраниях «Цеха поэтов». Они возникли вскоре после того, как начал издаваться «Аполлон» (в конце 1909 года) и устраивались Гумилевым и Городецким то у них на дому, то у Михаила Леонидовича Лозинского, секретаря «Аполлона» (после ухода Зноско-Боровского), прекрасного поэта, переводчика Данте, незаменимого помощника моего в журнальной работе, то — еще где-то, и носили характер тесных кружковых сборищ. Если память не изменяет мне, в их первоначальный состав входило человек двенадцать. Кроме самого Гумилева и Городецкого, «синдикиов», Д. В. Кузьмин-Караваев (ныне Отец Димитрий, еще в России перешедший в католицизм и принявший сан священника; он считался в «Цехе казначеем»), его жена, урожденная Пиленко, Елизавета Юрьевна (в эмиграции ставшая матерью Марией и мученически погибшая в Германии), Анна Ахматова, М. Л. Лозинский, Василий Гиппиус (автор замечательной работы о Гоголе), Пяст, М. Л. Моравская, Нарбут, Зенкович, Осип Мандельштам и, несколько позже, Георгий Иванов. Никаких особых докладов на этих собраниях не читалось. Все ограничивалось чтением стихов и критическим разбором, причем Гумилев проводил свою «акмеистическую» точку зрения на качество прочитанных строчек. Как главное требование выдвигалось их смысловая ясность, определенность, без тумана намекающих слов и двоящихся понятий, столь любезных символистам. Гумилев корил их стиль эпиграммической строкой:

Некто, некогда, нечто, негде узрел...

Журнал Цеха — «Гиперборей» выходил всего два года (1911 и 1912). Вспоминается несколько тонких выпусков, находивших у «цехистов» горячий отклик. Но собрания продолжались и при большевиках в обновленном составе. *) Петербургский «Дом искусств» предоставил Гумилеву студию, куда девицы и юноши потекли толпой «учиться писать стихи». Гумилев в качестве верного последователя Валерия Брюсова все более верил, что работа над стихом, упражнение, технический опыт, словом — ремесло поэзии, восполняет недостаток того, что принято называть вдохновением... Но эта несомненно хорошая школа для самокритики и для выработки стилистических приемов, не могла, конечно, заменять того, что дается подсознательным творческим процессом.

О результатах студийной работы после революции я судить не могу. Знаю о ней, и то весьма приблизительно, с чужих слов, со слов одной из бывших «студийек», моей парижской знакомой. По-прежнему молодые поэты читали стихи, которые критически обсуждались, а Гумилев высказывал свое мнение «мэтра». Моя знакомая назвала мне несколько имен из неосфитов «Студии»: Одоевцеву, Н. Оцупа, Н. Берберову, Рождественского, А. Евреинову-Кашину, В. Лурье.

Курьезное совпадение. Тотчас после «Февральской» в апреле 1917 г. я уехал из Петербурга в Крым, будучи уверен, что никогда не вернусь, и предоставил журнальное помещение на Разъезжей улице и мою личную квартиру на Ивановской — со всем, что в них оставалось, в полное распоряжение (через секретаря редакции Лозинского) аполлоновцам. Насколько мне известно, чуть ли не первыми переехали в мою квартиру Ахматова со своим новым мужем — Шилейко, ученым ассириологом, сотрудником «Аполлона», давно и безнадежно, как мне казалось, ее любившим. Они въехали, и затем в той же квартире, по возвращении из Лондона (зимой 1918 года), поселился Гумилев, женившийся перед тем на А. Н. Энгельгардт. Но молодая чета не прожила в моих ком-

*) Возник еще тогда гумилевский кружок — «Звучащая раковина». Издавались и сборники «Цеха поэтов».

натах до трагической смерти Николая Степановича. В наступившие голодные и холодные года, большевики вселили в мою квартиру незнакомых людей, которые постепенно сожгли, чтобы не замерзнуть, всю мебель и заодно, на растопку, библиотеку и архив (так дымом и ушла прошлая жизнь!).

В какой-то из своих статей (помнится, об Эмиле Верхарне) Георгий Чулков говорит: «Понять поэта значит разгадать его любовь. О совершенстве мастера мы судим по многим признакам, но о значительности его только по одному: любовь, страсть или влюбленность художника предопределяет высоту и глубину его поэтического дара». С этой точки зрения Гумилев несомненный из поэтов нашего века: его сущность — любовь к поэзии, к женщине, к миру, к родине. Он не был мыслителем, не обладал умом, проникающим в глубины стоящих перед человечеством проблем. Да и жизненный путь свой кончил он действительно слишком рано, никак не принадлежа к гениальным скороспелкам, как Лермонтов, например (с которым, однако, у него много общего — и гордыня и комплекс малоценности, и любовная мука, и порывание к небу, и предчувствие ранней смерти). Как стихотворец он не был одарен сверх меры: рифмованные строки переходят у него частенько в надуманное рифмотворчество. Но рядом с этим иногда целые стихотворения достигают прелести совершеннейших образцов русской лирики. Одним из таких стихотворений, прочитанных мною недавно,*) я и закончу мои воспоминания о Гумилеве, верном аполлоновце, спутнике моем когда-то в России, — он был предан ей и умер так же, как жил, не изменяя ее правде.

С той поры, как я, еще ребенком
Стоя в церкви, сладко трепетал
Перед профилем девичьим, тонким,
Пел псалмы, молился и мечтал.
И до сей поры, когда во храме
Всемогущей памяти моей
Светят освященными свечами
Столько губ манящих и очей,
Не знавал я ни такого гнета,
Ни такого сладкого огня,
Словно обо мне ты знаешь что-то,
Что навек сокрыто от меня.
Ты пришла ко мне, как ангел боли,
В блеске необорной красоты,
Ты дала неволю слаще воли,
Смертной скорбью истомила... Ты
Рассказала о своей печали,
Подарила белую сирень,
И зато стихи мои звучали,
Пели о тебе и ночь, и день.
Пусть же сердце бьется, словно птица,
Пусть же смерть ко мне нисходит... Ах,
Сохрани меня, моя царица,
В ослепительных таких цепях.

*) Оно извлечено из альбома Гумилева, подаренного им В. В. Анрепу, который их передал Г. П. Струве для опубликования («Новый Журнал», 1944, VIII).

Охтенская „богородица“

1.

Первая мировая война приближалась к концу. Полным ходом шла «всероссийская, бескровная» — не помню, как еще именовалась поэтами революций — эта кровавая скачка событий в России 1917—1918 годов.

Немецкие войска стремительно катились к Пскову, где стоял наш штаб северо-западного фронта.

В начале декабря 1917 года я получил от моего начальства предписание немедленно отправиться в Новгород и приискать квартиры для санитарного отдела и его чинов.

Не очень-то хотелось мне при двадцатиградусном морозе отправляться в путь, когда вагоны не отапливались и к тому же были полны бегущими с фронтов дезертирами.

Но служба — не дружба. Поехал я в Новгород с квартирьерами других отделов штаба.

Весь скучный путь среди беспредельных болотных равнин мы провели за картежной игрой, притом в теплом купе главного кондуктора, дяди моего сослуживца. К вечеру незаметно и без особых присисшествий мы прибыли в древний Новгород.

Остановились мы в гостинице на берегу Волхова. Затем два дня бегали по городу, осматривая по полученным в городской управе спискам квартиры и комнаты. На третий день всё было сделано. Оставалось найти квартиру лишь для себя. В центре города помещений уже не было, и я пошел бродить по окраинам, где долгое время ничего подходящего для меня не находилось.

И только в день отъезда, рано утром, в сильный мороз забрел я на восточную, самую незаселенную окраину, и там, с трудом передвигая по глубокому снегу ноги, заметил вдали усадьбу, окруженную высоким, розового цвета, забором. Я с удивлением остановился — так живописна была представившаяся моим глазам картина: с трех сторон розовой усадьбы находилась роща, все деревья были покрыты белоснежным пухом. Волшебный вид! Посредине парка высились два дома — один двухэтажный, а почти рядом — флигель. Стены домов были выкрашены также розовой краской, а крыши — зеленой. «Какая прелесть! Вот здесь бы квартиру найти! Попытаюсь, авось клюнет!» — с этими мыслями подошел я к калитке. Заперта. Узкая садовая дорожка вела к веранде. Я позвонил. Тотчас же раздался пронзительный лай нескольких собак, а затем послышались тяжелые шаги по скрипучему снегу и лязг ключей. Через минуту я увидел идущего к калитке дворника с черной бородой-лопатой. Поверх шубы у него был надет белый фартук, а на голове — барашковая шапка.

Шел он не спеша, с достоинством, на ходу выбирая из связки нужный ключ. Подойдя к калитке, он, не открывая ее, сначала цыкнул на заливавшихся лаем двух псов, а затем, обратясь ко мне, строго спросил: — «Что вам угодно, господин?»

— Да вот, видите ли, ищу свободную квартиру, имею жену и двух деток... у вас здесь тихо, хорошо!.. Буду платить по вольному найму, не по военной необходимости.

При последних словах лицо дворника стало приветливее:

— Так вы, господин офицер, говорите, что у вас есть детки, а позвольте полюбопытствовать, какого возраста они будут?

— Старшему — мальчику — годика два, а девочке, дай Бог — месяца два с хвостиком...

— Так-с, очень даже хорошо... пойду доложу матушке, а вы, господин, подождите здесь... Как она, матушка, изволит решить насчет флигелька... Оттуда выехали, а у вас опять же детки.

И с этими словами он удалился, оставляя большие следы на усыпанной свежим снегом дорожке.

Минут через десять он вернулся и сразу же открыл калитку со словами: — Пожалуйста... Матушка просит вас пожаловать к себе...

Вошли в розовый дом с заднего крыльца. Поднявшись на ступеней пять, мы очутились в просторном коридоре. Дворник постучал в первую дверь направо.

В светлой, просторной комнате было тепло натоплено. Почти против двери, посередине, на старинном дубовом кресле с высокой спинкой, важно сидела заметно нарумяненная женщина лет за сорок. На ней была серого цвета кофта и малиновая бархатная юбка, а на голове — белый платок с золотистыми крестиками. Из-под него совсем не кстати игриво выбивался черный клок волос. Станным показались мне модные, серебряного цвета туфли, надетые на толстые ноги в тонких белых чулках. Властные черные глаза ее, казалось, впились в меня. За креслом стояла, скрестив руки на груди, высокая худоцавая женщина, вся в черном, наподобие монахини.

— Вот, матушка, они хлопочут насчет квартиры... опять же детки... — раздался позади меня голос дворника. Я поклонился, получив в ответ милостивый кивок хозяйки.

Молодой парень в русской поддевке, которого я сперва не заметил, быстро подставил мне стул. Красота этого парня невольно привлекла мое внимание. Большую копну его русых волос сдерживала широкая, красная лента, как это встречается на лубках, с изображением божественных сцен. Румяное лицо со строго правильными чертами отличалось чистотой, а большие глаза с собачьей преданностью смотрели на хозяйку, и, казалось, никого больше в комнате не замечали.

Юноша этот стоял у входной двери слева, а дворник — с правой стороны. Оба, к моему удивлению, стояли весьма почтительно, скрестив руки на груди. «Странно все это, пронеслось у меня в голове, что бы это все значило?». Вопрос хозяйки вывел меня из раздумья:

— Так вы, господин офицер, хотели бы снять у меня квартиру? Что ж, у меня найдется небольшая квартирка. Но мы люди тихие, спокойные, хотели бы и жильцов иметь не шумных, без претензий и злопыхательства... а какова ваша семья, разрешите спросить?

— Как вам сказать?... Семья моя небольшая с одной стороны, по временам даже тихая, но с другой стороны, пожалуй, и шумливая, особенно днем, так как сыну моему только два года, а девочке нет еще и трех месяцев, вот они-то и пошумят, но, конечно, без злопыхательства... в этом отношении будьте спокойны...

Она тихо рассмеялась, показав здоровые белые зубы.

— Ну, а как насчет ихней супруги-с — они, как — без «фигли-мигли» и тому подобное? — вмешался вдруг дворник.

— А ты, Петр, подожди, не вмешивайся, — строго бросила хозяйка в сторону дворника и, обратившись ко мне, продолжала:

— Вы уж простите, господин, он у меня человек простой, тонким поведением не учился... Он, видите ли, имеет в виду разные там приемы, чаепития с танцами, которые любят устраивать дамы общества...

— Что вы, что вы... В такое-то тяжелое время приемы и танцы!.. Да к тому же мы здесь люди чужие... никого не знаем.

Этот ответ, видимо, удовлетворил хозяйку:

— Ну, вот, и хорошо!.. А детишек и я люблю, и их мы не обидим... Так что по рукам!.. Квартирочку я сдам вам во флигелечке, а что касается цены, то плата казенная: мы, ведь, тоже готовы жертвы нести на алтарь отечества... Вы, видно, из полка? — вдруг спросила она уже другим, неофициальным тоном.

— Нет... я штабной... Наш штаб переводится сюда...

— Ну, что ж, с Богом!.. А когда вы привезете семью-то к нам?

Я тут же решил не медлить с переездом и ответил, что надеюсь дня через два-три доставить сюда семью из Питера...

— Ну, вот и отлично! А ты, Петр, уж, пожалуйста, постарайся, чтобы флигель-то был в порядке: чисто и тепло, вишь, как на улице-то холодно!.. — и она встала, показав этим, что аудиенция окончена.

Проходя мимо меня, хозяйка важно протянула мне руку, на одном из пальцев которой я заметил большой бриллиант. Задержавшись на минуту, достаточную для моего рукопожатия, она удалилась затем в сопровождении «монашенки» в соседнюю комнату.

Квартира во флигеле оказалась весьма хорошей: комнаты светлые, просторные и сухие, была даже ванная, чего уж я никак не ожидал. У калитки, прощаясь со мной, дворник сказал:

— Ну вот и слава Богу, все обошлось благополучно! Матушке-то, видно, вы понравились, а это самое главное... остальное будет хорошо!..

Протянутую ему пятирублевую бумажку он не взял со словами: — Что вы, барин, за что же? Такого у нас не водится, — благодарим покорно...

На этом мы расстались.

2.

Санкт-Петербург после недавнего «октябрьского переворота» все еще бушевал. На улицах было грязно, панели сплошь усеяны шелухой подсолнухов. Трамваи ходили неаккуратно, вагоны были переполнены до отказа. Электричество большей частью бездействовало. По вечерам на улицах — жутко, особенно на окраинах: засилия и грабежи стали обычным явлением. Повсюду в общественных залах шли митинги. Вместо полицейских на постах стояли какие-то люди с красными нарукавниками, они равнодушно относились и к душераздирающим крикам избиваемых арестованных и даже к выстрелам. Короче говоря, был хаос, во время которого большевики расстреливали старый режим.

Проходя мимо ресторана Палкина, на Невском проспекте, я впервые услышал в те дни «знаменитую» частушку; в каком-то пьяном экстазе ее хрипло распевал матрос:

Ешь ананасы,
Рябчики жуй,
День твой приходит
Последний, буржуй!

Эта частушка в исполнении пьяного представителя нового режима почему-то влила в меня новую струю энергии, и я, после долгих поисков свободного извозчика, вдруг бросился к освободившемуся от арестованного седока «Ваньке», вскочил в сани и крикнул: — Пошел на Малу Зеленину!

К моему удивлению, извозчик то ли почувствовал в моем тоне власть имущего дезертира, то ли отчаяние человека, решившегося на убийство, но, во всяком случае, он беспрекословно, даже с какой-то покорностью повез меня на Петербургскую сторону.

Не легко было при таких обстоятельствах выехать из столицы с женой и двумя малолетними.

Все же в течение трех дней мы упаковали самые необходимые вещи и все, что могли, погрузили на тележку, нанятого мною за астрономическую сумму кереенок с придачей продуктов и папирос носильщика, и мы отправились к Николаевскому вокзалу. Жена несла на руках грудную девочку, а я, придерживая посаженного на тележку сына, в то же время подталкивал ее.

Но самое трудное было впереди: попасть при громадном наплыве пассажиров на платформу. У вокзала — невероятная давка. При тусклом освещении фонарей было видно, как люди с громадными чемоданами, тюками и корзинами с отчаянием бросались на приступ к входу, где, казалось, искали спасения от овладевших столицей большевиков.

Каким-то чудом мы оказались в вагоне, где, благодаря детям, получили места.

Через час поезд, густо набитый пассажирами, тихо двинулся. В последний раз взглянул я в окно: там, за ним, расстилалась жуткая черная даль, и мне сделалось страшно. Дети спали, жена дремала. Рядом со мною тихо разговаривали двое — старик, видимо, чиновник в отставке, и молодой человек в потертой студенческой тужурке. Я стал прислушиваться. Спокойный тон говоривших вскоре перешел на повышенно нервный.

— Да, с вашим Санкт-Петербургом кончено! Не встать ему никогда на ноги! — уверял студент, затягиваясь папирсой.

— Напрасно изволите так говорить, молодой человек, наш чудный град Петра ныне только тяжело заболел, но он выздоровеет, он, поверьте мне, не может погибнуть, не может! — упорно повторял старик.

— Скажите, пожалуйста, почему не может погибнуть? Какие у вас доказательства?

— Таково мое убеждение-с, такова моя вера в бессмертие города, вера старого петербуржца, подтверждаемая притом легендой...

— Какой легендой?

— Вы не слышали легенду о майоре Бутурлине? — ответил вопросом старик.

— Нет, не слышал... Но при чем тут легенда?

— Очень даже «причем»: она, так сказать, подкрепляет нашу веру в долголетие столицы... Вот она, легенда: в 1812 году, перед самым нашествием Наполеона, явился к князю Голицыну, другу императора Александра Первого, какой-то майор Бутурлин и заявил, что он, Бутурлин, подряд несколько ночей видит один и тот же сон... И находится он, будто, на Сенатской площади, перед памятником Петра Первого. И вдруг видит он, как памятник, то есть, сам Петр, плавно съезжает вниз и шагает прямо ко дворцу, что на Каменном острове. Подхваченный какой-то неведомой силой несется за ним и майор. И слышит Бутурлин, как император Петр строго говорит встретившему его императору Александру: «И до чего ты, молодой человек, довел Россию! Нехорошо это! Впрочем, помни: чтобы ни случилось, пока я стою на своем месте, моему городу нечего опасаться!» Сказав эти слова, памятник вернулся на свой пьедестал и принял прежнюю позу.

Когда князь Голицын передал рассказ майора Бутурлина императору Александру, то последний, опасаясь перед этим нашествия Наполеона на столицу, и отдавший приказ вывезти вовнутрь все государственные сокровища и исторические статуи, запретил трогать памятник Петра, хранителя его града... И я во время октябрьских боев не раз пробирался закоулками на Сенатскую площадь посмотреть, на месте ли Петр? Видишь — на месте, ну спокойно идешь домой: город, значит, не гибнет и не погибнет!.. Не погибнет! — повторил рассказчик, истово перекрестясь.

Я пытался вспомнить, где я читал эту легенду про сон майора Бутурлина, но так и не смог: сон одолевал меня и я задремал.

Проснулся я уже на станции Волхово, где при помощи сердобольных пассажиров мы перебрались на пароход. Там было тепло и даже уютно. Сонные заняли мы места, и я снова задремал. Как сквозь сон слушал я новости — одни передавали друг другу слухи об отречении царя, другие про неудачную попытку генерала Крымова освободить столицу от большевиков, кто-то прибавил, что Крымов застрелился...

Но вот пароход тронулся, ломая тонкие пласты льда, упорно желавшего задержать его в своих слабых тисках.

Усталость, равномерный стук машин, хруст ломающегося льда подействовал на нас усыпляюще, и мы вскоре снова все крепко заснули.

Проснулись мы ранним утром, уже в Новгороде. С неба густыми хлопьями падал снег. На извозчике поехали мы на новую квартиру.

Уже издали, среди снежной равнины, красиво выделялся розовый забор. Свежий воздух и умиротворяющий покой действовали на нас целительно.

— Боже, какая здесь тишина! Как хорошо! — сказала моя жена.

Приветливо встретил нас Петр и молодой человек: они помогли снести детей и вещи в хорошо натопленный флигель.

3.

Как чудесно показалось нам в чистой и теплой квартире! Но главное — тишина. И только что мы разделись, вымылись, поставили самовар и сели за стол, как раздался стук в двери. Кричу: «Войдите!» Входит тот самый красавец-юноша с красной лентой вокруг волос. Перед собой несет большой поднос, на котором уютно расположились: пирог, подернутый дымкой пара, рядом большая кринка молока и белая миска, наполненная редким для того времени яством — творогом!

Поставив все это богатство на стол, юноша отвесил нам низкий поклон: — От матушки! Кушать приказали! С новоселием!

— Спасибо, с величайшим удовольствием исполним ее приказание... Дай Бог здоровья хозяйшке за эти чудные дары!.. А когда, кстати, можно ее видеть? — спросил я парня.

— Да, вот — сегодня изволите отдыхать, а завтра в часиков десять утра матушка будут очень рады видеть вас, а только они просили и детишек с собой прихватить: они сильно любят-с ребяток! — говорил он, кланяясь и постепенно отступая к двери, пока не исчез совсем. Мы остались в приятном изумлении.

— Кто же это такая «матушка»-благотельница? — спросила меня жена. — Ты же говорил с нею?

Я хоть и видел и говорил с матушкой, но ответить на этот вопрос жены не смог, а спросить в свое время Петра или этого красавца-парня как-то постеснялся. Поэтому я только сказал:

— Все, милая, здесь какие-то странные и загадочные, поживем-увидим... а теперь попируем...

После завтрака я отправился к себе в канцелярию. Когда же вернулся домой, то узнал от жены следующее: во время моего отсутствия она сходила в ближайшую лавочку за продуктами. Лавочница любопытствовала, откуда и где живет моя жена. Узнав, что мы из розовой усадьбы, она воскликнула:

— Ах, так вы живете у «Охтенской богородицы»!

— Как так у богородицы? — удивилась жена.

— Вы не знаете? — в свою очередь удивилась лавочница. — Вы же из Петербурга и должны бы знать «богородицу» — Марию Строганову, жившую на Охте, главу какой-то секты, члены которой и теперь еще посещают свою матушку. Дворник с окладистой бородой — «апостол Петр», а молодой красавец — Иоанн Богослов. Живет у них еще какая-то эстонка-кликуша, не знаю, кого она изображает... не Святую ли Анну, ведь имя-то ее Анна. Живут они здесь года четыре, если не больше. Когда их выслали из столицы, то к нам сначала приехал «апостол Петр», он-то и облюбовал эту усадьбу, купил, построил эти розовые домики, и вот они зажили здесь припеваючи: имеют две коровы, несколько свиней, гусей, кур, одним словом, все есть. .. Имеются, конечно, и денежки: добротные подаяния текут не только от наших, новгородских сектантов, но и столичных... Матушка — человек не дурной, ничего худого про нее не скажешь! — закончила словоохотливая лавочница.

Так вот кто эта загадочная матушка! Теперь только я вспомнил про двух «богородиц», живших в Петербурге в расцвет богоискательства и мистических брожений: одну звали Марией Киселевой, и жила она на Крестовском острове, а другая — эта самая Мария Строганова имела свою «епархию» на Охте. Какой-то градоначальник, не то Драчевский, не то князь Оболенский одну «богородицу» еще кое-как терпел, но когда перед войной появились футуристы, юродивые и вторая «богородица»-Киселева с чудесами, то он не выдержал и в гневе крикнул своему помощнику:

— Довольно «чудес»! — И приказал их выслать «не в столь отдаленные места». Киселеву выслали куда-то в Вологодскую губернию, а Строганову сюда, в Новгород.

На другой день в десять часов утра явились мы всей семьей к хозяйке. Приняла она нас торжественно: «апостол» Петр и Иоанн «Богослов» вышли из комнаты. Строганова сошла со своего «трона», внимательно посмотрела на детей, а Славу даже слегка погладила по щечке со словами: «Детки хорошие, надо чтобы им у нас было приятно!»

Затем показала нам свои покои. Везде царил чистота. Но особенное наше внимание привлекла большая зала во втором этаже, по-видимому, молельня. Посреди нее стоял большой прозрачный, в человеческий рост, портрет отца Иоанна Кронштадтского. Внизу, у подножия портрета, в длинном ящике росли цветы, а по бокам портрета висилась тонкая рама, с прикрепленными к ней разноцветными лампадками.

Заметив в моих глазах удивление, матушка сказала:

— Это наш великий святой! — При этих словах она перекрестилась и тихо прибавила: — Он наш горячий молельщик, за русский народ-страдалец.

Подойдя к окну, она бросила взгляд на белоснежную равнину и как-то растянута, почти нараспев произнесла:

— А снега-то ка-а-к-ие! Вот теперь-то вашему мальчику хорошо покататься в саду... Я скажу Петру, чтобы он горку сделал...

Ушли мы, довольные приемом, но в то же время еще более удивленные.

«Странно, подумал я, сектантка, а Иоанна Кронштадтского почитает за святого».

На другой день, как «по щучьему веленью», против наших окон в саду выросла снежная горка. А затем появился Петр с новыми санками, покрытыми красным ковриком: «От матушки — деткам!»

Одев потеплее сына, я покатал его по гладкой дорожке сада.

Вечером пришел к нам красавец-Ваня и, положив на стол два розовых байковых одеяла, доложил: — Матушка изволили созерцать (так и выразился «созерцать»!), что мальчик ваш в саду мерзнет: его следует теплее заворачивать в одеяло... Они прислали два одеяла детям. Не побрезгуйте, примите!

Ну как не принять?! Приняли и послали матушке тысячу благодарностей.

4.

Жили мы по тем временам великолепно: дров хозяйка не жалела. Продукты мы получали всегда свежие, а главное — для детей было всегда свежее молоко!

Внешне жизнь в нашей розовой усадьбе тоже протекала тихо, размеренно. Мы замечали только, что по субботам, к вечеру, в большой дом прибывали какие-то люди с чемоданчиками и портфелями в руках. Они проникали в дом с черного входа, и встречал их всегда Ваня с красной лентой, сдерживающей черные, как смоль, волосы.

Окна дома в эти часы закрывались ставнями. Часто по ночам слышалось оттуда глухое пение, изредка прерываемое какими-то отдельными возгласами.

По словам нашей лавочницы, там происходило радение сектантов. На следующий день гости-мужчины в картузах и меховых шапках, а женщины в разноцветных платочках поспешно уходили.

Было ли в этом таинственном доме действительно радение — не знаю, сам не видел, но что в то время по всей России происходило своеобразное «радение», в этом я был уверен, так как и самому приходилось быть вольным его участником.

По всей стране бастовали, ниспровергали, митинговали и без суда карали. Наш новгородский Совет рабочих и солдатских депутатов постепенно делался большевистским.

Вскоре с нашей «богородицей» произошла пренеприятная история, косвенным виновником которой оказался я.

Недели через три после нашего водворения в розовый флигель вернулся из отпуска один штаб-сфицер для поручений, полковник Гопак, инвалид русско-японской войны. При распределении чинам квартир, мы, квартирьеры, про него почему-то забыли.

Так как в Новгороде квартир больше нельзя было найти, то я предложил полковнику одну из моих комнат, предполагая, что одинокому достаточно и одной.

Я, конечно, попросил у хозяйки разрешения. Она после колебаний согласилась на его вселение.

До сих пор не могу себе простить моего усердия, принесшего впоследствии хозяйке большие бедствия. Некоторым оправданием мне может быть только жалость к беспомощному инвалиду, которого я к тому же считал старым холостяком.

Когда Гопак переехал к нам, жена и я всячески старались скрасить его одинокую жизнь. Но вот, в сочельник, к нашему удивлению, приехала к Гопaku уже немолодая, властная, изрядно нарумяненная женщина, оказавшаяся его женой. Она явилась к мужу без предупреждения.

Легко догадаться, что нам стало в квартире тесно. На третий день Рождества приехал к нам какой-то молодой, не по летам развязный юноша. Слегка вздернутый нос молодого человека и постоянно бегающие по сторонам глаза особой симпатии к нему не вызывали.

— Позвольте представить вам... мой пасынок Степа... Из Петербурга на пару дней, — прибавил полковник, как бы извиняясь.

Я промычал что-то нечленораздельное...

В тот же день в штабе полковник очень извинялся передо мною по поводу вторжения к нам пасынка.

— Появление здесь Степы для меня самого ничего хорошего не предвещает, — сокрушенно жаловался он. — Это значит — он сидит без денег. Проигрался, пропил... истратил на «дам нашего круга», как он выражается...

— Он, что, студент?

— Какое там студент! Из всех гимназий выгоняли, не поверите — даже из реального училища Гуревича и то попросили убрать! А всё мать его избаловала: души не чаёт в этом сокровище! А сколько он бед нам причинил! Э!.. Так вы уж, пожалуйста, не сердитесь, голубчик... скоро уедет; он ведь, наверно, за деньгами приехал, дам и уедет! — закончил умоляюще старик.

Действительно, через день Степка уехал: видимо, получил деньги.

Приезжал он еще два раза, но дома большей частью не сидел; днем болтался по митингам, а по ночам исчезал неизвестно куда.

— Где же ночует ваш пасынок? — спросил я как-то у полковника.

— А где ж ему ночевать, как не у «дам его круга!» — сердито ответил Гопак.

— Одного не понимаю, откуда получает наш негодяй деньги? — задумчиво вслух спросил он сам себя, подписывая какой-то ордер.

Вскоре скандальное происшествие, поднявшее на ноги всю усадьбу, вполне разъяснило, откуда и как достает деньги Степка. Оказалось, Степка часто интересовался у лавочницы, кто такая «богородица», есть ли у нее средства и откуда она получает их? А раз, будучи навеселе, он даже вслух искренне удивился, почему в это, мол, замечательное время никто не конфискует капиталы старухи?

В его сумасбродной голове созрел план ограбления «богородицы». Он ждал лишь моего отъезда из Новгорода.

Случай этот скоро представился: я срочно выехал в Петербург по поручению нашего местного комитета Союза защиты, разогнанного матросом Железняком, Учредительного Собрания, чтобы получить в главном комитете инструкции, узнать политические новости и, между прочим, посетить нашу брошенную квартиру.

В столице свирепствовал террор, но беспорядок не уменьшился.

Ленин, Зиновьев и Троцкий «углубляли» революцию. На улицах царили хаос и грязь. Как-то на углу Литейного и Невского я увидел своеобразную картину: в метавшуюся толпу стрелял из револьвера пьяный дезертир; когда же вызванный кем-то взвод солдат с красными повязками на рукавах обезоружил буяна и повел его куда-то по Литейному, дезертир, пытаясь вырваться, кричал: «Прочь! Я член ревкома! Я неприкосновенная личность! Не смейте, подлецы, касаться моей личности!» Тут я вспомнил Дантона, когда он, подталкиваемый палачами на эшафот, кричал народу: «Негодяи! В революции всегда побеждают негодяи!»

Главный комитет Союза защиты Учредительного Собрания исчез: часть его большевики арестовали, а остальные вовремя скрылись, так что я никаких инструкций получить не смог. В нашей же квартире все было покрыто пылью, но оставалось в полном порядке.

5.

Грустный, в предчувствии чего-то недоброго, возвращался я к себе. У розового забора, позевывая, подметал тротуар Петр. При моем появлении он вздрогнул, снял шапку и с ноткой беспокойства в голосе тихо, оглядываясь по сторонам, сказал:

— А у вас, барин, не всё благополучно, вам бы следовало подальше отселева... опять же этот фулиган, Степка полковницкий, накуралесил... а впрочем, вы меня не видели, и я вам ничего не говорил, мое дело — сторона! — вдруг закончил он, сердито отшвырнув метлой сухие ветки.

Дверь мне открыла жена. Бледная и заплаканная, она вместо приветствия прошептала: «Поцелуй детей и исчезай скорей из Новгорода, хотя бы в Лугу... там брат... Тебя искали... Был обыск... В городе много арестов... Офицеров отправляют на расправу в Петербург...»

— А при чем тут Степка? — механически спросил я, тяжело опускаясь на стул.

— Да ни при чем! Он просто пытался ограбить Строганову... Ну, потом подробно опишу... Торопись, а то как бы не налетели эти!

Делать нечего — надо бежать! Поцеловав наскоро детей, я благословил их, простился с женой и вышел черным ходом через парк на улицу.

Благополучно сел в поезд и через пять часов прибыл в Лугу.

Спустя три недели прибыла туда жена с детьми и рассказала следующее:

Во вторую ночь моего отсутствия в прихожей нашей квартиры раздался сильный звонок. Дверь открыла полковница, ожидавшая сына. Она с ужасом увидела своего Степку в растерзанном виде: его держал за вывернутые на спину руки Петр, у которого, в свою очередь, был большой синяк под правым глазом. По лицу Степки струилась кровь. Куртка его была разодрана. Позади них стоял порядком потрепанный Ваня. Из его носа также текла кровь.

— Где господин полковник?... Мы привели этого мерзавца и желаем самостоятельно ему сдать его, — сказал, волнуясь, дворник.

Увидев Гопака, Петр освободил руки Степки и, усадив последнего на стул, взволнованным голосом заявил:

— Вот, господин полковник, сдаю вам патентованного грабителя на руки: нехорошим делом занялся он... С другими такими же, как он, фулиганами, пробрался он через нижнее окно в спальню матушки и пытался вытащить из-под подушки ее ключи от комода... Другой же товарищ караулил у дверей спальни, а третий был у калитки... Но мы-то проснулись... Ну, малость потрепали вашего, да и другого молодца, но в руки не дался тот — бежал! А наkostenяли мы вашего за то, что он заехал ногой в морду Ване...

Положив на столик перед кроватью полковника несколько золотых монет, Петр добавил: «Матушка приказали срочно, без скандала, выехать этому грабителю из Новгорода. Конечно, деньги на дорогу здесь прилагаем... ну, и на жизнь, на первое время здесь хватит!.. Не побрезгуйте выдать ему эти деньги...»

При последних словах Петра полковника передернуло. Он приподнялся и гневно крикнул:

— Хам, как ты смеешь меня оскорблять! Взятку даешь!..

Но в этот момент Степка, жадно смотревший на столик, где блестели рассыпанные золотые монеты, быстро вскочил, хромая, подбежал к столику и накрыл ладонью золото:

— Эти деньги мои!.. Не разоряйтесь благородным негодованием, папаша, я их заработал и принимаю... А насчет отъезда, будьте покойнички, я сейчас же

еду на юг... А вы чего стоите, святые угодники, вон!!! — взвизгнул он вдруг, густо плюнув в бороду дворника.

Мадам Гопак с тихим плачем обмывала лицо сына. Полковник облачился в свой китайский халат и при помощи костыля приблизился к пасынку.

— Ну и мерзавец же ты!.. Позоришь только нас! — начал было Гопак, но, взглянув на опухшее от кровоподтеков лицо пасынка, переменял тон и с заметным удовольствием закончил:

— И как чисто обработали тебя угодники! Живого места не оставили!

Затем он поинтересовался:

— И как ты, негодяй, решился на такое дело? А Строганова-то жива?

— Перепугалась, ведьма, особенно когда мы дрались: она забилась в угол под образа и всё визжала... Только раз, стуча зубами, сказала Петру: — «Петя, милый, ты полегче, как бы до смертоубийства не дошел»...

— Ну, когда буду комиссаром, я этим «святým» найду место в почетном углу: будут они там висеть у меня, вместо икон! А прежде всего выбью зубы Ваньке... Сегодня ошибся, второй раз не промахнусь! — злобно погрозил Степка.



И представьте себе: Степка сделался комиссаром!

Об этом узнал я только пять месяцев спустя. В Нарве я встретился с моим сослуживцем, капитаном Раносевским, дальним родственником полковника Гопака. Он рассказал мне, что полковник вскоре после этого происшествия ушел в отставку и уехал в Петербург. От Степки пришло лишь одно письмо из Белого.

— Оно настолько характерно по форме и по содержанию для нашего подлого времени, что я, с разрешения полковника, переписал его дословно... Хотите прочту? — спросил меня Раносевский и не дожидаясь ответа вынул из бумажника записочку и прочел:

«Дорогой и тому подобное папаша! К вашему сожалению, я не только жив, но и благоденствую: живу и работаю полным ходом по уничтожению врагов пролетарской власти. Как и говорил я вам, я достиг высокого положения: я комиссар! Одно жалею, что я еще не прикончил новгородских святых, во главе «богородицы». Ну, да еще встретятся они мне, тогда не сдобровать им! Своё место у стенки они найдут!

А вы, папаша, свои буржуазные замашки бросьте: при нашей пролетарской власти вас не погладят по головке — такими, как вы, стенки подпирают. Впрочем, передайте маменьке, что, когда буду в Ленинграде, заеду к ней, пудры привезу, небось старуха все еще пудрится! Степан-комиссар».

Что же случилось с «Охтенской богородицей»? — спросит читатель.

Ничего больше о ее судьбе не слышал, но полагаю, что Степка свою угрозу осуществил, если только сектанты не исчезли заблаговременно за пределы досягаемости «пролетарской власти» и ее защитников — «комиссаров».

Александр Блок и русская революция

1.

«Пусть в революции — кровь, самосуд, красный петух; пусть разрушаются дворцы и стираются с лица земли Кремли, пусть ее мутный поток несет щепки, обломки, грязь; пусть хамство и зверство, разбойники, убийцы и произвол.

Она (то есть революция) сродни природе. Горе тем, кто думает найти в революции исполнение только своих желаний, как бы велики и благородны они ни были. Революция, как грозовой вихрь, как снежный буран, всегда несет новое и неожиданное; она жестоко обманывает многих; она легко калечит в своем водовороте достойных, она часто выносит на сушу — невредимыми — недостойных; но это ее частности, это не меняет ни общего направления потока, ни того ощутительного гула, который издает поток. Гул этот — все равно, всегда — о великом».

Вся Россия — в огне.

Россия возведена на костер.

Для Александра Блока случившееся не было неожиданностью: «когда в воздухе собирается гроза, великие поэты предчувствуют ее приближение в то время, как их современники, обычные люди, грозы не ждут».

Блок из «необычных». Он ощущал запах гари и дыма задолго до того, как над Россией взметнулось пламя:

И отвращение от жизни,
И к ней безумная любовь,
И страсть и ненависть к отчизне,
И черная земная кровь,
Сулят нам раздувая вены,
Все разрешая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи.

И поэт вышел навстречу небывалой буре...

«Идет по улице большой серый грузовик. На нем — суровые рабочие и матросы, под красным знаменем РСДРП (золотом)».

Рабочие и матросы вооружены винтовками. Они несут на остриях штыков бурю и гнев. Александр Блок видел «незаметных героев» революции не только на митингах, и не только в действии, при жарких перестрелках, но и в более «интимной» обстановке, в каком-либо грязном трактире, за колченогим столи-

ком и бутылкой разведенного спирта, — когда у человека настежь распахнута душа.

Владимир Маяковский встретил Блока на улицах революционного Петербурга. Поэт грел руки у костра. Маяковский вначале не узнал Блока, думал — греется простой солдат (Блок был в сапогах и шинели).

— Здравствуйте, Александр Блок!

— Знаете, у меня сожгли библиотеку в усадьбе, — тихо отозвался Блок.

Голос поэта окрашен тоской и болью. Но в то же время поэт жаждет превозмочь эту боль.

«Всем телом, всем сердцем, всем содержанием — слушайте РЕВОЛЮЦИЮ!»

«... всё побеждается тем сознанием, что произошло чудо и стало быть будут чудеса».

И «Двенадцать» и «Скифы» проникнуты ожиданием чуда.

2.

Ветер и выюга, — две мятежных стихии, — тоже «герои» поэмы. Вся Россия поднята ими на дыбы и брошена в бунт.

Бунт шатает улицы революционного Петербурга. На улицах — черный вечер и белый снег.

По улице идут двенадцать красногвардейцев, души которых вросли в неистовый ветер.

Их внешний облик очерчен всего двумя-тремя резкими, но зато предельно выразительными взмахами слова:

В зубах цыгарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!

Винтовок черные ремни,
Кругом — огни, огни, огни...

Появлению двенадцати предшествует парад «бывших» — тех, кого революция вырывает из почвы и сбрасывает в мир теней. По улицам революционного Петербурга, с усилием держась на ногах, проходят: барыня в каракуле («поскользнулась и — бац — растянулась»), невеселый «товарищ поп» («помнишь, как бывало брюхом шел впереди, и крестом сияло брюхо на народ?»), писатель — вития («длинные волосы и говорит вполголоса: предатели! погибла Россия!»), старуха, которая жаждет найти более гуманное применение матерчатому плакату со словами «вся власть учредительному собранию». («Сколько бы вышло портянок — для ребят, а всякий — раздет, разут...»).

А вот и главный враг:

Стоит буржуй на перекрёстке
И в воротник упрятал нос,
А рядом жмётся шерстью жёсткой
Поджавший хвост паршивый пёс.

К людям старого мира Блок относится с какой-то озорной и в то же время немного злой иронией.

«Бывшие» боятся Двенадцати, ибо с красногвардейцами шутки плохи («как пошли наши ребята в красной гвардии служить, в красной гвардии служить, буйну голову сложить».).

Вдруг навстречу двенадцати — прямо наперерез — летит лихач. Лихач отличный! («электрический фонарик на оглобелях»). В санях — Ванька и Катька.

Кто она, эта Катька?
Догадаться не трудно:

В кружевном белье ходила —
Походи-ка, походи!
С офицерами блудила —
Поблуди-ка, поблуди.

Эх, эх, поблуди!
Сердце ёкнуло в груди!

Ну, а кто же Ванька?

Солдат и блудный сын мятежа. Из-за девки мировую революцию проглядел.
Бей золотопогонников! Не век же Катьке офицерье забавлять. Пусть, холера, черной кости послужит.

Помнишь, Катя, офицера —
Не ушел он от ножа...

Аль, не вспомнила, холера?
Али память не свежа?

Эх, эх, освежи,
Спать с собою положи!

Революция блудных сыновей не прощает. Красногвардейцы крепко злы на Ваньку и хотят расправиться с ним. За что? За то, что Ванька «не наш», хоть и был «наш». Кроме того, он, очевидно, угостил ножом офицера не из любви к человечеству, а, так сказать, из-за эгоистических, «мелкособственных» побуждений — чтоб сжить со света соперника.

Стой, стой! Андрюха, помогай!
Петруха, сзади забегай!..

.

Лихач — и с Ванькой — наутёк...
Еще разок! Взводи курок!..

.

Утёк, подлец! Ужо, постой,
Расправлюсь завтра я с тобой!

А Катька где? — Мертва, мертва!
Простреленная голова!

Среди двенадцати есть кто-то, который руководит всеми их действиями. Блок не выдвигает этого «незримого» на передний план; наоборот, заставляет его держаться в тени, но тем не менее мы чувствуем, что «незримый» имеет над бунтарями загадочную, таинственную власть.

И он, этот «незримый», охотится не за Катькой, а за Ванькой. На Катьку он зол только за то, что она вскружила голову не только Ванюхе, но и Петрухе.

С огнем не шутят. Катька встретила смерть не случайно. Она игриво наступила каблуком на сильную, настоящую страсть и не заметила, что из этой страсти может вырасти безумная злоба.

Что, Катька, рада? — Ни гу-гу...
Лежи ты, падаль, на снегу!..

Восторг убийства сменяется раскаянием.

Петрухой овладевает горе и ужас:

И опять идут двенадцать,
За плечами — ружьеца.
Лишь у бедного убийцы
Не видать совсем лица...

.

— Что, товарищ, ты не весел?
— Что, дружок, оторопел?
— Что, Петруха, нос повесил,
Или Катьку пожалел?

— Ох, товарищи, родные,
Эту девку я любил...
Ночки чёрные, хмельные
С этой девкой проводил...

Из-за удали бедовой
В огневых ее очах,
Из-за родинки пунцовой
Возле правого плеча,
Загубил я, бестолковый,
Загубил я сторяча... ах!

Раскаяние вызвало желание искупить грех: Петруха припоминает золотой иконостас православного храма.

Задача «незримого» убить в душе человека и чувство раскаяния и стремление искупить грех. Иначе может погибнуть дело, за которое он взялся и ради которого овладел сердцами двенадцати. «Незримый» своего добивается:

Бессознательный ты, право,
Рассуди, подумай здраво... —

.

От чего тебя упас
Золотой иконостас?

Антирелигиозное нравоучение подкрепляется руганью и приказаньями.

— Ишь, стервец, завёл шарманку,
Что ты, Петька, баба, что ль?
Верно, душу наизнанку
Вздумал вывернуть? Изволь!

.

Али руки не в крови
Из-за Катькиной любви?

— Шаг держи революционный!
Близок враг неугомонный!

«Агитация» подействовала.

И Петруха замедляет
Торопливые шаги . . .

Он головку вскидывает,
Он опять повеселел . . .

Эх, эх!
Позабавиться не грех!

От этих забав у России синяки под глазами:

Запирайте этажи,
Нынче будут грабежи!

Отмыкайте погреба —
Гуляет нынче голытьба!

Двенадцать ринулись в бой! На штурм старого мира!

— Всё равно, тебя добуду,
Лучше сдайся мне живьём!
Эй, товарищ, будет худо,
Выходи, стрелять начнём!

Трах-тах-тах! — И только эхо
Откликается в домах . . .
Только вьюга долгим смехом
Заливается в снегах.

Заставляя человека с ружьем, в помятом картузе и с цыгаркой в зубах по-виноваться себе, «незримый» переплавляет злобу и гнев в революционную волю. Мотив революционной воли проходит сквозь всю поэму:

Товарищ! Гляди
В оба!

Революционный держите шаг!
 Неугомонный не дремлет враг!

.

Вперед, вперед, вперед,
 Рабочий народ!

И вдруг мы видим, что сквозь злобу и гнев, сквозь метель и ветер, сквозь ненависть и кровь бунтари идут... к Иисусу Христу, Который стоит впереди, с красным флагом в руках:

...Так идут державным шагом —
 Позади — голодный пёс.
 Впереди — с кровавым флагом,
 И за_вьюгой невидим,
 И от пули невредим,
 Нежной поступью надвьюжной,
 Снежной россыпью жемчужной,
 В белом венчике из роз —
 Впереди — Иисус Христос.

Так неожиданно и странно заканчивается эта поэма, врезанная в метель и ветер.

В центре «Двенадцати» — преступление Петрухи, маленькая, ночная трагедия, разыгравшаяся на улицах революционного Петрограда.

Но целое познается по части; душа Петрухи становится душой метельной, опьяневшей от крови России. Ночная трагедия разрастается в трагедию коллектива, в трагедию России и ее исторических судеб.

3.

«Всякое стихотворение — звенящая, расходящаяся концентрическими кругами точка. Нет, — это даже не точка, а скорее астрономическая туманность. Из нее рождаются миры». — Так охарактеризовал Блок то настроение, которое владело им, когда он искал для отображения революционной эпохи какую-то новую форму стихосложения. Новые формы стиха у Блока возникали из нового отношения к миру: «художник поглощен поиском форм, способных выдержать напор творческой энергии».

В поэму «Двенадцать» включены осколки плясовых наигрышей, частушек и «жестоких» романсов. Частушки звучат, как музыка баяна, который захлебывается бесшабашным русским весельем и сумасшедшей русской радостью. Исповедь Петрухи стилизована под «жестокий» романс из тех, что разнесены шарманщиками по окраинам Петербурга. Иван Бунин, который резко отрицательно отзывался о поэме «Двенадцать», упрекает Блока за то, что поэт, взявшийся за стилизацию народных мелодий, не знает народного языка. По мнению Бунина, питерский рабочий не имеет представления о том, что такое «пунцовая родинка» и т. д. Выдвинутое Буниным обвинение не обосновано. Жители окраин Петербурга — большие охотники до бульварных романов. И в их речь часто входили «пышные» обороты речи, заимствованные из этих романов. Обороты эти не формировали строй речи, а только грязнили хороший русский язык. Это именно то, что Селищев назвал когда-то «неотмытой речью». Блок подметил эту особенность с удивительной чуткостью. Кроме того следует подчеркнуть, что обрывки народных мелодий включены поэтом в текст поэмы «Двенадцать» по такому же

принципу, который руководил Чайковским, когда композитор включил в одну из своих симфоний мелодию русской песни «Во поле березонька стояла». Блоком неоднократно применен поэтический контрапункт, т. е. принцип одновременного звучания двух мелодий. В русских частушках и даже мещанских романсах сквозь пошлость и дурной вкус порой пробивается сильная страсть и совсем настоящее горе. Александр Блок создал высокое и прекрасное из такого материала, от которого другие резчики по слову могли бы брезгливо отвернуться.

Поэма «Двенадцать» разбита на двенадцать эпизодов. Редко в каком из эпизодов не встречается лозунг или марш.

Первый эпизод заканчивается лозунгом: «товарищ, гляди в оба!»

Перед самым концом второго эпизода марш и лозунг сливаются воедино: «революционный держите шаг».

Третий эпизод заканчивается маршем. В конце шестого эпизода снова повторяется призывный лозунг — «революционный держите шаг». В конце седьмого эпизода и отчасти в восьмом марш перерастает в озорную частушку: «запирайте этажи». В конце десятого и одиннадцатого эпизода снова обречены марш и лозунг: «вперед, вперед, вперед, рабочий народ». «Во время работы я несколько дней — физически, слухом — ощущал вой ветра», пишет поэт. Сделав марш и лозунг лейтмотивом своей поэмы, Александр Блок как бы преобразует слово в неистовый ветер. Сжатые и стремительные строфы сами переходят в бурю.

«Поток, ушедший в землю, протекавший в глубине и тьме, — вот он опять шумит и в шуме его — новая музыка. Мы любим эти диссонансы, эти ревы, эти звоны, эти неожиданные переходы в оркестре.

Но если мы их, действительно, любили... мы должны слушать и любить те же звуки теперь, когда они вырастают из мирового оркестра и, слушая, понимать, что это — о том же, все о том же... Дело художника, обязанность художника — видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит разорванный ветром воздух».

Из этих высказываний видно, что органическое единство формы и содержания было для Блока закономерностью.

Трагедия красногвардейца, убившего — то ли из ревности, то ли случайно, при попытке расскаться с соперником — девуку, с которой герой поэмы проводил черные, хмельные ночи — творческий нерв «Двенадцати».

Но кровь Катюхи и безумное отчаяние Петрухи пронесены Блоком сквозь кровь и безумное отчаяние всей русской революции: личное, индивидуальное раскрывает себя в коллективном, в разбушевавшейся стихии. Смена различных силлабо-тонических ритмов ритмами чисто тоническими — только средство к тому, чтобы художественно воспроизвести и рушащийся старый мир и страстный преобразующийся в бурю порыв к новому.

Новое дано преимущественно в тонических ритмах, старое — в силлабо-тонических. Столкновение ритмов рождает бурю: и слова, и художественный образ подчинены смыслу.

4.

Тема русской революции в творчестве Блока не случайна.

Приближение катастрофы, которая придает стране совсем иной облик, Блок предчувствовал задолго до обеих революций, — и 1905 и 1917 гг.

Н. В. Гоголь, в лучшей из поэм «Мертвые души» сравнивал Россию с несущейся вскачь тройкой. Используя это сравнение, Блок применил его для определения судеб современной ему России:

«...и вот поднимается тихий занавес наших противоречий, падений и без-

умств. Слышите ли вы задыхающийся гон тройки? Видите ли ее ныряющей по сугробам мертвой и пустынной равнины? Это Россия летит неведомо куда, в си-не-голубую пропасть времени, на разубранной своей и разукрашенной тройке. Видите ли ее звездные очи, с мольбой обращенные к вам.

Полюби меня и полюби красоту мою!..

Кто же проберется навстречу летящей тройке, тропами тайными и мудрыми, кротким словом остановит взмыленных коней», — отмечает Блок в 1908 году, в записной книжке. Нет в России людей, способных предать проклятию безумие и кровь. Русь на краю бездны. Русь скачет в бурю и гнев. «Кровь и огонь могут заговорить, когда их никто не ждет. Есть Россия, которая вырвавшись от одной революции, жадно смотрит в глаза другой, может быть, более страшной».

И вот наконец свершилось:

«Страшный шум возрастает во мне и вокруг... на днях лежа в темноте с открытыми глазами, слушал гул, гул... Думал, что началось землетрясение...»

То был гул крушения старого мира.

В записных книжках и публицистических работах Александра Блока высказывания о России, о ее минувшем, настоящем и грядущем являлись как бы созвездиями сюрреалистических образов и пророческих озарений, которые складываются в апокалипсис русской революции. Когда поэт говорит о надвигающейся катастрофе, он сравнивает эту катастрофу с геологическим переворотом, с извержением вулканов, с небывалым по силе землетрясением; толчки, способные вызвать катастрофу, поэт улавливает с такой же чуткостью, с какой сейсмограф улавливает колебания почвы.

Россия династии Романовых слишком дряхла, чтобы устоять перед этой катастрофой, ибо эта Россия уже давно стоит одной ногой в царстве смерти:

«На равнинах, по краям дорог, в зеленях или в сугробах тлеют, гниют, обращаящиеся в прах барские усадьбы с мрамором, с амурами, с золотом и слоновой костью, с высокими оградами вокруг столетних липовых парков, шестиярусными иконостасами в барских церквях... и уже некому умирать и нечему воскресать. Этот быт гибнет, сменяется безбытностью».

У Блока двойственное отношение к этому истлевшему царству. Он и любит его, до скорби, до сострадания, и ненавидит его, до отчаяния и злобы. Так человек, который часто посещает кладбище, может в зависимости от настроения и обстоятельств ощущать то молитвенное спокойствие, то тихую грусть, то мистический ужас, то ненависть к этой обители смерти.

Русская интеллигенция напряженно ищет выхода из царства смерти, но она слишком слаба, чтобы совладать со стихией.

«Мы видим себя, как бы на фоне зарева, на легком кружевном аэроплане, высоко над землей, а под нами — громадная огнедышащая гора, по которой, за тучами пепла, ползут, освобождаясь, ручьи раскаленной лавы...»

«Царство тления стоит у подножия вулкана, который начинает дымиться. Катастрофа разразится не сразу. Ей предшествуют вспышки мятежей». «Когда такие замыслы, искони талящиеся в человеческой душе, в душе народной, разрывают сковывающие их путы и бросаются буйным потоком, доламывая плотины, обсыпая липкие куски берегов — это называется революцией. Меньшее, более умеренное, называется мятежом, бунтом, переворотом», и Блок представляет, как костры вспыхивают то здесь, то там, соединяются в могущественнейшее пламя, в единый поток огня. Жизнь становится похожей на страшный фантастический сон, на бредовое видение. Такой мы и видим жизнь в повести Блока «Нисны, ни явь».

В этой повести силен автобиографический элемент. Действие начинается в помещицкой усадьбе.

«Мы сидели под липами и пили чай». Невдалеке косили луг. Один из косарей завел песню — «без усилия полился и сразу наполнил и овраг и рощу и сад сильный серебряный тенор». В песне клокочет буря. Буря переходит из слова в жизнь. Весь уклад жизни — и мужика и помещика — крепко вросший корнями в землю, зашатался от этой песни. Купец, что был околдован песней, запил мертвым поем и поджёл сарай, набитые сеном. В окрестных селах появился смутьян (агитатор), разъезжающий на велосипеде и повсюду сеющий зерна гнева. У мужиков покосились избы, но они их не чинили, ибо привычка к труду вытеснена жаждой бунта. Мозолистые руки тянулись не к плугу, а к обрезаю и топору. Песнь ударила в сердце, подняла из глубины сознания, со дна души, вековую тоску по иной лучшей жизни, по мужичьему царству. Герой повести чувствует, что и к нему в душу стучится поднятый песней гнев. Он схватывает топор и начинает рубить сиреневый куст. «Кисти цветов негустые и голубоватые, а ствол такой, что топор еле берет». За кустами сирени — роща. Вошедший в раж герой вырубил и рощу (к счастью, только во сне).

В сон героя повести врывается тревожный шорох листьев. Это шумит лес — в буре и ветрах. Из леса выходят мужики. Толпы мужиков. Этим толпам нет ни конца, ни края. В глазах у них — под косматой бровью, — иступленный, неистовый гнев. У одних в руках вилы, у других — тяжелые мечи.

(В одной из записных книжек поэта есть четверостишие, близкое по духу этому эпизоду повести «Ни сны, ни явь»:

И мы поднимем их на вилы,
Мы в петлях раскачем тела,
Чтоб лопнули на шеях жилы,
Чтоб кровь проклятая текла.)

Перед лесом — холм. На холме — всадник, окруженный богатырями. Богатыри и тот, кто верховодит ими, на лошадях. Всадник вытянул руку вперед. Движение его руки полно решимости и волевого напряжения. Чувствуешь, что всадник сумеет подчинить своей воле ярый мужичий гнев.

Действие того «незримого», который командует Двенадцатью, можно уподобить повелительному жесту этого всадника. Сами же Двенадцать исполняют ту же роль, которая в повести «Ни сны, ни явь» отведена богатырям.

Блоку ясно, что русская революция — стихийная, народная, крестьянская. Это взмах топора, с целью пробиться из истлевшей России в мужичье царство.

Но у самих-то Двенадцати далеко не крестьянский облик. Герои поэмы Блока — не крестьяне, а удалцы из фабричных окраин. Это даже не пролетариат в полном смысле этого слова, а скорее люмпен-пролетариат.

В предреволюционной России появилось племя бродяг. Своего рода сословие людей, которые, отвыкнув от плуга, не взялись за станок. Бродяги гордо шествуют по российским просторам и, чего доброго, завоюют будущее. Это — священное шествие, стройная пляска тысячеокой России, которой уже нечего терять.

Бродяги нашли пристанище на окраинах Петербурга: «я проникал к окраинам нашего города. Знаю, знаю, что долго еще там ветру визжать, чертям водиться, самозванцам в кулак свистать». Что такой петербургский босяк — не мужик и не пролетарий метит в хозяева земли — Блок понял еще давно:

Он — с далеких пустырей,
В свете редких фонарей.
Шея скручена платком,
Под дырявым козырьком
Появляется,
Улыбается.

«Незримый» подобен всаднику, с его повелительным жестом. Людям с дырявыми козырьками в большевистской революции отведена роль богатырей, которые направляют обуянные гневом и злобой толпы мужиков туда, куда им нужно.

«Большевики, лютые враги народников, все свои надежды и планы поставили не на деревню, не на крестьянство, а на подонки пролетариата, на кабацкую голь, на босяков, на всех тех, кого Ленин пленил полным разрешением грабить награбленное», — пишет И. А. Бунин в статье «Третий Толстой». Буниным высказана вполне правильная мысль. «Незримый» Блоком не воспроизведен, но мы все время ощущаем его присутствие. Без него, без этого «незримого» поэта «Двенадцать» была бы и непонятной и необъяснимой. В «Незримом» воплощен большевизм, точнее — одно неоспоримое достоинство большевиков: их железная, нерушимая воля.

Именно эта воля позволяет «Незримому» бросить двенадцать красногвардейцев на штурм старого мира. Этого достичь нелегко: «Незримому» приходится постоянно преодолевать не только внутреннее сопротивление Петрух и Андрюх, но и мардерство отступников типа Ванюхи.

Оседлать всенародный гнев очень трудно. Еще неизвестно, кто кого одолеет.

«Когда в 1917 году Ленин, приехав в Россию, опубликовал свои тезисы, я подумал, что этими тезисами — он приносит всю, ничтожную количественно, героическую — качественно, рать политически воспитанных рабочих и всю — искренне революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству. Эта — единственная в России — сила будет брошена, как горсть соли, в пресное болото деревни и бесследно растворится, рассосется в ней, ничего не изменив в духе, быте, в истории русского народа», — писал в 1917 году Горький в «Несвоевременных мыслях».

«Двенадцать» — исключительно талантливое, почти гениальное изображение действительности, но в этой поэме изображено то, чего мы, старые социалисты, больше всего боимся», — признавалась О. Каменева, жена Л. Б. Каменева.

Большевизм — не народоправство и не стихийно-возникшая власть народа. История захвата большевиками власти есть история партийно-политического нападения на стихию; есть история единоборства небольшой, но прекрасно организованной политической партии со всенародной революцией, с надеждами и чаяниями всей России. Это партийно-политическое нападение на стихию было осуществлено и предпринято при помощи люмпен-пролетариата.

«Октябрь стал неминуем волею людей, а не силой стихии» (А. Ф. Керенский).

Отчаянно смелая борьба большевиков с мятежной стихией на какой-то миг увлекла Блока, сам поэт был восхищен тем, как «Незримый» покоряет двенадцать красногвардейцев, но это восхищение, ни в коем случае, не дает нам права говорить о большевизме Блока, отождествлять Блока и коммунистов.

Видели ли вы смельчака, который стремительным рывком хватает за гриву взъяренного, вставшего на дыбы коня? Смельчак хорошо знает, что он или оседлает этого коня или сам будет растоптан. Человек этот может быть самым законченным преступником, самым отпетым негодяем, но его неистовый рывок все же достоин восхищения.

Блок был восхищен в большевистской революции именно этой смелостью, именно этим рывком, но отнюдь не сущностью большевизма и не общественным идеалом большевиков.

В Революции — и великий свет и злая тьма, — поэт понимал, что большевики сделали ставку на теневые стороны революции:

«Желто-бурые клубы дыма уже подходят к деревням. Широкими полосами вспыхивают кусты и травы, а дождя Бог не посылает, и хлеба нет, и то, что есть — горит. Такие же желто-бурые клубы дыма, за которыми — тление и го-

рение, стелется в миллионах человеческих душ: пламя вражды, дикости, татарщины, злости, унижения, заботности, недоверия, мести, — то там, то здесь вспыхивают; русский большевизм гуляет, а дождя все нет и Бог не посылает его».

Трагедия красногвардейца, который расстрелял свою любовь, — самый напряженный мотив поэмы «Двенадцать». Мятёжная стихия претворяет страсть в преступление. Но эта поэма построена Блоком так, что трагедия красногвардейцев воспринимается нами, как трагедия России и русского народа. Профессор С. А. Алексеев-Аскольдов назвал русскую душу святозверем. Русский человек, в силу склада своей души, или святой, или тварь. «Незримый» выжигает из чувств и дум мятёжных красногвардейцев все то, что может напомнить им о святости; торжествующий зверь выпущен на простор и брошен на штурм старого мира.

«Незримому» и его соратникам удастся обуздать мятёжную стихию не только потому, что ими проявлены и находчивость и смелость, но еще и потому, что и «Незримым» и стихией руководит и жажда преобразования земного шара, и вера в то, что к этой обновленной земле можно прорваться через огонь и дым, через кровь и огонь. Чем сильнее страсть к разрушению, которой предается русский мужик и русский мастеровой, тем величественнее и прекраснее должен быть мир новый, тот, что будет воздвигнут на пепелище. Революция явилась для России и саморазрушением и самосожжением. Тяга к самосожжению вызывается безумной верой в то, что на обугленных развалинах могут возникнуть новые миры.

Эта вера в очистительную силу огня роднит и Ленина и русский народ.

Блок одно время тоже верил в то, что огонь может быть и целительным и всеочищающим:

«Петербург — грязь, Россия — грязь, всё, что осело пылью, догматами — стало грязью».

«Переделать всё: устроить так, чтобы всё стало новым. Чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала бы справедливой, веселой и праздничной жизнью».

«... И вот задача русской культуры — направить этот огонь на то, что нужно сжечь: буйства Стеньки Разина и Емельяна Пугачева превратить в волевою музыкальную волну; поставить разрушению такие преграды, которые не ослабят напор огня, но организуют этот напор. Организовать буйную волю, ленивое тление, в котором таится возможность буйства, направить в распутинские углы души и там раздуть его в костер, до неба, чтобы сгорела хитрая, ленивая, рабская плоть».

Но если большевизм и мятёжную стихию соединяла вера в то, что преображение Руси можно осуществить через огонь и кровь, то коммунисты и Россия совсем по-разному представляли себе, какими должны быть эти преображенные миры.

Для большевиков общественный идеал Карла Маркса — это новая религия, которая призвана отвергнуть и вытеснить христианство. В жертву этому новому богу большевики принесли старинные потемнелые образа Иисуса Христа. Русский большевизм — ожесточенный противник христианства. Для России же преображенный мир — это мир, которым владеет Иисус Христос, воспрянувший из пыли и мглы.

«Самосожжение, как религиозный подвиг, — пишет Н. А. Бердяев — русское национальное явление, почти неизвестное другим народам».

Александра Блока пленял не общественный идеал большевиков, а то стремление к новому миру, во имя которого русский мужик готов на самосожжение.

Отношение Блока к этому стремлению тесно связано с отношением поэта к русской религиозной идее.

К лику Иисуса Христа Блок простер руки давно:

Когда в листве сырой и ржавой
Рябины заалееет гроздь, —
Когда палач рукой костлявой
Вобьет в ладонь последний гвоздь,
Когда над рябью рек свинцовой,
В сырой и серой высоте,
Пред ликом родины суровой
Я закачаюсь на кресте,
Тогда просторно и далеко
Смотрю сквозь кровь предсмертных слез,
Я вижу по реке широкой
Ко мне плывет в челне Христос.
В глазах — такие же надежды,
И то же рубище на Нем,
И жалко смотрит из одежды
Ладонь, пробитая гвоздем.
Христос, родной простор печален,
Изнемогаю на кресте,
И челн Твой будет ли причален
К моей распятой высоте.

Раскольники, которые шли к Христу путем самосожжения, тоже с давних пор привлекали поэта:

Задебренные лесом кручи
И где-то там на высоте
Рубили деды сруб горячий
И пели о своем Христе . . .
И капли ржавые, лесные,
Таясь в глуши и темноте,
Несут истерзанной России
Весть о сжигающем Христе.

В бумагах некоего Левина, который сотрудничал вместе с Блоком в издательстве «Всемирная литература», хранилось стихотворение Всеволода Крестовского, подчеркнутое Блоком красным карандашом. Вдова поэта, Л. Д. Блок, говорила, что это стихотворение привлекло поэта во время работы над поэмой «Двенадцать»:

Мне снился торжественный сон,
Гас вечер на небе багровом,
И в воздухе грохот и стон
Носились в величьи уровом.
Под ядрами рушится дом,
Визжит и взвивается пламя,
И реет во пламени том
Кровавое красное знамя.

Вся улица кровью полна,
Весь город в смятении от страха,
И вот уж позорно видна
На площади черная плаха.
Вся улица в муках тоски,
Гремят вдалеке барабаны,
И ломаются массой полки
В завалы, в народные станы.
А там уж последний упал,
Конец их безумной надежде,
Но Кто-то над павшими встал
В сияющей тихой одежде
Над облаком дыма в огне,
Стоял Он на той баррикаде,
С терновым венком на челе
И с мукой предсмертной во взгляде.
Он руки вперед простирал,
Гвоздями пробитые руки,
И лик Его кроткий дышал
Блаженством божественной муки.
Ветвь мира для мира всего
Держал Он средь павшего стана
И в правом боку у Него
Сочилася новая рана.

Из интереса к такого рода стихам видно, что Блока давно интересовала проблема взаимоотношений религии и революции.

Незадолго до «Двенадцати» Блоком была задумана поэма о Христе.

Поэт увенчал «Двенадцать» образом Христа после мучительных сомнений и тревожных раздумий. В революции не только кровь и дикий, бесшабашный разгул, ибо она озарена великим светом. Свет исходит от Христа. Но образ Христа явится для Блока мучительной и сложной загадкой.

Неверно, что Блок благословил революцию именем Христа: для поэта Революция — борьба двух стихий — света и тьмы.

Красногвардеец Петр приходит в ужас от того, что сделано им. И вот убийца, которого тяготит содеянный грех, припоминает золотой иконостас православного храма. «Незримый» больше всего страшится этого мгновения. Он прилагает бешеные усилия к тому, чтобы убить раскаяние в душе Петра. «Незримого» — ошибочно отождествлять с Христом или с самим поэтом. «Незримый» — антихрист. И в поэме «Двенадцать» воспроизведена борьба между Христом и Антихристом. Борьба за обладание душой России. К огорчению, образ «Незримого» — расплывчатый и зыбкий. Мы не ощущаем его присутствия, а можем только догадываться о том, кто он и где он, — по последствиям действий, им проявленных.

Красногвардеец Петр и его товарищи пошли за «Незримым», полагая, что идут за Христом.

Сам поэт одно время колебался. За кем идти? За Христом или за «Незримым». Однажды поэт дошел до того, что готов был «возненавидеть этот женственный Призрак» (то есть Христа). «Дело не в том, достойны ли они Его (то есть красногвардейцы Христа), а страшно то, что Он опять с ними, а другого пока нет. А надо другого».

Присутствие другого мы в поэме «Двенадцать», повторяю, только ощущаем. Этот «другой» — антихрист, «Незримый». Но мятежный народ, который, хоть и

подчинен воле «Незримого», душой и сердцем не с «Незримым», а с Христом. Русская революция вызвана неопределенным стремлением к царству Божию на земле: Блок верил, что если это стремление и не приведет Русь к стенам Нового Иерусалима, то рано или поздно преобразит нашу страну, позволит ей освободиться от мучений и скорби. Поэт подчеркивает, что, заставив Христа возглавить красногвардейцев, он только констатировал факт, увидев Спасителя, замеченным петроградской мятежью. «Религия не только связана с реакцией. Возрождение России немислимо без ее религиозного возрождения».

Позднее, когда Блок пересмотрел свои взгляды на революцию, поэт от Христа не отрекся, не согласился с тем, что Христос, уходящий в мятежь и полумрак — только роковая галлюцинация, «из этого безысходного круга есть только один выход: раскрытие внутри самой России, в ее духовной глубине мужественного, личного, оформленного начала, овладение собственной национальной стихией, имманентное пробуждение мужественного светозного создания. И я хочу верить, что нынешняя мировая война выведет Россию из этого безвыходного круга, пробудит в ней мужественный дух, покажет миру мужественный лик России, установит внутреннее должное отношение европейского востока и европейского запада».

Всероссийская страсть к саморазрушению и самосожжению — роковая, преступная страсть.

Блок в поэме «Двенадцать» осудил страсть к самосожжению — и свою личную и всенародную: за вспышку этой страсти страна заплатила десятилетиями страданий и скорби.

Но и признав, что он был неправ, Блок продолжал настаивать на том, что образ Христа в самом конце поэмы не случаен, а закономерен.

Поэт стал жертвой гиперболической дальнорзости; веры в религиозное возрождение он не утратил, но только пришествие этого возрождения отодвинуто им в далекое будущее:

«— всё будет хорошо. Россия будет великой. Но, Боже мой, как долго ждать, как мучительно долго ждать».

«Россия — буря. России суждено пережить муки унижения, разделения, но она выйдет из этих унижений новой и по-новому великой».

Гиперболическая дальнорзость, которая делает конец поэмы «Двенадцать» непонятным и странным, вытекает из провозглашенного поэтом «принципа двух времен». Поэт, обретший духовную независимость, становится властелином пространств и времен. Настоящий поэт может одновременно существовать во всех временах: в настоящем, в прошлом и в будущем. Есть как бы два времени и два пространства: одно историческое — календарное, другое — неисторическое, музыкальное.

Блок иногда чувствовал себя человеком четвертого измерения. Станиславский в свое время осуждал поэта за то, что он слишком неожиданно переходит из календарного времени в музыкальное, и при этом теряет чувство меры. Станиславский, после долгих размышлений, решил, что осуществить постановку пьесы Блока «Песня судьбы» на сцене МХАТ'а невозможно из-за того, что зритель не поймет этого соскальзывания в иное измерение.

«— Считайте меня за сумасшедшего. Да, может быть, я уже на пороге безумия или прозрения. Всё, что было, всё, что будет, обступило меня. Точно в эти дни живу я жизнью всех времен, живу муками моей родины. Помню страшный день Куликовской битвы. Князь стал с дружиной на холме. Земля дрожала от скрипа татарских телег, орлиный клекот грозил невзгодой. Потом поползла зловеющая ночь и Непрядва убралась туманом, как невеста фатой. Князь и воевода стали под холмом и слушали землю. Лебеди и гуси мятежно плескались. Рыдала

вдовица. Мать билась о стремя сына. Только под русским станом стояла тишина и полыхала далекая зарница. Но ветер угнал туман, настало вот такое же осеннее утро и также, я помню, пахло гарью и двинулся с холма княжеский стяг. Но первые пали мертвыми чернец и татарин, рати сшибались и весь день дрались, резались, грызлись... а свежее войско весь день должно было сидеть в засаде, только смотреть и плакать и рваться в битву. И воевода повторял, остерегая, «рано еще, не настал наш час». Господи, я знаю, как всякий воин в этой засадной рати, как просит сердце работы и как рано еще, рано... вот зачем я не сплю ночей: я жду всем сердцем того, кто придет и скажет: «пробил твой час. *l'ra!*» — это монолог Германа, героя Песни Судьбы, но Герман-то живет не в средневековой Руси, а в двадцатом столетии. При этом Герман не устает подчеркивать, что он не сумасшедший, а человек, который видит дальше других и зорче других».

Концовка поэмы «Двенадцать» и объясняется той же гиперболической дальноркостью, присущей творчеству Блока: поэт перенес образ Христа из далекого будущего в современность.

Но как совместить ощущение самосожжения, — как греха, свойственного русской душе, — с искренней уверенностью в том, что Христос не отрекся от красногвардейцев?

Дело в том, что новые миры возникают не из обугленных развалин, и к ним, к этим мирам, Россия придет не через самосожжение, а через сознание греха, через стремление очиститься от злой тьмы. И вот тогда у поэта *вера в силу самосожжения сменяется преклонением перед раскаянием*. И в этом преклонении, быть может, и заточена основная идея «Двенадцати».

Гиперболическую дальноркость поэт переживал очень болезненно. В особенности потому, что многие или не видели этой его особенности (из всех деятелей искусства, знакомых с поэтом, если не ошибаюсь, только К. С. Станиславский понял Блока так, как его нужно понимать) или не прощали ему ее. Не случайно, поэтому, Блок в одном из последних стихотворений, посвященных Пушкину, намекнул, что, увенчав поэму «Двенадцать» образом Христа, он этим не благословил настоящее, а только предвидел грядущее:

Наши страстные печали
Над таинственной Невой,
Как мы черный день встречали
Белой ночью огневой.

Что за пламенные дали
Открывала нам река,
Но не эти дни мы звали,
А грядущие века.

Пропуская дней текущих
Кратковременный обман,
Прозревали дней грядущих
Сине-розовый туман.

Однако, поэту хочется верить, что гиперболическая дальноркость, которая была вечным спутником его творчества, в годы социальных катастроф и потрясений вслилась и в тысячеоковую Россию, охваченную безумием революции:

«Мы пережили безумие иных миров, преждевременно потребовав чуда: то же произошло ведь и с народной душой: она прежде срока потребовала чуда и ее испепелили лиловые миражи революции!»

5.

Анализ поэмы «Двенадцать» позволяет нам несколько по-новому осветить и поэму Александра Блока «Скифы», написанную сразу же после «Двенадцати».

«Скифы» Блока в какой-то мере перекликаются с его статьей «Крушение гуманизма». В этой статье Блок отмечает, что мы входим в такое время, когда цивилизация отрывается от культуры и становится достоянием запада; бессознательными же хранителями культуры являются варварские массы; «еще неизвестно, кто кого будет приобщать к культуре: цивилизованные люди варваров или же наоборот».

Как понимать эти слова?

Чем объяснить стремление Блока обручить друг с другом два, казалось бы, диаметрально противоположных, непримиримых мотива: азиатскую страсть к разрушению и стремление к мирному переустройству человечества:

Не сдвинемся, когда свирепый Гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить!

Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые крестцы,
И умирять рабынь строптивых...

Возможен ли от упоения страстью к разрушению — внезапный уход в мир и любовь:

В последний раз — опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!

.
Придите к нам! От ужасов войны
Придите в мирные объятья!
Пока не поздно — старый меч в ножаы.
Товарищи! Мы станем — братья!

В этой внезапной смене двух страстей раскрывается загадочная душа России:

Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя
И с ненавистью и с любовью.

«Русский народ есть народ будущего. Он разрешит вопросы, которые запад уже не в силах разрешить, которые он даже не ставит во всей их глубине. Но это сознание всегда сопровождается пессимистическим чувством русских грехов и русской тьмы, иногда сознание того, что Россия летит в бездну», — пишет Н. А. Бердяев в «Русской Идее» (стр. 73).

Та же самая мысль вправлена Блоком в художественный образ.

К берегам нового света Россия придет через раскаяние в содеянном преступлении. Петруха, герой «Двенадцати», уже прошел через первый приступ раскаяния, после того, как убил горячо любимую им Катюку. «Незримый» вернул его душе восторг убийства, восторг преступления. Но этот восторг неизбежно пройдет, и Петруха или его потомки поймут, что к обновлению земли не идут через страдание и кровь.

.

«Скифы» написаны несколько архаическим, тяжеловесным размером; очевидно, сказались усталость и спад волевого напряжения, с каким Блок работал над поэмой «Двенадцать»; но вся поэма, с начала до конца, проникнута — пусть туманно, неясно, мистически выраженной — мятущейся неистово страстной мыслью, которая преодолевает формальную, ритмическую тяжеловесность, заставляет забыть о ней.

Интеллектуальный импрессионизм «Скифов» обращен к чувству, к интуиции, но не к рассудку; вот почему эта маленькая поэма так трудно поддается рационалистическому анализу.

В 1918 году критик Лундберг установил преемственность «Скифов» от стихотворения Пушкина «Клеветникам России». «Что ж, случаются повторения и в истории», — писал по этому поводу Александр Блок. Далее говорилось, что на «Скифов» оказал влияние «Дракон» Владимира Соловьева, пронизанный страхом перед «панмонголизмом»:

Панмонголизм. Хоть слово дико,
Но мне ласкает слух оно.

Все эти влияния, в самом деле, сказались на творчестве Блока. Однако, следует обратить внимание на брошюру Бердяева «Душа России», (вышла в 1915 году, в серии издаваемых И. Д. Сытином брошюр «Война и революция»), которая отмечена Блоком и по мысли «во многом перекликается со «Скифами».

Н. А. Бердяев в этой брошюре не раз подчеркивает, что и душа России и ее исторические судьбы являют собой совмещение противоположностей.

«Им (то есть русским народом) можно очароваться и разочароваться. От него всегда можно ждать неожиданностей, он в высшей степени способен внушить к себе сильную любовь и сильную ненависть».

«В России давно уже нарождалось пророческое чувствование того, что настанет час истории, когда она будет призвана для великих откровений духа, когда центр мировой духовной жизни будет в ней...»

Это пророческое чувствование и раскрывается в идее мессианизма, в мессианском сознании.

«Мессианское сознание не есть националистическое сознание; оно глубоко противоположно национализму; это — универсальное сознание... Русский мессианизм не может быть связан с Россией консервативно-бытовой, инертно косной».

Бердяев подчеркивает, что русское «мессианское сознание» двойственно, ибо оно «замутнено, пленено языческой национальной стихией».

Где же выход?

«Тайна России может быть разгадана лишь освобождением ее от искажающего рабства темных стихий».

При этом Бердяев счел нужным указать, что «русский народ не был народом культурным, по преимуществу, как народы Западной Европы, он был более

народом откровений и вдохновений, он не знал меры и легко впадал в крайности». Этим свойством объясняется то, что в душе России любовь, в сравнительно недолгие сроки, претворяется в ненависть, а ненависть — в любовь.

Такой переход ярче всего проявляется в том периоде истории России, когда язычество было вытеснено пришедшей с Византии христианской культурой. Славянские племена с давних пор пытались взять Византию мечем. Походы Святослава Игоревича (942—972 гг.) кончились неудачей, а сын князя-конкистадора, Владимир Святославович, вынужден был отказаться от идеи завоевания Византии. Но если Византийскую культуру нельзя привести в Россию, как военный трофей, то у себя на Родине, в Киевской Руси, через мирное общение с Византией, можно построить культуру, которая, во многом исходя от Византийской, все же приобретет своеобразный облик, обусловленный русской самобытностью. Переход к христианству для Бердяева — это победа русского мессианского сознания над языческой национальной стихией, прыжок в свободу из рабства темных стихий.

Ожидая «повторений» в истории Блок предполагал, что после того как революционный пожар отгорит, комплекс Святослава будет вытеснен комплексом Святого Владимира, иными словами — на смену меченосному мессианизму, как и встарь, как тысячу лет назад, снова придет крестonosный мессианизм. Свойства русской души таковы, что переход этот будет стремительным, внезапным.

О том, что Блок страстно верил, что Россия променяет гнев и злобу на мир и любовь, можно заключить из письма, написанного Блоком Маяковскому 30 декабря 1918 года:

«Не так, товарищ!

Не меньше, чем вы, ненавижу Зимний дворец и музеи. Но разрушение так же старо, как строительство, и так же традиционно, как оно. Разрушая постылое, мы так же скучаем и зевает, как тогда, когда смотрели на его постройку. Зуб истории гораздо ядовитее, чем вы думаете: нарушение традиций — та же традиция. Над нами большое проклятие, — мы не можем не спать, мы не можем не есть. Одни будут строить, другие — разрушать, ибо «всему место под солнцем», но все будут работать, пока не явится третье, равно непохожее и на «строительство и на разрушение».

Итак, внезапный, стремительный переход из ненависти в любовь представляется Блоку тем свойством русского духа, которое всегда сопутствовало большим, революционным изменениям в социальной и духовной жизни нации.

Того же Александр Блок ожидает и от русской революции: комплекс Святослава или меченосный мессианизм, что одно и то же, захлестнувший Россию не извне, как встарь, а изнутри и раскрывшийся в Разинско-Пугачёвской стихии, должен быть сменен комплексом Сергия Радонежского, то есть крестonosным мессианизмом, который немыслим без смягчения жесточенности человеческих душ и без перехода к мирному труду, каковой массы должны воспринять, как божественное откровение, как творческую литургию. «Несчастен тот, кто не обладает фантазией, тот, кто всё происходящее воспринимает однобоко, вяло, безысходно. Жизнь воспринимается в постоянном качании маятника... из бездны отчаяния на вершину радости...»

Но Блок боялся, — достичь этих вершин будет невероятно трудно.

Тоска мучительных ожиданий усиливается у Блока скептицизмом, который, в какой-то мере, объясняется размышлениями над книгой «Политика в кругу наук», написанной еще в конце минувшего века А. Л. Блоком, отцом поэта. Блок в «Возмездии» признается, что он, по духу, по темпераменту, чужд иронически

аналитическим прозрениям своего отца, видного социолога и юриста, но забота о России, странным образом, заставляет отца и сына встретиться на самых тайных путях. К этой встрече привел идентичный взгляд обоих — А. Л. Блока (отца) и А. А. Блока (сына) на взаимоотношение Запада и Востока.

В «Политике в кругу наук» А. Л. Блок доказывает, что западный мир был всегда несправедлив к России, отвечая на дружбу коварством и обманом, на искренность — лицемерием и фальшью; страстная любовь Востока к духовной культуре вызвала у Запада насмешливо пренебрежительное отношение.

А. Л. Блок убежден, что русская аристократия будет рано или поздно отстранена от власти и заменена мужичьим царством, которое резко возьмется за насаждение в степях восточно-европейской равнины технической цивилизации. Дух созидания пробудит в русском сердце и гордость и духовную независимость, но эти качества неизбежно толкнут Россию в мировое зло. Пусть сталь и кровь соберутся на злую свадьбу! Огнем и мечом рассчитается Россия с западным миром. Сполна рассчитается за те унижения, что довелось ей изведать, отомстит за горечь и скорби, которые причинил ей Запад. Есть и у нас «дьявольская извортливость, насмешка, неллицемерность самого зла...!».

В этом разделе своей книги А. Л. Блок не без злорадной усмешки предчувствует, какой сюрприз преподнесет надменному Западу пробудившийся от спячки русский медведь.

Поэт Блок с ужасом убеждается в том, что отец его, Блок — социолог — может оказаться правым тогда. Идеи «Политики в кругу наук» мутили оптимизм Бердяевской «Души России». Запад надо предостеречь, надо доказать ему, что он, хотя бы из чувства самосохранения, должен помешать России впасть в мировое зло.

«Если вы хоть демократическим миром не смоете позора вашего военного патриотизма, если нашу революцию погубите, значит, вы уже не арийцы больше. И мы широко откроем ворота на Восток. Мы на вас смотрим глазами арийцев, пока у вас было лицо. А на морду вашу мы взглянем нашим косящим, лукавым, быстрым взглядом; мы окажемся азиатами и на вас прольется Восток. Ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины. Опозоривший себя, так изолгавшийся, уже не ариец. Мы варвары? Хорошо же. Мы и покажем вам, что такое варвары. И наш жестокий ответ, страшный ответ, будет единственно достойным человека».

У Византии, когда она содействовала принятию Киевской Русью христианства, была добрая воля, направленная к тому, чтобы претворить меченосный мессианизм в мессианизм крестоносный.

У современного Запада такой доброй воли нет. А проявись эта воля — повторение исторического преображения, изменившего облик России, могло бы стать действительностью.

«Скифы» проникнуты страстной жадой примирения Запада и Востока.

Если на Запад не подействует доброе слово, то, быть может, повлияет страх, который Блок и вызывает своим предостережением.

Но в то, что Запад рано или поздно проявит добрую волю для претворения русского мессианизма из меченосного мессианизма, Блок веры не утратил. Поэт не мог только примириться, что к этой воле Запад придет трагическим и страшным путем катастроф и падений.

«Всё будет хорошо! Россия будет великой!.. Но, Боже мой! Как долго ждать! Как мучительно долго ждать».

6.

«В переходные эпохи не может быть великих талантов, переходные эпохи значительны именно тем, что оскудевает стихия, но зато слышны звонкие удары человеческого молота.»

Поэт чувствовал, что вместе с оскудением стихии, оскудевает его собственная душа.

Дух революции отлетел от России — дух творчества отошел от поэта. Блок еще крепится, пробует работать. Он хочет «бросить в сердце дикаря искры Прометеева огня». Поэт становится руководителем репертуарной части Большого Драматического театра. Им составляется текст вступительных речей, с которыми актер Монахов обращался, перед началом представления, к новому зрителю, то есть к рабочим и красногвардейцам. Тексты вступительных речей написаны Блоком по поводу предпринятых театром постановок: «Леди Макбет», «Отелло» и «Много шума из ничего» Шекспира, «Разбойников» и «Дона Карлоса» Шиллера, «Дантона» Марии Левберг и др.

«Нужно не прятаться от жизни, не ждать никаких личных объяснений, а смотреть в глаза происходящему, как можно пристальнее, с напряжением... В этом залог успеха всякой работы и нашей работы, в частности.»

Поэт пишет ряд статей, работает над прозаической «Исповедью язычника».

«Но раз в этой жизни есть столь страшные провалы, раз возможны случаи, когда порок не побеждает и не торжествует, но и добродетель также не торжествует, значит надо искать другой выход, более совершенный.»

Одно время Блок полагал, что выход — в необходимости работать над тем, чтобы сохранить от разрушения культуру минувшего.

Варварские массы еще не доросли до того, чтобы приобщиться к настоящей культуре. Но эта культура будет — рано или поздно — необходима массам, как воздух.

Русская культура вступает отныне в Александрийский период, то есть в период собирания и накопления духовных ценностей. Но на ранних порах заинтересованы в этом не власть и не народ, а немногочисленные представители старой интеллигенции, уцелевшие от голода и репрессий. Поэтому всякое культурное начинание немислимо без ухода в катакомбы. Размышления над судьбами русской культуры привели поэта к тому, что он изменил отношение к традициям: традиции надо не разрушать, а сохранять, очищая жизнеспособное от отжившего — таким образом, чтобы минувшее соединялось с будущим через преображение настоящего.

Вот почему Александр Блок стал по-иному, по-новому относиться к церкви. И до революции, и после нее Блок с болью в душе признавал, что дух Иисуса Христа отошел от церкви, — и от католической, и от православной.

Гнусавой мессы хор протяжный,
И трупный запах роз в церквах,
Весь дым тоски многоэтажной, и
Синь в очистительных веках!

«Церковь умерла. Храм стал продолжением улицы.»

«Если бы в России существовало, действительно, духовенство, а не сословие нравственно тупых людей духовного звания, оно бы давно учло то обстоятельство, что Христос — с красногвардейцами.»

К. С. Мочульский правильно отметил, что эти отзывы принадлежат не атеисту, а христианину, который разгневан тем, что церковь и духовенство отныне недостойны служить Христу. Но позднее Блок стал к церкви как-то мягче, доверчивее.

«Русские всегда ведь думают о церкви. Мало кто совершенно равнодушен к ней; одни ее очень ненавидят, а другие любят: и то и другое с болью...»

«И я тоже ходил когда-то в церковь. Правда, я выбирал время, когда церковь пуста... В пустой церкви мне удавалось иногда найти то, что я напрасно искал в мире...»

«Я очень давно не исповедовался, а мне надо исповедоваться...»

Восторг перед революцией уступает место разочарованию в революции и чувству раскаяния.

Раскаяние привело поэта не к совершенству, а к нестерпимым мучениям. Человек сравнительно легко переносит физические страдания, когда он переживает душевное горение, позволяющее превозмочь болезнь, но когда перегорает душа, то мучения физические дополняются и усложняются душевными страданиями. В Пушкинском Доме Блок произносит речь, посвященную годовщине со дня смерти Пушкина:

«Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура».

«... Поэт умирает, потому что дышать ему нечем... Жизнь потеряла смысл.»

В этих словах Блок говорил не только о Пушкине, но и отчасти о себе самом. Поэт чувствовал, что он задыхается, ибо умерла не только культура, которая помогла ему раскрыть самого себя, но и выстраданные им мечты. В этом смысле Блок — тоже жертва большевистской эпохи.

Вот зачем в часы заката,
Уходя в немую тьму,
С Белой площади сената
Низко кланяюсь ему.

Такими словами заканчивает Блок стихотворение, обращенное к Пушкину.

В сопоставлении трагедии Блока и трагедии Пушкина нельзя усмотреть параллель или историческое повторение. В полицейском государстве Николая Первого была закована в кандалы явная свобода человека и творца, но тайная свобода, то есть свобода внутреннего мира, свобода душевных переживаний и сердечного воображения оставалась неприкосновенной. Блок же, с мучениями и болью, почувствовал, что большевизм схватывает за горло тайную свободу, от чего художник может стать чужим собственной душе, утратить свое «я».

«Интеллигентных людей, спасающихся положительными началами науки, общественной деятельности, искусства — всё меньше; мы видим это и слышим каждый день. Это естественно, с этим ничего не поделаешь. Требуется какое-то иное, высшее начало. Раз его нет, оно заменяется всяческим бунтом и буйством, начиная от вульгарного «богоборчества» декадентов и кончая неприметным и откровенным самоуничтожением — развратом, пьянством, самоубийством всех видов.»

Блок слишком устал и был слишком надломлен для того, чтобы удалиться в буйство от жизни, отравленной горечью и скукой.

Поэт угасал, задыхаясь в новой эпохе, которую оставил «дух музыки».

Александр Блок умер 7 августа 1921 года, в 10 часов утра. 10 августа состоялись похороны. «Синий жаркий день 10 августа. Синий ладанный дым в тесной комнате. Чужое, длинное с колючими усами, с острой бородкой лицо — похожее

на лицо Дон Кихота... Полная церковь смоленского кладбища. Косой луч в куполе, медленно спускающийся все ниже. Какая-то неизвестная девушка пробирается через толпу к гробу, целует желтую руку, уходит». (Евгений Замятин).

Над могилой водрузили простой некрашенный деревянный крест!

В записной книжке поэта есть зарисовка, которую можно рассматривать как символ.

«Мороз. Какие-то мешки несут прохожие. Почти полный мрак. Какой-то старик кричит, умирая с голода. Светит одна ясная и большая звезда.»

Александр Блок умер с неугасшей верой в грядущее Возрождение России. Вера эта, как ясная и большая, но далекая звезда, осветила своим сиянием трагический закат большого поэта *).

*) Глава из книги, принятой к изданию, в английском переводе, издательством Фредерика Прегера.

НЕТЛЕННАЯ КРАСА

(О романе Б. Пастернака «Доктор Живаго»)

«Есть и нетленная краса...»

(Ф. И. Тютчев)

Книги, как и люди, имеют свою судьбу. Они рождаются в замысле художника, появляются на свет в творческих муках, радуют и волнуют людей, или остаются незамеченными, и, наконец, превращаются в пыль и предаются забвению. Лишь немногие книги становятся для людей «Вечными спутниками» (так назвал Мережковский одну из лучших своих книг). Эти книги берегут, переплетая с любовью пожелтевшие страницы, эти книги находят в походных сумках убитых солдат, для которых они были последним утешением, мудрым, молчаливым советником у порога тайны смерти... Эти книги прячут и сохраняют от сожжения. Ибо книги, как и люди, гонимы: с ними борются, их ненавидят, и каждая эпоха готовит каким-то книгам костры своей инквизиции...

Борьба вокруг последней книги Бориса Леонидовича Пастернака «Доктор Живаго» началась тогда, когда книга еще находилась в рукописи. Б. Л. Пастернак закончил работу над романом более 3 лет тому назад. Журнал «Знамя», номер 4 за 1954 год, опубликовал ряд стихотворений, составляющих заключительную часть романа. Как мы узнаем теперь, из цикла стихотворений редакция «Знамени» старательно удалила все стихотворения, имеющие религиозную тематику или направленность. Эти стихотворения попали в свободный мир значительно позже. В 1956 и 1957 годах советское радио повторно сообщило о предстоящем выходе романа в свет. В связи с этими слухами миланское издательство Фельтринелли обратилось к Б. Л. Пастернаку, чтобы обеспечить за собой право на итальянское издание романа. Автору удалось исполнить желание издательства, которое получило рукопись романа прямо от автора.

В связи с итальянским изданием романа «Доктор Живаго» между Б. Л. Пастернаком и Гослитиздатом возникла переписка. Партийная власть не хотела допустить, чтобы роман вышел в свет в первоначальном, задуманном автором, виде. Дело не ограничилось перепиской. Как сообщил Б. Л. Пастернак корреспонденту «Нью-Йорк Таймс» Макс Френкелю, к нему был приставлен «молодой и полный энтузиазма коммунист, для помощи в усовершенствовании романа». Наконец, летом 1957 года партийные вершители литературы потребовали от Б. Л. Пастернака, чтобы он забрал свою рукопись у итальянского издательства, для «внесения некоторых поправок». Итальянское издательство отказалось это сделать, указав, что роман уже находится в наборе. Первое итальянское издание «Доктора Живаго» вышло в свет 15 ноября 1957 года. В течение того же ноября месяца появилось второе и третье издание романа.

Победа была одержана — задушить, исказить произведение еще в рукописи не удалось. Книга, о которой в предисловии к итальянскому изданию ска-

зано, что она делает честь автору и великой литературе его страны, победила в первой схватке с гонителями...

Первый аккорд романа звучит приглушенной печалью. Похороны Марии Николаевны Живаго. Холодный ветер, пение псалма «Господня земля и исполнение ее», толпа любопытных и, у свежей могилы матери, десятилетний Юра Живаго, — с отсутствующим взглядом темных глаз. В этот осенний день 1903 года для него начинается жизнь полная печали и разочарований, но и полная неистребимой духовной красоты, над которой не властны ни война, ни революция, ни голод, ни даже его собственные ошибки и заблуждения. Его жизнь — как звучание псалма над обезображенной холодной непогодой землей: печаль, в которой нет места отчаянию, ибо жив Тот, Кто выше печали...

Юра остается круглым сиротой — его отец разорился и покончил с собой задолго до смерти матери Юры. Мальчик остается на попечении дяди, Николая Николаевича Веденяпина. Идеалист и поборник реформ, Веденяпин лишен, за «опасные идеи», государственной службы и подолгу живет в Швейцарии. Но его революционность иная чем та, которая определит собой судьбу России через роковые события 1905 и 1907 годов. Веденяпин не за революцию восставших рабов, стремящихся утвердить свое рабье мировоззрение сытости и довольства, а за ту внутреннюю революцию, которая проходит без крови и насилия, совершается в сердце и поднимает человека на вершину творчества.

Беседа с ироническим, преуспевающим обывателем дает Веденяпину повод раскрыть свое мировоззрение:*)

«Сегодня широко распространены кружки и объединения всякого рода, и это начало стадности — прибежище для всякого рода бездарностей, независимо от того, кому они присягают в верности — Соловьеву, Канту или Марксу.

Только одинокие ищут истину и они порывают общение со всеми, кто недостаточно любит одиночество. Что на свете заслуживает того, чтобы быть ему верным до конца? Таких вещей очень мало. Я думаю, что нужно быть верным бессмертию, этому иному, более содержательному, определению понятия жизни. Быть верным бессмертию, быть верным Христу... Вы не понимаете, что можно быть атеистом, что можно не знать, существует ли Бог, и в то же время знать достоверно, что человек живет не в природе, а в истории — и что история, в том смысле как она понимается сегодня, была основана Христом, что основа нашей истории — в Евангелии. Но что такое история? Это есть исходный принцип для векового труда — постепенно разрешать тайну смерти и, в будущем, победить саму смерть. Для этого открывают математическое бесконечное и электромагнитные волны, для этого пишут симфонии. Но для открытий такого рода необходима некая духовная направленность и, в этом смысле, задатки такой направленности даны в Евангелии. Вот они. В первую очередь — это любовь к ближнему, это высшая форма жизненной энергии, которая заполняет собой сердце человека и требует расширения, требует того, чтобы ее использовали до конца. Далее — основные установки сегодняшнего человека, без которых он не мыслим — а именно: требование личной свободы и понимание жизни, как самопожертвования. Древние, в этом смысле, не имели истории. Что было тогда? Кровавое бессердечие жестоких Калигул, которые даже не подозревали, свидетельством какой бездарности является любой акт порабощения. Это была пышная, мертвая вечность бронзовых памятников и мраморных колонн. Только после Христа века и поколения людей вздохнули свободно. Только после Него началась жизнь, продолжающаяся в последующих поколениях, и человек не умирает больше на

*) Цитаты переведены с итальянского автором статьи.

улице... а в своем доме, в истории, умирает на вершине творчества, направленного на преодоление смерти...

Древний мир кончился Римом, кончился из-за перенаселенности... Рим был базаром богов, взятых напрокат, городом поработанных народов, тройным узлом, завязанным на самом себе. Скифы, сарматы, гипербореи... тяжелые лица, глаза, потонувшие в жире, звериная жестокость, рыбы, откормленные мясом убитых рабов, неграмотные императоры. На свете было больше людей, чем в последующие времена, и они были поработаны, их терзали в подвалах Колизея...

И вот посреди этой оргии дурного вкуса, оргии золота и мрамора, явился Он — легкий и облеченный в свет, изначально человеческий, нарочито провинциальный Галилеянин, и с этого момента народы и боги перестали существовать и начался человек... имя которого не звучало больше торжественно и жестоко, человек, щедро открытый всем материнским ласкам и всем картинным галереям мира...

«— Метафизика, батенька», — благодушно похлопывает Веденяпина по плечу обыватель.

«— Метафизика!» — как злобное эхо вторят ему партийные критики.

Благодушная, сонная Россия дореволюционных лет, одинаково безразличная и к Леонтьеву и к Бакунину, мечтающая о том, чтобы «на перины пуховые в тяжелом завалиться сне» — и иная, «вздыбленная Россия», полная злобного, жестокого мессианизма и развязанных страстей — таковы Сцилла и Харибда, между которыми суждено пройти герою романа. Эту судьбу разделяет с ним его поколение — студенческая молодежь, увлекающаяся Блоком и, в призме волнующей блоковской поэзии, преломляющая страшную реальность революции.

События 1905 года. Юра Живаго еще далек от политических интересов. Но ритм революции уже владеет страницами романа. По неспособности руководителей вовремя предупредить об опасности, студенческая демонстрация попадает под нагайки казаков. Вот он — образ революции, которая из кабинетов теоретиков спустилась на улицу: восторженные студенты, бессильные руководители и казаки, которые «должны исполнять приказ». Трагическое предупреждение, недостаточно услышанное ни справа, ни слева...

Судьба еще дарует Юрию Живаго несколько спокойных лет. Он учится в университете, кончает медицинский факультет. Студенческие годы Юрий Андреевич проводит в семье профессора Александра Александровича Громеко. И как-то само собой получается, что он женится на дочери Громеко Антонине Александровне. Нельзя назвать это браком по расчету — в своих дневниках Юрий Андреевич посвятит жене страницы, исполненные благодарности и ласки. Но он любит ее той несколько внешней любовью, которая объединяет людей одного круга, хорошо знающих друг друга. От Тони, ее породистого лица и густых волос, веет покоем, прибежищем — в жизни Юрия она скорее материнское, чем женское начало.

Подлинная любовь, мучительная и разрушительная, как страстный порыв бунтующей революционной стихии, войдет в жизнь Юры позднее. Лариса Гишар появляется на его пути в самые трагические моменты жизни — и в Москве, и во фронтовом лазарете во время мировой войны, и на Урале, уже после революции. Ее гордой и замкнутой натуре всю жизнь суждено терпеть унижения. Приехавшая в Москву из провинции семья Гишар попадает в зависимость от темной личности, либерального адвоката и дельца Комаровского. Комаровский вступает в связь с шестнадцатилетней Ларисой: Желая всеми силами избавиться от него, Лариса, на елке у общих с Юрием знакомых, Свентицких, стреляет в Комаровского, но неудачно. Позднее Лариса выходит замуж за Павла Антипова, сына сосланного за революционную деятельность железнодорожника.

Затаенная горечь обид и разочарований, до времени скрытая под покровом привычной, мирной жизни, жестоко отомстит за себя в годы революционного разгула.

Начинается Мировая война. На фронте доктор Живаго живет своим внутренним миром, его чуткая совесть и ясный глаз художника судят все происходящее по-своему. События не владеют им, он лишь внешне подчиняется их потоку, вспоминая мудрое спокойствие любимых стихов. Случайно Живаго становится свидетелем отвратительной сцены — казак избивает нагайкой старика-еврея. Как и для Гамлета, для Юрия Андреевича зло и неправда мира — повод для размышления, для искания правды, а не для активного «противления злу силой». Рассуждая о судьбе еврейства, Живаго говорит своему другу:

«Когда в Евангелии говорилось, что в Царстве Божием нет ни эллина, ни иудея, неужели это означало только, что перед Богом все равны? Нет, для этого не было необходимости в Евангелии, это знали уже раньше философы Греции, римские моралисты, пророки Ветхого Завета. Нет, Евангелие хотело сказать другое: в этом новом виде бытия, которое мыслится из сердца и которое называется Царствием Божиим, нет народов, а есть личности... Христианство, тайна личности — есть именно то, что должно быть воплощено в жизни для того, чтобы жизнь получила для человека смысл».

Раненый Живаго попадает в лазарет, помещенный в помещицьем доме, покинутом владельцами. Разоренное «дворянское гнездо», ставшие вдруг пустыми и холодными комнаты, и два несчастных, бестолковых существа — пожилая француженка — гувернантка мадемуазель Флэри и старая кухарка, оставшиеся как будто лишь для того, чтобы придать еще большую пронзительность внезапно наступившему разорению — вот та обстановка, на фоне которой происходит новая встреча Юрия Андреевича с Ларисой.

Лариса приехала на фронт сестрой милосердия, чтобы разыскивать своего мужа Павла Антипова, который, по слухам, погиб.

Лариса и Юрий Андреевич расстаются, едва признавшись друг другу в том чувстве, которое надвинулось на них как рок, такой же загадочный и неизбежный, как революция, приближение которой чувствуется на каждом шагу.

Развал фронта. Опьяненные пока еще бескровной революцией, молодые офицеры забавляются доставшейся даром свободой, как игрушкой. Растревоженную, сбитую с толку солдатскую массу они думают уговорить «воевать до победного конца». Но для солдат слово «свобода» имеет совершенно иной смысл. На потоки восторженных слов они отвечают недобрый, настороженным молчанием. Живаго, молчаливый участник офицерских разговоров, слушает молодого идеалиста, который наивно репетирует перед ним свое выступление перед солдатами:

«Я им скажу: братья, посмотрите на меня. Я, единственный сын, надежда моей семьи, отдал всё, пожертвовал моим именем, моим положением, любовью моих родителей, чтобы завоевать свободу, равную которой не имеет ни один народ на свете. Это сделал я и большое число таких же молодых, как я, не говоря уже о старой гвардии наших славных предшественников, народовольцев Шлиссельбурга. Что, может быть мы это сделали для самих себя? Неужели нам это было нужно? Теперь мы уже не простые партизаны, как раньше, а воины первой революционной армии мира. Спросите себя честно — заслужили ли вы столь высокое наименование? В то время как родина ценой кровавых слез, сверхчеловеческих усилий, стремится освободиться от вражеской гидры, обвинившей ее, вы даете себя обмануть банде неизвестных авантюристов, превращаетесь в бессознательную толпу, которая пожирает собственную свободу... Для вас что ни

дай — всё мало, прямо по поговорке: пусти свинью под стол, она и ноги на стол... О, я их заставлю понять, я их устыжу...»

«В продолжении всего этого времени Юрий Андреевич чувствовал стремление встать и уйти. Непосредственность комиссара раздражала его... Эта непосредственность выражалась в потоке слов — лишних, без вывода, смятенных слов — выражалась именно в том, от чего так жаждет освободиться жизнь. О, как вдруг захотелось бежать от этого пустословия людей в ясную молчаливость природы, в бесшумное обиталище длительного, упорного труда, в содержательность глубокого сна, в ту истинную музыку, что рождается из молчаливой встречи сердца с чувствами, сердца, которое умолкло, будучи наполнено до предела...»

После развала фронта доктор Живаго возвращается в Москву и снова начинает работать врачом в Крестовоздвиженской больнице. По-прежнему он лишь молчаливый свидетель того, что творится вокруг, он не делает выбора «с кем идти» и «против кого». Мысли его противоречивы и сокровенны. Революцию он принимает как рок, как неизбежность — но в своих оценках он не сближает революцию с Апокалипсисом, с «царством зверя». Если он и обращается к образам Евангелия, то, скорее всего, к той атмосфере первозданной ясности, которой дышит эта книга, а не к ее страницам, полным пророческого гнева.

В разговоре он роняет такие слова:

«Вчера я присутствовал на ночном митинге. Необычайное зрелище! Матушка Русь двинулась с места, уже не может остановиться, идет вперед, теряется, говорит, ищет выражения. И говорят не только люди. Встретились и разговаривают деревья и звезды, ночные цветы философствуют и каменные дома держат совет. Нечто евангельское, не правда ли? Как во времена апостолов. Помните, у Павла? «Говорите языками и пророчествуйте. Молитесь, чтобы был дан вам дар истолкования...»

Половину этого сделала война довершила революция. Война была искусственным истолкованием жизни, как будто возможно единым жестом обернуть жизнь вспять... революция вспыхнула ненамеренно, как вздох, который слишком долго задерживали в груди. Каждый оживился, вернулся к жизни, всюду происходят изменения. Можно было бы сказать, что в каждом человеке произошли две революции — одна настоящая, личная, а другая — всеобщая. Мне кажется, что социализм — это море, в котором должны слиться, как ручейки, все эти отдельные, личные революции, море жизни, море подлинности каждого из нас. Да, море жизни, той жизни, которую можно видеть на картинах художников. Жизни, как ее прозревает гений, который ее творчески обогащает. Да, в наше время люди решили не экспериментировать больше в книгах, они экспериментируют на самих себе, не отвлеченно, а на практике...»

Б. Л. Пастернак поясняет еще дополнительно мысли и чувства своего героя:

«В круг его мыслей входила верность революции и ее вдохновению. Революция в том смысле, как ее восприняла... студенческая молодежь 1905 года, восторгавшаяся Блоком. В этот круг мыслей входили те обещания и предчувствия нового, которые показались перед войной, между 1912 и 1914 годом, в русской мысли, в русском искусстве и в русской судьбе... Теперь, когда для него война окончилась, он чувствовал желание вернуться в эту атмосферу, чтобы ее возродить и продолжить, так же, как он чувствовал желание вернуться домой, после столь долгого отсутствия... И другое, новое вошло в его сознание... Это новое была война с ее кровью и ужасами, с ее бесконечностью и варварством. Это новое был созревший опыт и мудрость жизни, которой научила его война. Это новое были далекие города, куда его забросила война и те люди, с которыми она его свела. Это новое была революция, уже не та идеализированная революция, какой ее видели в 1905 году в университете, а революция настоящая, рожденная

войной, кровавая революция солдат, которая ни с чем не считалась и которой руководили те, кто больше всего знали в революции толк — большевики...»

Революция открывает свой подлинный лик — не желанного освобождения от гнетущей духовной атмосферы предреволюционных лет, а лик холода и обнищания. Жизнь сведена к физическому существованию. Чтобы хоть немного согреть помещение, где он ютится с семьей, Живаго крадет дрова и, оглядываясь, несет их домой.

Спасаясь от голода и лишений, Юрий Андреевич с женой и тестем решают уехать на Урал, где у деда Антонины Александровны было когда-то имение. Длительная, мучительная поездка на Урал... В дороге — встречи с большевистским карателем Стрельниковым, с фанатиком-большевиком Самдевятовым. Стрельников — не кто иной, как Павел Антипов, муж Ларисы. Он не погиб на фронте, как думала Лариса, а вернулся из немецкого плена. К моменту встречи с Живаго, Стрельников-Антипов руководит, почти независимо даже от большевистского командования, жестоким, как он сам, карательным отрядом. Все страсти обиженной, фанатической души владеют Стрельниковым. Любой ценой он ищет самоутверждения:

«Две основные черты, две страсти владели им. Его мысли обладали исключительной ясностью и равновесием. Он обладал редкой степенью чувства справедливости и честности, благородства и возвышенности души. Но для того, чтобы быть ученым, открывающим новые пути, его уму не хватало того творческого дара, той силы, которая неожиданными открытиями ломает бесплодную гармонию предвидимого. Таким же образом, для того, чтобы творить добро, его последовательной принципиальности не хватало той непоследовательности сердца, которая не знает общих случаев, а знает лишь отдельные случаи и которая велика потому, что действует в малом.

Стрельников, который с мальчишеских лет стремился к благородному и возвышенному, рассматривал жизнь как огромную арену, на которой люди, при условии честного соблюдения правил и законов, могут достигнуть совершенства. Когда выяснилось, что это не так, ему не пришло в голову, что он рисовал себе устройство мира слишком схематически. Он затаил в себе надолго обиду и в глубине сердца лелеял мечту — в один прекрасный день вознестись судьей над жизнью и тем мрачным началом, которое эту жизнь калечит, стать защитником жизни и мстителем за нее.

Разочарования исполнили его горечью. Революция обеспечила его оружием».

Другое дорожное знакомство Живаго — Самдевятов. Свою странную фамилию Самдевятов объясняет тем, что он — незаконный сын одного из князей Сан Донато. В революции он приветствует мстительницу за тех, кого угнетали «господа». Марксизм для него — «позитивная наука».

Живаго отзывается на это горькой улыбкой:

«Марксизм и наука?.. Марксизм слишком мало владеет сам собой, чтобы быть наукой. Науки имеют равновесие. Марксизм и объективность? Я не знаю другого течения, которое было бы так далеко от фактов, как марксизм. Всеми владеет стремление проверять себя на практике, а правящие лица делают всё от них зависящее, чтобы повернуться спиной к истине для того, чтобы сохранить легенду о собственной непогрешимости. Я терпеть не могу политику. Мне не нравятся люди, не любящие правды...»

Укрыться, спастись — это желание владеет Юрием Андреевичем после голодной, подавленной революцией Москвы, после длительного, тяжелого путешествия. В бывшем имении на Урале, где Юрий Андреевич и его семья нашли приют, силы снова возвращаются к нему. Древняя правда кормилицы-земли, близость с матерински-заботливой Тоней возвращают его к той подлинно-реаль-

ной жизни, которую хотела у него отнять бессердечная «идейность» революции. В свой дневник Юрий Андреевич заносит, в эти дни, полные покоя и радости строки:

«Я думаю, что Тоня беременна. Я ей говорил об этом. Она не разделяет моего убеждения, но я в этом уверен. Даже до того, как появятся более верные признаки, я не могу ошибиться. Лицо женщины меняется. Нельзя сказать, что лицо женщины дурнеет, но ее внешний вид, прежде столь хорошо известный, становится загадочным. Ею уже владеет то будущее, что рождается в ней. Мне всегда казалось, что всякое зачатие непорочно, что в этом догмате, относящемся к Божией Матери, выражается всеобщая идея материнства. В каждой женщине, которая рождает, заключено чувство одиночества, оставленности, направленности только на саму себя. Мужчина остается чуждым, непричастным ее тайне. Женщина одна рождает свое собственное творение и отходит с ним в иную сферу бытия, где больше тишины. И одна, в молчаливом смирении, питает и растит свое творение. Мы обращаемся к Божией Матери: «Моли прилежно Сына Твоего и Бога», — «И возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем. Ибо Он призрел на смирение рабы Своей и отныне будут ублажать меня все роды...» Но тоже самое может сказать каждая женщина. Ее Бог — в ребенке. Матерям великих людей должно быть знакомо это чувство. Но все матери — матери великих людей, и не их вина, если жизнь их впоследствии разочарует...»

Но и в этом «медвежьем углу» настигает Юрия Андреевича революция и распад. Распад душевный — новая, мучительная встреча со своей «жестокой любовью» — Ларисой, и революция внешняя, в образе беспощадной гражданской войны.

При встречах с Ларисой Юрий Андреевич, как бы стараясь уйти от темы их «неправедной» любви, беседует с ней о революции.

Лариса: «Вы изменились. Раньше вы не говорили о революции с такой горечью, с таким отвращением».

Живаго: «Всё имеет свои границы, Лариса Федоровна. За это время мы должны были бы куда-нибудь придти. Вместо этого стало ясно, что для вдохновителей революции маразм убийств и насильственных изменений — их родное лоно. Они питаются не хлебом, им нужно нечто, имеющее размер, по меньшей мере, земного шара. Построение новых миров, переходные периоды, для них — главная цель, самоцель. Они ничему другому не научились, ничего другого они делать не умеют. И, знаете, из чего рождается это непостоянство непрерывных изменений? Оно рождается из отсутствия точных дарований, из отсутствия таланта. Человек рождается для того, чтобы жить, а не для того, чтобы готовиться к жизни, и сама жизнь, феномен жизни, дар жизни есть нечто бесконечно серьезное! Зачем заменять этот дар жизни мальчишеской арлекинадой незрелых нововведений, этим бегством чеховских школьников в Америку?»

Но эта бездарная, жестокая жизнь революция захватывает Живаго путем прямого физического насилия. Когда Юрий Андреевич возвращается от Ларисы, его захватывают красные партизаны, устроившие засаду, чтобы заставить Живаго поступить в отряд, нуждающийся во враче. Два года Юрий Андреевич проводит в партизанском отряде, который действует в тылу Колчака. Он — свидетель страшной расправы, террора и контртеррора «бессмысленного и беспощадного». Когда ему удастся бежать, он, как гонимый зверь, пробирается домой, в то тихое пристанище, где он нашел временный покой, к семье. Но Тоня и Александр Александрович вернулись в Москву. Оттуда профессора Громеко выслали за границу. Тоня уехала с отцом.

Остается только Лариса, последняя точка опоры в обезумевшем и распавшемся мире. Ему удастся найти Ларису, но в Юрятин, где они живут, прибывает

революционный трибунал под предводительством Антипова — отца ее мужа. Живаго и Ларисе грозит гибель. Спасение приходит неожиданно, как злая насмешка судьбы, как последний удар, от которого Живаго уже не оправится никогда. В Юрятин приезжает преуспевающий при всех режимах Комаровский, бывший адвокат, а ныне советский сановник. Он едет на Дальний Восток, чтобы основать там дальневосточную советскую республику. Спасая Ларису от революционного трибунала, Живаго жертвует своей и ее любовью и сажает ее в поезд Комаровского. Навсегда опустошенный Юрий Андреевич возвращается в Москву. А Павел Антипов, бывший каратель, дошедший до безумия от им же учиненных кровавых расправ и попавший в немилость у советской власти, кончает собой, не найдя Ларису в Юрятине.

Жизнь кончилась, для главных героев романа начинается прозябание, медленное схождение в могилу. Торжествует Комаровский, новоявленный советский сановник. Можно только спросить — во время какой чистки будет он расстрелян?

Доктор Живаго еще несколько лет живет в Москве, пытается заниматься литературной работой, возвращается к профессии врача. Ему покровительствует бывший швейцар дома Громеко, на дочери которого, примитивной и грубой женщине, женится Живаго. Швейцар «благоволит» к бывшим «господам» — хотя они «держали его в темноте и скрывали от него, что человек происходит от обезьяны». Предел унижения достигнут... В 1929 году Юрий Андреевич Живаго умирает от разрыва сердца, сходя с трамвая. Из окружившей упавшего толпы выделилась пожилая женщина — «остановилась, посмотрела на мертвого, послушала разговоры и пошла дальше».

«Это была швейцарская подданная, мадемуазель Флэри... теперь уже очень пожилая. Она уже в продолжении двадцати лет просила разрешения на выезд из России, чтобы вернуться на родину, и лишь недавно на ее прошение пришел благоприятный ответ... Она прошла дальше, далекая от предположения, что прошла мимо Живаго и пережила его...»

«Акварельный» рисунок смерти, последний луч гаснущего дня...

Эпилог романа переносит читателя в сорок третий год. Друзья Живаго — профессора Гордон и Дудоров — вспоминают Юрия Андреевича и события последних лет. Дудоров побывал в ссылке, Гордон прошел войну в «батальоне смертников».

«Я знаю, — говорит профессор Дудоров, — что коллективизация была ошибкой и что эту ошибку не могли не видеть, не признать на верхах. Но чтобы скрыть этот провал, пользуясь всеми средствами террора, необходимо было сделать так, чтобы народ разучился критически мыслить. Нужно было заставить его видеть то, чего не существовало, а для этого нужно было иллюзорно показывать ему противоположное видимому. Отсюда неслыханная жестокость периода Ежова, отсюда обнародование конституции, которая была неприложима к действительности, введение выборов без выборности...»

В русской литературе есть знаменитая критическая статья Гончарова о «Горе от ума» Грибоедова — «Миллион терзаний». Так мог бы быть сглавлен и роман Б. Л. Пастернака.

Это произведение — радикальное отрицание советской системы и мировоззрения, но в нем нет барабанного боя антикоммунизма. Партийная власть не может не возненавидеть этот роман. Некоторые круги эмиграции не простят герою романа попытки увидеть в революции какую-то, пусть частичную, правду. Роман этот глубоко оптимистичен, ибо учит вере в непобедимость человека, научившегося или вновь обретшего способность говорить только правду, но перед ли-

цом этой трагичной и выстраданной правды неуместна всякая «слишком ранняя осанна».

Доктор Живаго побежден и уничтожен, но... «Есть и нетленная краса...»

«Спустя пять или десять лет, тихим летним вечером Гордон и Дудоров сидели у открытого окна с видом на огромную ночную Москву. Они складывали... писания Юрия, которые они уже столько раз читали, и которые, в значительной степени, знали наизусть. Вспоминая его, обменивались мнениями, предавались размышлениям...»

Настала ночь, они уже не могли различать букв и были вынуждены зажечь свет. Москва внизу и в отдалении, город, где Юрий родился и прожил половину жизни, казалась им уже не местом всех событий, а главной героиней длинного романа, в конце которого они приближались к этому вечеру.

Хотя та ясность и свобода, которую ожидали после войны, не пришла вместе с победой, как они надеялись, это было неважно: предчувствие свободы было в воздухе в эти послевоенные годы, и это предчувствие составляло единственное историческое содержание этих лет.

Друзьям, уже постаревшим, казалось, сидя у окна, что эта свобода духа приблизилась к ним, что именно в этот вечер будущее ощутимо сошло вниз, на землю, на улицы города и что они сами вошли в это будущее и находятся в нем. Счастливое, сдержанное спокойствие за этот священный город и за весь мир охватило их, спокойствие за всех героев этого рассказа и за их детей и предстало им, как возвышенная музыка счастья, которая распространилась далеко вокруг. Маленькая тетрадь в их руках, казалось, знала всё это, она подтверждала их чувства и давала им уверенность».

Россия и революция в 1917 году

Всякая революция преследует создание новой общественной и социальной жизни. Ее идеи и идеалы вырастают в тех глубинных социальных процессах, которые двигают историю и отчасти могут объяснить, почему Россия пришла к революции в 1917 году.

Для некоторых историков, однако, эти социальные процессы нашего прошлого предопределили не только самую революцию, но и ее дальнейшее развитие, ее большевистский конец. Мы не разделяем взглядов этого диалектического детерминизма на неизбежный «ход» Февральской революции к Октябрьской и здесь лишь кратко подведем итоги главнейшим социальным проблемам России к 1917 г.

Три главных проблемы чрезвычайно обострились в России конца XIX — начала XX века.

Крестьянская проблема, проблема земли. Освобождение крестьян и реформа 1861 года не сопровождалась переходом земли в частную собственность и соответствующим землеустройством сельского населения. Вопрос сводился не столько к оставшейся в руках помещиков земле (впрочем медленно переходившей в руки крестьян), сколько в сохранении сельской общины с ее переделами душевых наделов, катастрофически сокращавшихся по мере быстрого роста сельского населения.

Власть потеряла почти половину столетия, прежде чем снова встала на путь аграрных реформ. Лишь за десять лет до революции, в 1907 году Столыпин вывел государственную политику в крестьянском вопросе из состояния застоя и инерции, в котором она находилась со времени реформ Александра II. В чрезвычайно короткий срок, уже к 1916 году, 6 миллионов 200 тысяч крестьянских семей (из общего количества 16 миллионов) перешли на частное владение землей, на отруба. Это составляет 38% общего количества крестьянских хозяйств. Фактически, если учитывать Сибирь и другие районы, где община исторически не сложилась, то общее количество крестьян-собственников можно считать почти достигшим половины всего российского крестьянства. Там, где Столыпинская реформа охватила большинство крестьянских хозяйств, начала бурно расцветать крестьянская кооперация, создававшая новые предпосылки для товарного развития крестьянского хозяйства.

Войны никогда не приходят «вовремя». Столыпинское землеустройство еще не охватило одной трети крестьянских земель, когда разгорелась война 1914 го-

да. Новые хозяйства, устроенные в течение нескольких предвоенных лет, ещё не устоялись, не успели достаточно укрепиться. И все же хозяйства, построенные на основе нового землеустройства, вызывали яростную ненависть у той части революционной демократии, которая открыто, как эсеры, или исподволь, с оговорками, как большевики, делала ставку на аграрную революцию, со всеми основаниями видя в общине тот богатый источник нужды и противоречий, который легче всего поддается взрыву революционными методами.

И у эсеров и у большевиков, в отличие от меньшевиков, было одно объединяющее их, несмотря на всю борьбу, сознание: Столыпинская реформа выбивала почву из-под их ног, и уже в довоенной литературе, и у эсеров, и у Ленина можно заметить гораздо больше ненависти к вышедшему на отруб крестьянину, чем к пресловутым помещикам. И это понятно. Помещик не мог предотвратить взрыва. Крестьянин-собственник снимал социальный кризис в деревне, он делался прочной основой демократического правопорядка, на пути к которому, на пути открывающейся исторически эволюции России, не стояло серьезных препятствий.

Столыпин оценивал время, необходимое для этой эволюции, всего двадцатью пятью годами. Если, — говорил он, — в течение двадцати пяти лет Россия избежит войны, то она настолько укрепится, что ей уже нечего будет опасаться; она станет «неузнаваемой».

Второй проблемой, остро стоящей в России, был рабочий вопрос, связанный с небывалыми темпами индустриализации.

Не будем приводить хорошо известных цифр того невероятно быстрого промышленного скачка, который сделала Россия за двадцать пять лет перед Первой мировой войной. Не только в трудах Н. Прокоповича, вышедших за границу, но еще больше в работах Струмилина*), вышедших в двадцатых годах в Москве, сделан исчерпывающий анализ темпам развития: они превзошли в это время самые бурные периоды развития германской и американской промышленности. Так, например, добывающая промышленность увеличила свою продукцию в золотых рублях с 85 миллионов в 1888 году до 520 в 1912 г., то есть, выросла на 512%. Бумажная и полиграфическая промышленность выросла за тот же период на 516%, деревообделочная на 600% и т. д.

Для того времени, — ибо необходимо категорически отказаться от сравнения продукции с разницей в 40—50 лет, без учета роста населения, чем регулярно занимается советская статистика, — Россия быстро шла по пути индустриализации и неуклонно догоняла передовые, западноевропейские страны. Средний рост повышения добычи угля на Донбассе, между 1910—14 гг. равняется почти 20%, иначе говоря, даже в такой трудной отрасли добывающей промышленности, как уголь, Россия удваивала производство в 5—6 лет. В некоторых областях, особенно в таких, как текстильная промышленность, уровень 1913 года в течение долгого времени не мог быть перекрытым: так, например, согласно данным Струмилина в России в границах 1940 года, в 1913 году было выпущено 111 миллионов метров шерстяных материй. Несмотря на увеличение населения в этих границах почти на 30 миллионов, в СССР в 1937 году было произведено лишь 98 миллионов метров шерстяных тканей, что означает резкое понижение производства на душу населения.

Естественно, что невероятно быстрый рост промышленности неизбежно сопровождался с отставанием жилого фонда для рабочих в городах, норм рабоче-

*) См. Струмилин «Перспективы развития национальной экономики». Москва, 1928 г. или Н. Прокопович «Экономическая история СССР». Нью-Йорк, 1954 г.

го законодательства, а также и некоторым отставанием заработной платы по отношению к росту выпускаемой продукции. Наряду с этими обстоятельствами, индустриализация России в большей степени, чем индустриализация в таких странах как Германия, Англия, Франция, сопровождалась огромной концентрацией рабочих на больших предприятиях. Уже в 1908 году одна четверть всех рабочих трудилась на заводах и фабриках, с числом рабочих превышающим тысячу человек.

Для того, чтобы преодолеть неизбежно возникающий с индустриализацией социальный кризис, правительство должно было быстро двигать вперед рабочее законодательство. Однако оно шло в России кануна войны медленным темпом. Правда, на ряде казенных предприятий имел место уже перед войной восьми-девятичасовой рабочий день, рабочие получали квартиры в построенных этими предприятиями новых домах, большинство рабочих больших городов было охвачено страховыми и профсоюзными организациями. Но в отличие от немногих правительственных заводов, принадлежавших главным образом военному и морскому ведомству, подавляющее большинство рабочих России не имело нормальных жилищных условий, работало около 10 часов в день (в передовых странах Западной Европы, в среднем, 9), не получало заработную плату, соответствующую, как мы указали выше, росту продукции. Правительство, хотя и допустило свободные профсоюзы, рабочие страховые общества, рабочую прессу и даже рабочее представительство в Государственной Думе, но не проявило той энергии и воли в рабочем вопросе, какую проявил П. А. Столыпин в крестьянской реформе. Ко всему этому следует прибавить, что в России, как впрочем и во всем мире того времени, капитал не был ограничен тем государственным контролем и прогрессивным налогом на прибыли, которые позволяют теперь современным демократическим государствам получать необходимые средства для социального обеспечения и социальных реформ. Можно было с уверенностью повторить слова Столыпина о необходимости двадцатипятилетнего спокойного периода для того, чтобы в России распространилось широкое социальное законодательство.

Всякое правительство и окружающий его правящий слой не могут не знать основных требований большинства народа, вытекающих из социального процесса. Не могут не знать и тех общественных и политических сил, которые организационно оформились для достижения нового общественного и социального порядка. Накануне 1917 года правительство великолепно знало эти силы, ибо требование народовластия, прочной конституционной базы для правового демократического строя давно уже раздавалось в Государственной Думе.

В таких исторических ситуациях, когда, несмотря на осознанную всем обществом необходимость реформ, правительство продолжает тормозить их, естественно развитие тенденций реформизма среди той части правящего слоя, которая наиболее остро сознавала свою ответственность за государственное существование России. Эта часть правящего слоя России кануна революции все больше и больше смыкалась с главным носителем требований коренных реформ — российским либерализмом в лице кадетов и правой части народничества.

Казалось бы, что намечающийся союз демократического либерализма с идущей ему навстречу реформистской частью народничества давал политическое решение, передвигавшее Россию с рельс революции на государственно здоровые пути эволюции. Во время военного кризиса 1915 года до ответственного думского министерства оставалось сделать всего один шаг. Но, несмотря на возросшую во время войны ответственность за государство, небольшая, находившаяся у власти консервативная группа в этот чрезвычайно ответственный исторический момент не хотела видеть возможности привлечения к власти общественно-демо-

кратических сил, продолжала жить миражем силы и авторитета остатков самодержавия. Власть не приняла предложения разделить власть с образовавшимся в Думе прогрессивным блоком, представлявшим собой именно тот союз демократического либерализма с реформистскими представителями правящего слоя, о котором мы говорили выше. Отталкивая от себя либеральную оппозицию, предложившую свое доверие и ответственность за государство, русская власть того времени толкнула ее, вовсе не желавшую революции, а лишь требовавшую социальных реформ, на обличения того бездарного возглавления, которое осталось после ухода в 1915—16 гг. последних способных и понимавших положение министров, как, например, министра иностранных дел Сазонова, или военного министра генерала Поливанова. Верховная власть в лице Николая II оставалась глуха к идущим со всех сторон, в том числе и от высшего генералитета армии, предостережениям, что такое положение неизбежно закончится революцией. Приведем одно из многих: «Как ни странно, писал не кто иной, как великий князь Александр Михайлович 4 февраля 1917 года царю, но правительство сегодня есть тот орган, который подготавливает революцию. Народ ее не хочет, но правительство употребляет все возможные меры, чтобы сделать как можно больше недовольных и вполне в этом успевает. Мы присутствуем при небывалом зрелище революции сверху, а не снизу».

Революция в России исторически не была неизбежна. Она была возможна постольку, поскольку тормозились социальные реформы, не менялся, не шел по пути демократизации государственный строй. Революция сделалась неизбежной, когда во время войны власть не захотела опереться на общественные силы, расширить свою базу, когда против нее выступило даже реформистски настроенное большинство правящего слоя. И власть упала от первого толчка, не найдя во всей великой нации никаких, даже самых ничтожных, активных сил, готовых ее защищать.

Февральская демократическая революция отдала власть, что и было вполне естественно, в руки российского либерализма, в руки кадетов.

Временное правительство первого состава нельзя упрекнуть в том, что оно не сделало всё, чтобы осуществить на деле принципы свободы и права. Но у Временного правительства были свои слабости. Главнейшей из них была приобретенная в долголетний период борьбы за общественные и государственные реформы привычка видеть врагов только «справа».

Кадеты, хорошо знавшие партии «революционной демократии», прежде всего большевиков и эсеров, вначале видели в них подлинных демократов, признающих право большинства народа. Они долго не видели, что за носителями разных доктрин, в частности, марксизма, кроется диктатура меньшинства, больше того — тоталитарная диктатура небольшой партии, навязывающей силой свою волю народу. Временное правительство и поддерживающее его большинство народа в 1917 году не видели врагов демократии «слева», исторически просмотрели их, дали им себя победить.

С другой стороны, у российского демократического либерализма не было достаточного государственного опыта. Цвет русской интеллигенции, не неся ответственности в представительных парламентских учреждениях, не обладал ни навыками, ни должной твердостью, чтобы управлять государством во время Первой мировой войны. В то же время, партии «революционной демократии», вышедшие из полуподполья или подполья, оттолкнули своей нетерпимостью и лишили возможности соучаствовать в управлении государством ту реформистскую часть правящего слоя, которая, вполне разделяя программу Временного правительства, обладала и необходимым опытом и знаниями.

Наконец Временное правительство сразу было поставлено вплотную перед

проблемой войны. В условиях 1917 года, в условиях первой в истории человечества тотальной войны такого масштаба, это был вопрос сохранения целостности государства, вопрос дальнейшего национального бытия.

Ленин столкнулся с этой же проблемой позже, в 1918 году. Он разрешил ее, наплевав на интересы и целостность России, заключив «похабный» мирный договор с немцами, приведший к полной дезинтеграции российского целого. Он сделал это ради сохранения своей власти, ради «передышки», прикрываясь химерой «неизбежности западноевропейской революции».

Временное правительство искренно хотело защищать интересы России вовне, стремилось быть правительством национальной обороны. Временное правительство, признавая демократический принцип самоопределения народов (что оно и доказало в своих решениях по вопросам Финляндии и Польши), стремилось быть также всероссийским. Характерно, что именно в 1917 году, после Февраля, термин «всероссийский» в общественной жизни быстро завоевал себе общепризнанное место. Он и остался до сих пор своеобразным символом Февраля.

Но при всех этих намерениях Временное правительство не проявило ни достаточного государственного опыта, ни воли, ни понимания необходимости твердо защищать принципы свободы и демократии. Оно не попыталось даже опереться на свою естественную опору — на почти 14-миллионную армию, представлявшую активную часть мобилизованного народа. До июля 1917 года Временное правительство даже не пыталось серьезно противодействовать усилиям партии «революционной демократии» разложить армию, внести в нее искусственный антагонизм.

Временное правительство, видя и готовя необходимые реформы, с одной стороны, также не считало возможным их проведение до окончания войны, а с другой — проявляло исключительную «правозную щепетильность», оттягивая важнейшие решения до созыва Учредительного собрания. Вместо того, чтобы путем смелых решений и быстрого проведения необходимых реформ, прежде всего земельной, опереться на весь народ. Временное правительство искало поддержку у партий «революционной демократии», живших, как и некоторые представители кадетов, в политическом мираже старой формулы «у демократии и свободы нет врагов слева».

Принеся с собой в государственную жизнь этот устарелый лозунг из своего прошлого, «революционная демократия» вплоть до самого Октября и даже, частично, после него, как это хорошо показал покойный историк революции С. П. Мельгунов*), настойчиво пыталась сговориться с Лениным и большевиками, которых в политическом спектре она не отделяла от себя.

Партии «революционной демократии» не могли быть опорой для Временного правительства в его государственной работе еще и потому, что они опирались на Советы рабочих и солдатских депутатов и в своем большинстве не хотели расставаться с этой опорой и после выборов в Учредительное собрание. В то же время Советы 1917 года ни в своей правовой основе, ни в вопросе охвата ими большинства народа не отвечали демократическим принципам всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. Партии «революционной демократии» не хотели нести ответственности за всю страну. Разъедаемый демагогией классовой борьбы, исходивший не из интересов всего народа в целом, а из ранее принятых доктрин, российский социализм 1917 года не вырос еще из партийных пеленок, не мог подняться до государственного сознания.

Всероссийская демократическая революция как основа для строительства

*) См. его книгу «Как большевики захватили власть». Париж, 1954 г.

новой общенародной государственной жизни была для него не своим кровным делом.

А. Ф. Керенский-мемуарист очень часто любит вспоминать «о навязчивой идее грядущей контрреволюции справа, парализовавшей верхи революционных кругов».

Но если тогда еще не было всем ясно, что ни для какой контрреволюции нет социальной базы, то во всяком случае не могло быть сомнений в том, что укрепление власти Временного правительства и помощь ему могли только укрепить свободу и демократию.

Правительство оказалось одиноким уже в апрельском кризисе, когда П. Н. Милоков в самой терпимой, демократической и признающей полностью права других народов формуле попытался защищать национальные интересы России. Петроградский совет в своем большинстве выступил с позиций «Циммервальда», а не с позиции национальных интересов и обороны, хотя его председатель лично проделал обратную эволюцию.

Майская организация демонстрации против правительства означала сдачу позиций врагам демократии и свободы «слева», и они, почувствовав это, уже в июле предприняли свой первый, неудачно окончившийся путь для захвата власти.

Несмотря на этот предметный урок, «навязчивые идеи» о готовящейся контрреволюции, о которых пишет А. Ф. Керенский, продолжали господствовать и часто руководить действиями самого правительства, в том числе руководить многими поступками самого А. Ф. Керенского, особенно в августе 1917 года.

Потребовался колоссальный исторический опыт, потребовалась еще треть века после русской революции, чтобы и европейский социализм пришел в своем большинстве к сознанию, что главный враг демократии и свободы в нашу эпоху — это тоталитаризм «слева».

Уже много написано о бездеятельности, слабоволии, отсутствии должной энергии и целеустремленности у Временного правительства и большинства партий «революционной демократии», пришедших к активной государственной политике с устарелым и догматическим арсеналом идей. Но до сих пор никто из историков Февральской революции не занимался еще вплотную вопросом: революция и молодежь. Молодежь того времени в основном была в 1917 году на фронте. Как ее интеллигентная часть — студенчество, так уже и значительное количество рабочих, крестьянской, казачьей молодежи составляли офицерскую и унтер-офицерскую часть армии.

От кастовой замкнутости старого офицерского корпуса (впрочем, отмиравшей уже до войны) в армии 1917 года почти ничего не оставалось. Миф о «буржуазно-помещичьем офицерстве», раздутый в качестве одной из «навязчивых идей» в ходе самой революции и усиленно поддерживаемый партийной историей в СССР, оказывается пустым и исторически неверным при первом соприкосновении с вопросами формирования Красной армии, где большинство этого офицерства служило с самого начала, на чем мы остановимся ниже.

Военная молодежь приняла Февральскую революцию, горячо встала на защиту ее основных идей. Последующие события, начиная с августа 1917 года, показали, что в ее среде было достаточно сил, готовых решительно, с оружием в руках защищать свободу, правовую государственность и демократию. Генерал Л. Г. Корнилов, будучи республиканцем по убеждению, был одним из первых, полностью принявших Февральскую революцию генералов, и поэтому позже за ним пошла военная молодежь. Когда большевики захватили власть, молодежь военных училищ без плана, без организации, без руководства, восстала в но-

ябрьские дни в Петрограде и Москве и едва не опрокинула большевистскую диктатуру.

Временное правительство проглядело в марте-июле возможность опереться на революционную и, как показала дальнейшая история, самую государственно сознательную и жертвенную часть населения России.

С точки зрения самой молодежи, ее поведение в начале революции было вполне оправдано. Как часто в истории нашей родины внешнеполитические факторы доминировали психологически над внутривнутренними, так и в начале революции 1917 года у молодежи на фронте значимость внешнего врага перевешивала даже перед лицом опасности внутри страны. А вместо мобилизации молодежи на сохранение государственности, демократии и права первый председатель Временного правительства успокоительно заявлял: «Наше поколение сказалось в самом счастливом периоде истории России». Какой злой иронией прозвучали для российской молодежи 1917 года эти слова в течение всей последующей ее жизни...

Кроме того, горечь утраченной буквально без пяти минут 12 победы над Германией и Австрией фатально все еще и в 1918 году, а не только в 1917, психологически направляла все устремления молодежи на противника вовне, на продолжение войны.

Здесь государственное сознание, чувство долга перед Россией превалировало над партийными интересами. Только в исторической ретроспекции стало отчетливо видно, что даже в начале 1918 года первые военные формирования, в основном добровольческие как Красной армии, так и Белых армий проходили все еще под знаменем стремления молодежи к защите отечества от внешнего врага.

Временное правительство, возглавив Февральскую революцию, не сделало попытки опереться на силу, которая могла в силу своей доказанной жертвенности найти солидаристическое решение, выход из столкновения справедливых социальных требований и государственных, национальных интересов, столкновения, превратившегося в запутанный клубок противоречий в ходе революции. В этом историческом упущении заключается на наш взгляд один из важнейших уроков Февраля.

КОММУНИЗМ И МИР

(К 40-летию Октября)

Сорок лет назад: первый декрет новой власти — «О мире». Призыв ко всем народам заключить мир «без аннексий и контрибуций». Через голову правительств: пролетарии всех стран, соединяйтесь! Берите власть в свои руки. Пролетарская мировая революция началась! Война войне!

Захват власти. Гражданская война. Во имя светлого будущего! Во имя коммунизма!

Тяжелые годы разрухи, внутренней борьбы, военного коммунизма, террора ВЧК.

1921 год — ликвидация фронтов гражданской войны. Победа. Но какой ценой?!

Восстания против коммунистов: в цитадели большевизма — Кронштадте, волнения на фабриках Петрограда; крестьянские восстания в Тамбовской области и смежных районах, в Сибири, на Алтае, в Средней Азии...

Признания Ленина на X партийном съезде: «Вот так коммунизм вышел!» — О России «на костылях», о «состоянии изнеможения у рабочих и массы крестьянства», о необходимости нэпа «всерьез и надолго».

Осознание крушения надежд на немедленную мировую революцию, необходимости «передышки» и «сосуществования» с враждебным капиталистическим миром, его помощи в восстановлении хозяйственной жизни страны. Призыв Ленина к капиталистам о вложении капиталов; предоставление концессий иностранным капиталистам; допущение внутри страны частной торговли и предпринимательства. Коммунисты осознают *ограниченность своих возможностей временем и пространством*.

Двадцатые годы: время внутренних послаблений и настойчивых усилий по заключению внешнеполитических и торговых соглашений; борьба за дипломатическое признание и получение внешней помощи и поддержки — кого? — капиталистических держав!

Удовлетворение на Западе, соревнование в «признаниях», договор с Германией в Рапалло (6 апреля 1922 г.). Только США еще в стороне, и «признание» последует лишь в 1932 году, после тяжелого экономического кризиса в Америке и Европе (1929—1932 гг.).

Россия под советской властью, в обстановке нэпа и восстановления внешних связей, выходит из разрухи, крепнет и вновь появляется на внешней арене. В торговле — путем демпинга за счет нужд населения; а в Англию прибывают пароходы с советским лесом, на бревнах которого заключенные советских лагерей пишут кровью: «Спасите нас!» Но внешний мир рад, что призрак мировой революции миновал, что «большевики образумились», и премьер-министр Велико-

британии Ллойд Джордж бросает свои сакраментальные слова: «Торговать можно и с людоедами!»

Тридцатые годы: во внутрипартийной борьбе за власть и путь дальнейшего развития побеждает Сталин. Нэп ликвидируется, делается прыжок к «построению социализма в одной стране». Пятилетки индустриализации, и как средство для этого — коллективизация деревни, путь «феодалной эксплуатации крестьянства» (слова оппозиционера Пресбраженского). Завинчивается пресс власти, усиливается террор, завершающийся «ежовщиной» и 12 миллионами политзаключенных в лагерях смерти (1937—1938 гг.).

На внешней арене — вступление СССР в Лигу Наций (18 сентября 1934 г.), красивые речи Литвинова в Женеве, игра на противоречиях западных держав; наконец, вмешательство в гражданскую войну в Испании (1936—38 гг.), конфликты с японцами и китайцами (озеро Хасан, Халхынгол — 1938—39 гг.), поддержка коммунистов в Китае; поддержка освободительного движения в Индии и в других странах; активная деятельность «пятых колонн» Коминтерна. «Народный фронт» во Франции; спекуляция на итальянском фашизме и германском национал-социализме.

Одновременно с общей индустриализацией и «сплошной коллективизацией» особое внимание уделяется развитию военной промышленности в стране и строительству армии, флота и воздушных сил. Горделивые заверения о победах на трудовом фронте и о «ворошиловских залпах», о «границе на замке», «ни пяди чужой земли не хотим, но и своей не отдадим», о «войне малой кровью» и даже: «русский народ всегда любил и любит воевать!» (Ворошилов).

Параллельно: реабилитация русской военной истории и ее полководцев (Суворова, Кутузова, Нахимова и других), а по линии вождя — Иоанна Грозного. Тоталитарность власти достигает апогея, а все неудобные Сталину уничтожаются (вплоть до верхушки армии, во главе с Тухачевским, в 1937 году). Всякая оппозиция и свободное слово подавлены. Культ вождя в полном блеске. Народ безмолвствует.

Западный мир уже снова с беспокойством поглядывает на восток, но свои противоречия растут; тень Гитлера подымается над Европой.

За попускаемой агрессией Гитлера, ремилитаризацией, захватом Австрии и Чехословакии, черным соглашением в Мюнхене (1938 г.), следует 1939 год и — Вторая мировая война. Ее развязыванию помогают Сталин—Молотов заключением пакта о ненападении между СССР и Германией и согласием на новый раздел Польши. Коммунистическая власть сговаривается со злейшим своим врагом Гитлером в расчете на истощение сил западных держав в схватке между собой. Сталин хочет быть «третьим радующимся».

Смертельная борьба на Западе начинается (1 сентября 1939 г.) на второй день после ратификации соглашения Молотов—Риббентроп (подписанного 23 августа и 30 августа ратифицированного).

Польша гибнет в течение двух недель, и 17 сентября Красная Армия занимает ту часть Польши, которая обещана СССР по соглашению с Германией. Затем советские войска вводятся в Эстонию, Латвию и Литву, а в 1940 году (28 июня) к СССР от Румынии возвращается Бессарабия и в придачу к ней берется Западная Буковина с г. Черновицы. Прибалтийские государства вскорости «добровольно» присоединяются к СССР. С Финляндией дело не выходит, и разворачивается Советско-финская война (30 ноября 1939 г. — 12 марта 1940 г.). Ее большевики ведут под флагом «освобождения» и создания в Териоках бутафорского правительства Куусинена. Эта война разворачивается не так, как ожидали коммунистические вожди, и Красная Армия терпит много неудач и несет тяжелые потери. СССР исключают из Лиги Наций как агрессора, и волна возмущения

прокатывается по миру; Финляндии даже пытаются придти на помощь, но идущая мировая война ограничивает эти возможности. Все же в марте 1940 года вожди СССР решаются на мир и аннексируют у Финляндии лишь Карельский перешеек с Выборгом, выход к Ладожскому озеру, полуостров Ханко и некоторые территории на севере. Финская война крайне непопулярна и в СССР. Она показывает также военные и психологические просчеты коммунистов.

К середине 1941 года Гитлер властвует почти над всей Западной Европой, ведет операции в Африке и на Ближнем Востоке, но не в состоянии поставить Англию на колени. Она выдерживает чудовищное напряжение, но продолжает борьбу, уже поддерживаемая средствами и вооружением со стороны США.

Гитлера тревожит Россия в его тылу, и он готовит нападение на СССР. 22 июня оно начинается, внезапно для Сталина и всего народа. Развертывается тяжелая драма России.

Для Англии и других западных держав это — надежда на спасение. Сталин тоже ищет его в соглашении с западными союзниками. Устанавливается неожиданный альянс демократий с тоталитарной коммунистической властью. Для вождей коммунизма западные союзники тоже становятся «союзными демократическими странами».

Нападение японцев на Америку (Пирль-Харбор, 7 декабря 1941 г.) вовлекает в войну США, что в следующие годы служит решающим фактором победы и над Германией.

Так, в ходе борьбы, происходит сближение западных демократий с коммунистической страной, и приходит их конечная победа в 1945 году.

Однако плоды этой победы пожинают в первую очередь коммунисты. Умело и настойчиво оперируя во внешней политике, несмотря на всю свою внутреннюю слабость во время войны, они не только восстанавливают свое военное положение, но и начинают захватывать все новые позиции. Они добивают (уже после двух американских атомных бомб) Японию, захватывают Маньчжурию, Северную Корею, воссоединяют Сахалин и занимают Курильские острова на Дальнем Востоке; подчиняют себе все восточноевропейские государства, где в ближайшие годы, путем насильственных переворотов, полностью захватывают власть и создают кольцо «народных демократий» (Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Албания и Югославия). В 1949 году становится коммунистическим и весь материк Китая.

Используя слабости, доверие и иллюзии Западного мира, они успешно реализуют соглашения глав правительств (Сталин, Черчилль, Рузвельт) в Тегеране (1943 г.) и Ялте (февраль 1945 г.), а затем в Потсдаме (июль 1945 г., где Черчилля уже сменяет Эттли).

После войны: в то время как Америка быстро разоружается, вожди КПСС не только сохраняют достигнутую к концу войны (с помощью союзников) мощь Советской Армии, но продолжают ее перевооружение и модернизацию. И все это — несмотря на тяжелейшие жертвы и потери в войне, за счет благосостояния и интересов народов России.

Оправившись от страха и испуга первых лет войны, коммунистическая власть быстро развертывает новое наступление как на внутреннем, так и на внешнем фронтах.

Внутри — новый зажим, вплоть до «ждановщины» (1946 г.), с волной террора против всех, в малейшей степени принявших немецкую оккупацию, сотрудничавших с немцами или просто оставшихся на занятых территориях, не говоря уже о репатриированных военнопленных (частью принудительно), «восточных рабочих», власовцах и т. д. В концлагерях — свежие пополнения.

Во внешней политике — поспешное и жадное использование новых богатых возможностей, и снова резкое противопоставление себя и всего нового «лагеря социализма» капиталистическому миру.

Уже в 1948—49 гг. — блокада Берлина, с целью его полного захвата (что не удалось силой большого напряжения США и других западных держав), и в 1950 году — *развязанная война в Корее*, потом *Вьетнам*, а в Европе — *попытка захвата Греции* (Маркос) и, наконец, в последние годы — *проникновение на Ближний Восток*: Египет, Сирию, Йемен; поддержка всех национальных движений в Африке, в Азии и даже в Латинской Америке.

Только с момента коммунистического переворота в Чехословакии, поддержки Маркоса в Греции и Берлинской блокады Западный мир забил тревогу и начал консолидировать свои силы для борьбы с коммунистической агрессией. Так возникла помощь США Греции и Турции, оформление Северно-Атлантического Союза (НАТО), создание СЕАТО в Азии, Багдадского пакта в странах Ближнего и Среднего Востока; военно-хозяйственная помощь слабо развитым странам; отпор в Корее; спасение Южного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи.

Пятидесятые годы: Корейская война стала поворотным пунктом в отношениях между США и СССР, началом нового вооружения в Америке и в Европе, осознания СССР главным врагом умиротворения и спокойствия в мире. Но это осознание до сих пор не полно и не всеобщее. Если СССР и коммунизм уже поняты большинством правительств стран Америки и Европы как главный враг, то этого нельзя сказать для многих стран по отношению к части их населения, а также многим видным политическим и общественным деятелям почти всех стран мира. Непонимание и слепота к подлинному существу коммунизма и его целям по-прежнему еще широко распространены, а иллюзии возможности подлинного мирного сосуществования — глубоки.

Причины этого понятны: никто, не переживший коммунизма таким, каким он есть на практике, в жизни, не в силах его правильно оценить, а тем самым и определить свое отношение к нему. Со стороны и на словах, по фасаду, рекламе и лозунгам, коммунизм всегда что-то обещает, а в критике всего иного — содержатся крупинцы правды. Все вместе обманывает и обольщает. В том числе — многих интеллектуалов, жаждущих преобразования мира и видящих в коммунизме только его «светлые» черты.

А поскольку Свободный мир не тоталитарен, и в нем царствует живое разнообразие мыслей, навыков, склонностей и стремлений, почва для скольжения к коммунизму всегда имеется. Несовершенства демократии и пороки капитализма легко увлекают к крайностям.

В наше время роль масс в истории сильно возросла. Психологию масс умеют учитывать коммунисты. Умеют и овладевать ею, и владеть, и направлять. Имея единственным моральным критерием целесообразность для дела, которое они ведут, вожди коммунизма всегда *спекулируют* на слабых сторонах человеческой природы. Они являются также мастерами пропаганды и впечатляющих постановок. Такой постановкой был *летом 1957 года Всемирный фестиваль молодежи и все ноябрьские демонстрации к 40-летию Октября*.

Сорокалетие Октября:

С чем же и под какими знаменами перед внешним миром выступает сейчас КПСС?

Мы можем это обнаружить уже в *«Призывах ЦК КПСС к 40-ой годовщине Великой Октябрьской революции»* («Правда» № 286 от 13 октября 1957 г.).

Утверждается:

— Открытие «Великим Октябрем» «эры крушения капитализма и утверждения социализма».

— «Превращение социализма в мировую систему — главная черта современной эпохи».

— «Боевая солидарность международного пролетариата — залог непобедимости дела социализма».

— «Братский привет всем народам, борющимся за мир, за демократию, за социализм!»

Далее провозглашается: «Войну можно и нужно предотвратить! Все на борьбу против опасности новой войны, за мир и сотрудничество между народами!»

— «Народы мира! Боритесь за сокращение вооружений и вооруженных сил! Требуйте немедленного прекращения испытаний и запрещения атомного и водородного оружия! Разоблачайте поджигателей войны!»

— «Да здравствует ленинская внешняя политика Советского Союза — политика сохранения и упрочения мира, развития экономических и культурных связей со всеми странами!»

Кто же может возражать против таких красивых лозунгов?!

А за ними призыв: «Пусть крепнет единство трудящихся всех стран! Пусть ширится сотрудничество между коммунистами, социалистами и всеми прогрессивными силами в борьбе за мир, демократию и независимость народов!»

И — «братские призывы» не только к народам стран «народной демократии», не только к нейтральным, зависимым и колониальным, но и ко всем народам мира, включая западные державы и народ США.

Поманув создателей искусственных спутников Земли и «мощной межконтинентальной ракеты», провозгласив им «славу», призывы заканчиваются: «Да здравствует коммунизм — светлое будущее всего человечества!»

Во всем этом — неприкрытая воля к достижению коммунизма во всем мире, к прорыву пространства и времени («догнать и перегнать»), к расширению «лагеря социализма», т. е. всего того, что уже как-то достигнуто для $\frac{1}{4}$ суши и $\frac{1}{3}$ населения нашей планеты!

Методы — без войны, но тихой сапой на базе «сосуществования», со всеми способами «мирного» проникновения, захвата власти, с помощью пресловутых «народных фронтов» коммунистов, социалистов и «всех прогрессивных сил», т. е. с помощью Троянского коня и превращения «буржуазных демократий» в «народные демократии» по образцу Чехословакии, Венгрии и т. д.

А народное восстание в Венгрии, в октябре 1956 года, и перед этим рабочие восстания в Польше (Познань), в советской зоне Германии 17 июня 1953 года, восстания и волнения в СССР в концлагерях (с 1953 по 1956 год), в Тбилиси, в Ереване, борьба за свободу нашей интеллигенции и молодежи по всей стране, рабочие и крестьянские забастовки против коммунистической власти!?

Ах, все это печальные эпизоды отдельных ошибок «культы личности», происков «западных империалистов» и их влияния на «несознательные элементы», которые сохранили еще «буржуазные пережитки»...

И чем труднее коммунистам сдерживать народное негодование, чем труднее лавировать и обманывать внутри страны, тем настойчивее и помпезнее все «кампании мира» против «поджигателей войны» и тем серьезнее внешнеполитическое наступление коммунизма на весь западный мир, на все его слабые звенья.

Это наступление развернулось к 40-ой годовщине и на юбилейной сессии Верховного совета СССР как в докладе Хрущева, так и в Обращении «Ко всем трудящимся, политическим и общественным деятелям, представителям науки и культуры, парламентам и правительствам всех стран мира» (Москва, 6 ноября 1957 года).

Из «Обращения» отметим:

— «Наступила эра социализма, о которой веками мечтали лучшие умы человечества»...

— «Советское государство никогда не претендовало и не претендует на руководство другими странами... Оно горячо одобряет пять принципов мирного сосуществования» (Бандунга).

— ...«обращается ко всем миролюбивым людям с призывом развернуть активные действия для предотвращения новой войны».

Разве не блестящая спекуляция на чувствах и искренних стремлениях всех народов к миру?

Хрущев, в своей речи, также выдвигает по вопросам внешней политики тот же «ленинский тезис» мирного сосуществования, пяти принципов Бандунга, «взаимной выгодной торговли» и т. д., но не забывает напомнить, что «идеологические расхождения непримиримы и они будут существовать». А о войне: «Хотя мы убеждены в том, что в результате новой войны, если она будет развязана империалистическими кругами, погибнет тот строй, который порождает войны, то есть, капиталистический строй, и победит социалистический строй, мы, коммунисты, не стремимся к победе таким путем... это *антиморально* и противоречит нашему коммунистическому мировоззрению». (*Подчеркнуто нами.* — А. С.).

Хрущев в роли моралиста!

Между прочим, Хрущев в этой речи особенно ожесточенно нападал на «ревизионизм» и попытки врагов социализма подорвать единство социалистического лагеря изнутри. Это он признал сейчас главной опасностью, и — «мы должны вести против нее самую решительную борьбу». В этой оценке идеологического состояния дела коммунизма Хрущев несомненно прав, как и тогда, когда говорит о необходимости «обороны» от «внутренних и внешних врагов».

Недаром вопросам «социалистического единства» было посвящено специальное «Совещание представителей коммунистических и рабочих партий социалистических стран в Москве 14—16 ноября 1957 года»; оно выпустило «Декларацию» за подписью 12 партий об единстве, из которой выпала, однако, Югославия.

В области внешней политики признано:

«В настоящее время важнейшей задачей во всем мире является борьба в защиту мира. Коммунистические и рабочие партии всех стран добиваются совместных действий в самых широких масштабах с *любыми* миролюбивыми и не желающими войны силами (*подчеркнуто здесь и дальше нами.* — А. С.).

Совещание признало «необходимость решительного преодоления ревизионизма и догматизма», подчеркнув, что «осуждая догматизм, коммунистические партии считают в современных условиях *главной опасностью ревизионизм*, иными словами, правый оппортунизм, как проявление буржуазной идеологии... Однако догматизм и сектантство могут представлять также *основную опасность* на отдельных этапах развития той или иной партии. Каждая компартия определяет, какая опасность для нее представляет в данное время главную опасность».

На этом решении — явные следы трений и компромисса.

Когда ведущие компартии СССР, Китая, Польши и остальных стран «Народной демократии» (кроме Югославии) утрясли свою идеологическую декларацию, к общей демонстрации «единства» были привлечены все остальные коммунистические и рабочие партии мира (в общем числе 64) для подписания «*Манифеста мира*» (16—19 ноября).

Патетическое воззвание «ко всем людям доброй воли», с длинным их перечислением, вплоть до либералов, торговцев и промышленников, не вносит по су-

шеству ничего нового по сравнению с любыми другими воззваниями «Советов Мира», посланиями Булганина и иными коммунистическими документами.

Таким образом, к 40-летию Октября весь упор сделан на «единство социалистического лагеря мира» и на борьбу под флагом мира за сосуществование *на тех условиях, которые диктует Западу КПСС и советское правительство.*

Это подтверждает и «Постановление Верховного совета СССР по вопросам внешней политики», принятое на сессии 21 декабря 1957 года после речей Громыко и Хрущева, сформулированное в 7 пунктах.

А в речах:

«Суть дела, говорит Громыко, ... в том, чтобы западные державы отказались от проводимого ими опасного курса военных приготовлений, еще большего разжигания «холодной войны» и усиления гонки вооружений»...

И Хрущев: «Мы говорим представителям западных стран и, прежде всего, США — отправьте вашу неразумную и уже достаточно скомпрометированную политику «с позиции силы» на свалку истории. Ей там место!»

Наиболее полное представление об условиях и путях к рекомендуемому «сосуществованию» дают послания Булганина в середине декабря 1957 года (перед сессией НАТО в Париже 16—19 декабря 1957 года), индивидуализированные по странам Европы и некоторым странам Азии и Ближнего Востока, всего 84 государствам.

Анализ этих документов и отклики на них, как и ответы глав правительств, реакция общественного мнения во всех странах, высказывания политических и общественных деятелей — имеются во всей зарубежной русской прессе и в иностранной. Мнения очень различны, но тяга широких масс к смягчению международной напряженности так велика, что те или иные переговоры будут иметь место. На этом и построена вся советская акция.

Некоторые предварительные выводы и предположения все же необходимо сделать.

Действительно ли столь велика угроза войны и воля коммунистов к миру? Или — это только эпизод в давно уже длящейся «холодной войне»?

Коммунизм пришел к своему 40-летию юбилею в нашей стране с тяжелыми ранами. Идею коммунизм большинством народа не принят. Сопротивление ему продолжается, а после смерти единовластного тирана принимает порой активные формы. Призрак освободительной революции уже проникает в сознание советских граждан. В «народных демократиях» дело для власти еще хуже: «призрак» уже воплощался — в советской зоне Германии, в Польше, а в Венгрии вспыхнул в октябре 1956 года общенародной борьбой и победоносной внутренней революцией. Коммунистам пришлось ее задушить голой силой советских танков.

Прорывы именно на периферии советской империи понятны: эти народы испытывают двойное угнетение — своих и чужих коммунистов. Борьба против коммунизма сливается с борьбой за национальное освобождение и независимость — действительную, а не мнимую. Материальное положение, по сравнению с довоенным, там значительно хуже, чем в России, а срок памяти прошлых времен — значительно меньше.

В России национальный момент освобождения почти не играет роли. Все находится под одинаковым гнетом вненациональной системы. Национальный вопрос играет некоторую роль только в недавно присоединенных областях и «республиках» — в Прибалтике, Западной Украине (Галиции), есть национализм особого рода на окраинах Туркестана (Бухара, Хива), в такой, имеющей свою славную историю, стране, как Грузия, и среди свободолюбивых горцев Кавказа. В таких «республиках», как Армения, Азербайджан, Казахстан необходимость

связи с Россией сознается гораздо сильнее и крепче. Притом, последние две почти на 50 процентов по населению — русские.

За 40 лет советской власти, она создала новую интеллигенцию, часть которой все еще чувствует себя как-то коммунистической власти обязанной и вошла в фарватер новой жизни. За последние пятилетия жизни Сталина и после него как-то выкристаллизовались и новые правящие и ведущие слои, постепенно проникнувшиеся идеями государственности и социально-политического строительства.

Однако, исключительная по тяжести война 1941—45 годов встряхнула всю страну и поставила много новых вопросов. Смерть Сталина в 1953 году, в обстановке неудовлетворенных надежд, возникших во время войны и после ее конца, послужила началом нового периода с постепенным освобождением сознания от страха и осознанием необходимости новых путей. Это чувство захватило все слои народа и вызвало к жизни новые требования и задачи. Оно же привело к явлению реформизма и росту революционных антикоммунистических сил.

Чехарда наверху, временщики у власти, вынужденные уступки народу, заигрывание с массами, жертва Сталиным на XX съезде партии, — всё вело к укреплению общественного сознания, вызвало явления «оттепели» (1954 год) и даже «весны» (1956 год) в литературе, искусстве, во всех творческих силах советских граждан.

И во внешней политике сверху тоже пришлось дать отбой: была перемирием ликвидирована корейская авантюра, затем окончена война в Индо-Китае и даже на встрече глав «четырех великих» родился «дух Женевы» (1955 год), ожились переговоры по разоружению, возникли культурные связи, обмен делегациями и т. д. Кое-кто даже поверил в развитие «мирного сосуществования». Но «оттепель» в мировых делах продолжалась недолго. События войны с Египтом и восстания в Венгрии были ее концом (ноябрь 1956 года).

Верхи КПСС резко натянули вожжи, поняв, что отступать им некуда, и вода может подойти к горлу в самой России.

Выбрасывая балласт и соперников, — как догматиков (Молотов, Каганович), так и полуреформистов (Маленков, Шепилов), — Хрущев в роли клоуна начал «спасать положение» и паясничать внутри и вовне страны. Его долго не принимали всерьез, что дало ему возможность некоторой стабилизации внутри и даже победы над Жуковым (конец октября 1957 года). Хрущев начал прибирать партию к рукам и подминать под нее всех (от писателей до армии). Во внешней политике он занял агрессивную позицию и, пользуясь ослаблением единства между западными союзниками, повел активное проникновение на Ближний Восток: за Египтом — Сирия, потом Йемен и другие страны Азии и Африки.

Получив в свои руки достижения науки и техники — межконтинентальную ракету и спутников Земли (27 августа, 4 октября и 3 ноября 1957 года), руководство КПСС, экспонируя Булганина, начало интенсивное наступление на все позиции Запада. После угроз Турции, предупреждений по адресу западных держав о возможностях КПСС по уничтожению атомными ракетными ударами любой страны, после разрыва и саботажа переговоров по разоружению (в Лондоне и на пленуме Генеральной Ассамблеи ООН осенью 1957 года), превентивное наступление «в защиту мира» было организовано в планетарном масштабе в виде посланий Булганина; использован юбилей 40-летия и выдвинуто требование созыва совещания глав государств НАТО, Варшавского договора и ряда «нейтральных» с главными целями: признания существующего («статус кво») положения в Европе, ликвидации «холодной войны», прекращения враждебной пропаганды и установления такого «сосуществования», которое было бы преимущественно выгодно для руководства КПСС и дало бы ему передышку в гонке

вооружений, обеспечив сохранение тех позиций в Европе и в Азии, которые за все предыдущие годы захвачены КПСС. Все это — под флагом наивысшего миролюбия и заботы об освобождении народов мира от всех ужасов атомной войны. Такое соглашение было бы для правителей СССР особенно выгодно, так как позволило бы: во-первых, играть роль победителей в чемпионате мира, во-вторых, укрепить свое положение в СССР, и, в-третьих, создать предпосылки для дальнейшего «мирного» проникновения во внешний мир под ореолом миротворцев и благодетелей человечества.

По существу, замысел прост: временный раздел мира (отсюда и предложение о непосредственных переговорах с США) и выигрыш на свою сторону новых стран и широких масс народов, что сняло бы всякую внешнюю угрозу для коммунистических правителей и «развязало бы им руки» для дальнейшей своей «плодотворной деятельности».

Если даже не всё удастся, как задумано, то переговоры внесут разброд в единство западных держав, в круги их общественного мнения, и тем самым будет уже оправдано всё предприятие, сулящее по крайней мере пропагандный успех вовне и внутри страны и, во всяком случае, возможности накопления своих новейших средств войны. Угрозу со стороны Запада нужно отвести хотя бы на ряд лет. Руководство КПСС ведь все же понимает, что военный потенциал Запада остается выше, чем у СССР, с его лихорадочной экономикой и внутренними трудностями в стране и с «братскими народными демократиями». Сейчас, при некотором преимуществе в новейшей технике, как раз время вырывать уступки и закрепить свои внешние позиции.

Расчет делается на психологическую слабость демократического мира, на жажду всеми народами подлинного мира, на все иллюзии простого человека и не в последнюю очередь на то, что еще Ленин называл «глупостью буржуазии». В прошлом это оправдывалось уже не раз, — почему бы не попробовать спекулировать на этом вновь? Сейчас ведь еще есть союзники: Китай, Неру в Индии, Насер в Египте. Сукарно в Индонезии, легион нейтралитов и мостостроителей! Все они служат делу коммунизма, и мы должны обвести Запад вокруг пальца. Мы — умней и напористей...

Такова концепция руководителей КПСС. Она содержит элементы риска и авантюры — в случае срыва переговоров. Но, может быть, удастся и такой срыв пропагандно обратить против Запада? И в этом, увы, они, может быть, правы. Почему? — Да потому, что западные державы, во главе с США, не умеют вести игру на уровне, соответствующем вызову коммунизма. Они, как правило, не умеют мыслить категориями противника. Их собственные категории и поступки чаще всего — из архива прошлого и неадекватны современности по отношению к коммунистам. Отсюда — ошибки и частые проигрыши.

Задача, по существу, очень проста. Если, как мы полагаем, США действительно вооружаются только против угрозы коммунистической военной агрессии, ее боятся, а сами стремятся к сохранению мира, то они должны были бы, в первую очередь, держать в своих руках инициативу мира и использовать все средства для пропаганды мира. Между тем, они полностью предоставили эту инициативу коммунистическим правителям... Следовательно, надо ее вернуть и держать в своих руках. Почему Эйзенхауэр не мог бы посылать письма — всем, всем, всем такого же рода, как Булганин? Почему бы ему не перечислять грехи руководителей Советского Союза и не вносить своих конкретных предложений по обеспечению мира?

Скажут, США и другие западные державы уже не раз вырабатывали предложения по разоружению, они даже приняты в ООН и т. д. Но ведь все они — бледны, расплывчаты, слабы или построены на иллюзиях, а порой еще хуже —

с заведомо нереальных позиций. А это и дает козыри советской пропаганде: указывать на «неразумность», «нереальность», «политику силы» и т. д.

Теперь для Запада задача трудней, так как ему приходится оправдываться, разъяснять общественному мнению, обороняться от советского «мирного наступления». Но и сейчас еще вырвать инициативу из рук коммунистов можно. Нужно лишь смелость и прозорливость, нужно новаторство и дерзание, адекватные обстановке и вызову КПСС.

Вульгарно говоря, надо перекрыть коммунистов и дать такие предложения, которые переворачивали бы вверх дном всю стратегию правителей коммунистического мира. Например, создание Объединенного Штаба всех членов ООН и его вооруженных сил, пропорционально населению стран, с передачей этому Штабу всех средств новейшей военной техники, включая межконтинентальные баллистические снаряды и атомное оружие. Их сосредоточение на ряде пунктов земного шара под контролем этого Международного Штаба. Такое изъятие страшнейших средств войны практически ведет к невозможности их применения для целей агрессии.

Второе возможное предложение: объединение усилий деятелей науки и техники США и СССР (а также других держав) в освоении межпланетного пространства с созданием Международного органа при ООН для координации и контроля работ в этой области. Соглашение о только мирном использовании надатмосферного пространства.

Такого рода предложения, указывающие путь к избежанию применения средств уничтожения и их направлению на мирное использование для блага всего человечества, несомненно, были бы поддержаны общественным мнением всех народов и повернули бы их симпатии к Америке, если бы она их предложила. Для этого нужна только смелая инициатива и организация той «пропаганды мира», которой сейчас монопольно владеет КПСС.

Переведя центр тяжести на эти проблемы, решение которых открыло бы путь к действительному устранению опасностей мировой катастрофы в пламени термоядерной войны, Запад создал бы совсем новый климат для решения всех прочих международных споров и конфликтов. Обороняться от мирного наступления пришлось бы уже коммунистам, и либо они были бы принуждены идти на уступки, либо поставили бы себя в положение «голого короля», и каждый бы увидел их наготу.

Вернее всего, на этой почве началась бы новая стадия пропагандно-психологической войны, но в ней серьезные козыри появились бы уже у Запада, а не у КПСС. Это несомненно повлияло бы и на внутренние дела в СССР и укрепило бы позиции всех оппозиционных коммунизму сил. Тем самым оно стало бы фактором нарастания протеста внутри России против агрессивной и авантюристической политики нынешних правителей СССР, революционизировало бы обстановку и давало новое оружие революционным силам в борьбе с коммунистическим режимом. А это — самое важное, так как подлинный мир и сосуществование возможны лишь тогда, когда Россией перестанут управлять коммунистические вожди. В конечном итоге победить войну может только народно-освободительная революция в России. И это понимают вожди КПСС. Поэтому они сосредоточили сейчас такое внимание на выигрыше в «холодной войне»; им для сохранения своей власти над Россией, необходимы внешнеполитические успехи. Прорыв пространства и времени — их единственный шанс для мировой победы.

Задача Запада — парализовать змеиное жало коммунизма на фронте внешней политики. Вырвет же это жало сам русский народ.

О свободе

(Окончание)

О РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЕ

От общего понятия свободы перейдем к его проявлению в религиозной и моральной, общественной и материальной сфере жизни человека — и проверим, какие результаты дает применение диалектики свободы в каждой из этих областей.

Здесь мы не занимаемся ни философией религии, ни критикой исторически данного содержания веры в Бога. Мы рассматриваем живое религиозное сознание как манифестацию человеческой свободы. Бог — не предмет анализа и рациональной критики, но религиозное сознание принадлежит к исторической действительности и подлежит анализу.

Первое, что мы должны установить — что свобода религиозного сознания включает в себя возможность отрицания.

Знание несвободно, оно связано природой предмета знания. Кто знает, что дважды два — четыре, не волен отрицать это. Вера свободна. Человек всегда волен выйти из религиозной связи с Богом, и если бы это было иначе, он не был бы свободен в своем отношении к Нему. Каждый убежденный и страстный атеист с негодованием отвергнет тезис, что его позиция вытекает из природы религиозного сознания и составляет одну из предпосылок религиозной жизни вообще. Но его негодование не меняет существа дела. Богу нужен человек, способный на своеволие, отрицание и грех, без чего не было бы никакой заслуги и в вере. А человеку нужен Бог — создатель свободы, а не рабского подчинения. Условием религиозной веры является то поразительное обстоятельство, что каждая вера включает в себя свою противоположность. Бог отпускает человека. Человек отходит от Бога. Они расходятся и встречаются свободно. Бог человека не принуждает, Он лишь зовет его, и атеизм остается той отрицательной формой религиозного сознания, в которой выступает самостоятельность человека — его «противосвобода».

Атеист — человек, который до конца использует один аспект, одну возможность религиозной свободы. С точки зрения религиозного сознания, нельзя «оторваться» от Бога, и все мы, веруя или не веруя, одинаково участвуем в мире, созданном Им. Но быть религиозно свободным значит иметь открытую дорогу для отрицания Бога в теории и практике. Настоящее отрицание Бога — не логические упражнения мысли, «критика доказательств» существования Бога, — не моральный бунт Ивана Карамазова, который «почтительно возвращает Богу билет», — не литературные литании дьяволу из «Цветов Зла», — а мятеж на деле, практическое уничтожение смысла мира, какое в наше время показал Гит-

лер в газовых камерах или Сталин в своих лагерях рабского труда. Настоящее непризнание Бога приводит к попыткам «переделать мир», и переделать его так, чтобы отсутствие Бога было очевидно, чтобы «переделанный» мир находился в полном противоречии к Богу. Этот эксперимент религиозного сознания непременно входит составной частью, в той или иной форме, в каждый искренний и глубокий религиозный опыт: и ни один человек до тех пор не может назвать себя верующим по свободному решению и самоопределению, пока не прошел он через эксперимент отрицания — и на собственном опыте не проверил, что такое жизнь вопреки Богу, в сознательном отклонении от религиозных норм, построенная на исключительном самоутверждении и на доверии к силам обезбоженной природы.

Этот активный и воинствующий атеизм встречается, однако, в жизни человечества редко. Второй аспект религиозного сознания, — это сосуществование Бога и человека, или та свобода человека перед лицом Бога, которую можно обозначить как «Ноево состояние». До союза, до встречи Бога и человека Ной, по слову Библии, «ходил пред лицом Господа». „Infreiheit“, «внутрисвобода» религиозного сознания для огромного большинства выражается в конформизме их существования с Богом, в том, что, не отрицая, не ощущая Бога, не думая о Нем и не имея никаких религиозных проблем, — люди всё же остаются в пределах религиозного порядка вещей, и это их невысказанное и неосознанное согласие, которое они могли бы нарушить, но не нарушают, становится определением их свободы.

И наконец, полнота религиозной свободы достигается во встрече человека с Богом, в переходе от ноевой праведности к позитивной обращенности к Богу, какую мы находим у пророков, святых, религиозных гениев. Мы здесь не рассматриваем вопроса об объективном значении их проповеди. Мы видим вершину религиозной свободы в том, что Бог становится источником всё нового вдохновения, и религиозная жизнь, инспирируемая извне знамениями и событиями, подымается до новой полноты.

Феномен религиозной свободы, во всей ее диалектичности, нигде не проявляется так ярко, как в библейских образах Иакова, борющегося с Богом в поле Бет-эль, или Моисея, разбивающего скрижали. Пророк Божий чувствует себя настолько свободным в отношении к заповедям, т. е. к вверенному ему Слову Божию, что он по своему усмотрению возвращает их Богу. Он мог это сделать потому, что в представлении народа, создавшего и увековечившего этот миф, Моисей — не покорный носильщик и передатчик скрижалей по поручению Творца, а партнер в союзе и хозяин скрижалей. Народ жестоковыйный всегда сохраняет свою способность послушаться Бога. А человек, разбивающий скрижали, может, если найдет нужным, и вовсе их не принять, может отказаться от Союза (в самой идее Союза лежит эта возможность отказа), может отменить и самое понятие Бога. В образе Моисея уже предопределена возможность атеизма. А в самом крайнем и фанатическом неверии наличию такой выход за пределы только-знания, который равняется вере — в отрицательной форме.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОБОДА

Субъект политической свободы — отдельный человек, ее объект (то, в отношении чего свободен человек) — общественное образование любой степени сложности, начиная от рациональной организации, наподобие клуба или партии, и кончая историческими формами семьи, рода, народности, класса, нации и куль-

турной эпохи, в основе которых лежат иррациональные, бессознательные и неподвластные свободному решению данные.

Всякий раз, когда заходит речь об освобождении социальных групп — будет ли это эмансипация женщины или восстание в оккупированной стране или классовая борьба, — всегда носителями борьбы за свободу являются отдельные люди, и конкретная цель их борьбы заключается в их собственном освобождении. Эмансипация женщины — свобода Франции — освобождение рабочего класса — все эти требования относятся не к абстракциям и не к репрезентативным учреждениям, действующим от имени «женщины», «нации» или «класса», а к живым людям, в которых, через которых и для которых действует политическая свобода.

Стремление к свободе прежде всего принимает форму оппозиции темным и слепым силам, угрожающим человеку. Свобода личности в обществе выражается в желании свести к минимуму опасное влияние иррационального. Как если бы враждебные человеку общественные силы были стихией природы, которую надо связать, чтобы не быть ее жертвой.

Отсюда простая программа:

Во-первых, понять. Проникнуть светом сознания в темную ночь расовых антагонизмов, классовых мотивов, традиционных предрассудков, биологических механизмов. Понятые, они уже не опасны или менее опасны для нас, как человек с кинжалом, который, скрываясь за плечами, грозит исподтишка ударить, но в тот момент, когда мы его увидели и схватили за руку, он уже наполовину обезврежен.

Во-вторых, подавить хаос. С помощью рационального плана в общем интересе, — т. е. с помощью разумной организации можно подавить хаос.

Бесклассовое общество, генетический контроль, централизованное хозяйство, интернациональная солидарность «освобождают» человека, освобождая общество, к которому он принадлежит, от влияния анархических и нерациональных факторов.

Если бы эта дорога была правильна, то свобода свелась бы к царству Разума, а человек, в конечном счете, был бы сведен к положению кирпичика, из которого складывают идеальные общественные здания.

Осуществление этой программы, однако, наталкивается на решающие трудности, из которых становится очевидным теоретический дефект в ее основании. Отношение личности к социальному целому не есть отношение кирпича к стене, а социальные реформаторы, с какими бы превосходными намерениями они ни приступали к делу, сами не свободны от того социального зла, которое хотят искоренить. «Разум», на который ссылаются благодетели человечества, не безупречен, начинает служить их особым интересам и оправдывать новые формы насилия. В конце концов, он начинает уклоняться от критической проверки. Человек, притязающий на то, чтобы всё понимать, кончает тем, что перестает понимать самые простые вещи, перестает понимать свою собственную ограниченность. А подавляя во имя схемы неразумную, но живую действительность, — неизбежно приходит к ограничению и оскорблению той свободы, с защиты которой он начал.

В этих условиях приходится нам иначе формулировать понятие политической свободы, понятие, которое в наши дни возбуждает гнев «освободителей» человечества до такой степени, что они готовы заменить его проповедью террора и зверским фанатизмом дикаря, обрывающего птице крылья, чтобы удержать ее в своей пещере.

Первый и основной закон социальной свободы: личность неразстворима в

коллективе, а коллектив невыводим из личности, и всегда есть нечто большее, чем сумма его членов. Отсюда два следствия:

— нельзя «вмазать» личность в общество, как кирпич в стену, ибо этот жилой кирпич будет шевелиться, и стена развалится вопреки самому жестокому давлению строителей;

— и нельзя конструировать общественное целое по какому-либо рецепту, не учитывая неистребимой свободы, которая не укладывается в схемы самых гениальных конструкторов. Личность и коллектив относятся как анод и катод — два полюса в электрическом поле. Разрушая один полюс, мы не усиливаем другой, а разрушаем целое, для которого они оба необходимы.

И в самой личности еще совмещаются свет и тень, разум и иррациональное начало жизни. Ее свобода в общественных отношениях может выразиться, смотря по обстоятельствам, в далеко не разумной форме стихийного протеста. Прежде всего, это — свобода выхода из данного социального целого. Например, свобода в семье значит возможность развода, а для гражданина свобода выражается в том, что он принципиально может выехать из границ государства, в буквальном географическом и в духовном смысле этого слова. Лишенный этого права, он становится крепостным. Отсюда не следует, что надо непременно развестись или выехать за границу, чтобы реализовать свою свободу (хотя верно, что есть такие семьи и такие государства, где эмиграция — единственный способ спасти свою свободу). Однако, каким бы счастливым ни был брак, и каким бы демократическим — государство, только наличие права и объективной возможности от них отказаться делает пребывание в них свободным.

Нет социальной свободы без возможности по желанию перейти в оппозицию. И однако, в оппозиции не могут находиться все 100% членов коллектива. На заводе, где бастуют 100% рабочих, индивидуальный протест каждого из них направлен против дирекции, которая принадлежит к целому заводскому коллективу и неустраима из него. В предвыборной борьбе политических партий, какие бы острые формы она ни приняла, всегда заключается признание некоторых общих и бесспорных прав, той общей плоскости, в которой сосуществуют все эти партии. Никакая форма коллективного давления на личность или антагонизма между целым и частью, какой бы тоталитарный характер ни носила социальная организация, не исключает свободного согласования индивидуальных существований. Всегда сохраняется форма «внутрисвободы» — «Infreiheit» — в силу фактической разности между частным и общим. Даже находясь в лагере для политических заключенных, человек не может быть подавлен до конца, и ни в каких условиях не может вся его жизнь быть одним сопротивлением и противопоставлением.

Отталкиваясь от коллектива на одной ступени, сосуществуя с ним на другой ступени, — личность сближается с ним в процессе внутреннего согласования. В этой стадии свобода выражается во взаимодействии личности и общественного целого, во взаимной помощи, содействии и активной поддержке. Высочайшая свобода выражается в готовности на жертву, но жертвенность должна быть взаимной, и государство не может притязать на роль Молоха по отношению к отдельному человеку, не рискуя вызвать его на мятеж.

Попытка коллектива абсолютно подавить личность — это безумие сталинизма. Попытка одиночки абсолютно подчинить себе коллектив — это безумие гитлеризма. Оба рода безумия сближаются, ибо не в состоянии личность подавить коллектив, не прокламируя единства с ним («Государство это я» Людовика, или мистическое единство с Германией ее фюрера) — и не может коллектив подавить личность иначе, как через посредство личной же диктатуры («отец народов» и «вождь человечества»). Государства свободны, когда свободны их гражда-

не, и ни фальшивое тождество, ни фальшивые аналогии с семьей или армией не могут прикрыть антитезиса личности и общества.

МОРАЛЬНАЯ СВОБОДА

В одном из первых политических процессов Советского Союза, еще при жизни Ленина, произошла характерная сцена: обвиняемый католический архиепископ Цепляк сослался в объяснение своего поведения на ... совесть. Упоминание совести вызвало со стороны советского трибунала реакцию отвращения, брезгливости и иронии. «Ваша совесть», сказал с уничтожающим презрением советский прокурор, «нас совершенно не интересует». Это была понятная реакция со стороны функционера коллектива, в котором отрицается моральная свобода.

Совесть есть явление морального порядка. Моральная свобода или свобода совести возникает тогда, когда человек остается наедине с самим собой. Здесь совпадают субъект и объект свободы, и человек принуждается вступить в борьбу с самим собой.

Если, следуя заветам инквизиции, считать, что единое добро заключается в учении единоспасающей церкви, — или если считать по-советски, что хорошо то, что выгодно в данный момент коммунистической партии, то никакой моральной свободы не нужно. Достаточно повиновение авторитету. Последовательный коллективизм заменяет моральную свободу политической лояльностью. «Против Партии никто не может быть прав». Но эта замена — подлог, ибо речь идет о разных вещах, которые даже будучи совместимы, никогда не совпадают. Источник морали — внутри человека, там, куда не проникает власть социальных установлений.

И вот тройное обличие моральной свободы. Во-первых, это «противосвобода», когда человек противостоит хаосу и многообразию своих аффектов и страстей, случайному накоплению того, что вносится в его жизнь внешней необходимостью природы и механизированного общества. Человек стремится к целостности, никогда не достигая ее в сознании, и никогда не бывает завершен до конца в текущей действительности своей жизни. «Познать самого себя», как требовала греческая мудрость, или «быть собою до конца», как требовал романтизм XIX столетия, — цели неосуществимые. Жизнь сознания всегда незакончена, а сознание жизни всегда неполно. Эта постоянная незавершенность жизни и сознания привела современный экзистенциализм к дурной формулировке: «Человек есть то, что он не есть, и не есть то, что он есть». Такая формулировка логически недопустима, ибо здесь слово «есть» употребляется дважды в разных значениях: во временном для обозначения настоящего времени («есть» в противоположность «был» и «будет») — и в надвременно-логическом для обозначения всей целостности его существования («есть» в противоположность несуществованию). Но если не забывать об этой двузначности термина, то верно, что человек в любую минуту своего существования еще не есть то, что он есть потенциально, и наоборот — есть для охватывающей связи времен мысли бесконечно больше, чем помещается в данном моменте его существования. То, что он об этом знает, делает из него моральное существо, возвышает его над каждым данным состоянием сознания. Как субъект морали человек всегда находится в противоречии к актуальности данного переживания, которое проходит, от которого он освобождается, — по отношению к которому он свободен быть другим. Совесть есть единящее начало, относительно неподвижный пункт морального критицизма в смене явлений, дозорный пункт самокритики. Совесть исключает одно и требует другого. Беспокойство совести есть начало моральной жизни.

Но это лишь начало. „Le refus de l'instant“, (выражение J. P. Sartre'a в „L'Être et le Néant“) не более характеризует наше переживание времени, чем позитивное приятие мига. В течение времени мы «теряем» и «находим» беспрерывно, и моральность, моральная оценка, есть та форма, в которой мы вмешиваемся в этот естественный процесс, стремясь задержать и закрепить одни элементы жизни по сравнению с другими. В процессе становления моральной свободы реализуется некоторая мера внутреннего согласия с собой, душевная гармония, сознание исполненного долга, когда на внутреннем экзамене мы выставляем себе отметку: «хорошо» или «всё в порядке». Моральная жизнь не состоит из одних поражений, противоречий и борений. Есть состояние мира и морального покоя, сознание «хорошей устойчивости» — стадия «внутрисвободы». Эта идиллия становится обывательским эрзацем свободы, если мы устраним из нее чуткий и вечно живой критицизм совести. «Усыпить совесть» значит безвольно принимать себя таким, каким создают нас обстоятельства и инерция природы: жизнь ниже морального уровня свободы. «Обмануть совесть» значит отгородиться фикциями от действительного содержания своей жизни, т. е. подделать моральную свободу.

Моральное удовлетворение или равновесие — есть средняя или посредственная стадия моральной свободы. Через внутреннюю бдительность и многие моральные испытания, через опыт побед и поражений, человек достигает той высшей моральной свободы, какую дает ему сознание власти над собой, кристаллизация творческого морального принципа, который передается другим и действует в глубину собственной жизни. В этой стадии моральная энергия перерастает индивидуальные границы. Совесть как облагораживающее начало входит в личную жизнь не как случайный гость падений и взлетов, а как хозяин. Последнюю чеканку дает моральной свободе та внутренняя сила, которая никогда не достигается одним отъединенным усилием одинокой личности, а строится на общем моральном опыте — на резонансе веков и совместном подвиге морально творческих людей.

ПРИРОДНАЯ СВОБОДА

Нам остается рассмотреть свободу человека в природе. Подобно тому, как общество, в котором мы находим себя, всегда есть конкретное общество в определенных исторических границах, — так же и природа, в которой мы существуем, не есть просто абстрактная материя, а прежде всего, — собственное тело и его непосредственное материальное окружение. Натуральная свобода приводит нас к старой проблеме о взаимоотношениях духа и тела. Тело подлежит ведению естественных наук. Физические тела несвободны, и если всё, что существует за их пределами, это «отражения» и «функции», то для свободы не остается места.

Двести лет тому назад Ламметри написал книгу «Человек-машина». Сто лет позже материализм распространили на историю, понятую как технологический процесс производства. Но только в наши дни начинает выясняться общественный смысл теории несвободы человека, — т. е. практические последствия теоретического отрицания свободы. Теория несвободы нужна тоталитаризму и потенциально уже содержит его в себе. В противоположность этой теории мы отрицаем, что душевное и духовное представляют «продукт» природы; мы видим в том и другом творческое продолжение природы, необъяснимое, исходя из самой природы. Только при таком понимании становится возможным понятие «природной свободы». Чтобы его оттенить, вернемся к тому понятию, которое заменяет «природную свободу» в системе детерминизма: к понятию «господства над природой».

Кто такие «господа природы» в представлении современных апологетов насилия и диктатуры? Это — люди прикладного знания, техники, строители, планировщики, в свою очередь руководимые политиками. Другими словами, это — по точному смыслу рассматриваемой теории — живая материя; действующая по законам живой материи. Речь идет, следовательно, о подчинении неорганической материи сознанию, о властвовании живой материи, которое не ограничено сферой природы, потому что «господа природы» похожим образом подчиняют себе и общество. В одном и другом случае разумная человеческая воля вмешивается в течение стихийных процессов, используя знание об их структуре. «Господство над природой» не значит «господство над законами природы»; наоборот, это крайнее им подчинение, вплоть до признания их за единственную имеющую практическое значение структуру мира. «Господа природы», конечно, не идут против законов природы, а выполняют то, что указано «познанной необходимостью». Над чем же они, в таком случае, господствуют? — и что есть в природе, кроме законов? Неразложимый до конца, инфрабесконечный субстрат индивидуального: «здесь и теперь». Его назначение — хочет ли он того или нет — двигаться по законам необходимости, и никаких других двигателей или внутренних мотивов ему не полагается.

Итак, «господство над природой» сводится к господству над иррациональным, над конкретной тканью того, что составляет нашу жизнь, а в более общем смысле, — всякое конкретное бытие, будем ли мы иметь в виду движение электронов, психические процессы или судьбу миллионов живых существ. Когда Энгельс нам рассказывает (в «Анти-Дюринге»), что из познания законов вытекает «возможность заставить эти законы действовать», то это не более, как *façon de parler**) или глубокое недоразумение. «Заставить законы действовать» мы не можем, ибо всякое мнимое «принуждение» или применение закона, в форме ли акта мысли, или проекта частного лица, или постановления правительства, — само есть в силу той же теории непосредственно «продукт мозга», а посредством продукт исторической необходимости, нечто неизбежное, и свободы здесь не больше, чем в прочих продуктах механических процессов с их диалектическими «отражениями» и «превращениями». Сказать, что человек свободен, потому что он заставляет служить себе «познанную необходимость», значит посадить его верхом на законы природы, как сажают всадника на лошадь. Всадник не может получить от лошади больше того, к чему способна лошадь, но он действительно свободен по отношению к ней, например, может слезть с нее и может обращаться с лошадью самым разным образом. Попробуем, однако, принять теорию, согласно которой всадник есть «отражение» лошади или «функция лошади», что он сам «надстройка» лошади или ее «продукт» — та же лошадь, но в другой форме — «примат лошади над всадником» — в этом случае мы очень возвеличим лошадь, но свободу потеряем. В теории диалектического материализма, если продумать ее до конца, «лошадь»-материя сидит на всаднике и направляет его действия туда, куда ее ведут лошадиные, подчеловеческие законы.

«Природа» — по словам Фейербаха — «нечеловеческое существо». („Natur ist ein unmenschliches Wesen“). Это не мешает тому, что теоретики и практики диалектического материализма — люди, со всеми особенностями человеческих существ и с этим опасным даром свободы, порождающим все доброе и злое в мировой истории. Они умеют оседлать материю и поднять ее на дыбы не хуже других. Но объяснить своей свободы они не могут и в этом объяснении не заинтересованы. Принципиальное отрицание свободы и перетолкование ее в «гос-

*) Манера выражаться.

подство над...», оказывается в их руках необыкновенно ловким и удобным приемом в борьбе за власть, освобождая их от всяких моральных и общественных стеснений. Выводя свою свободу господствовать из диалектической необходимости самой природы, они проповедуют не что иное, как необходимость для «лошади»-материи именно их нести на своей спине. Это неплохой аргумент для агитации, но он совершенно неприемлем для тех, на спине которых эти «философы» хотят ездить.

Одно из двух: либо познание законов природы (или материи), и основанное на этом знании поведение человека не прибавляет ровно ничего к всемогуществу законов природы, и тогда свобода есть звук пустой, и человек сам себя обманывает, употребляя это слово, как ему велят диктаторы-террористы, — либо мы, действительно, вырастая из материи, перерастаем ее — и в познании, воле и всех формах духа имеем нечто новое, нечто другое, не рабский придаток, не отражение, не эхо, не галлюцинацию природы, а источник самостоятельной энергии жизни. Тогда — и только в этом случае — можно говорить о природной свободе. Можно стать в позицию свободы по отношению к своему телу и его материальному окружению только в том случае, если природа и ее закономерность не исчерпывают и не определяют всего бытия человека и не навязывают ему в каждом положении одной-единственной дороги судьбы.

Материализм в любую историческую эпоху есть учение, отрицающее достоинство и гордость человека. В XVIII веке им пользовалась революционная интеллигенция в борьбе против церковников и феодалов; в XIX веке им пользовался марксизм в борьбе против буржуазии. Но в XX веке все более становится ясно, что материалистическое учение о несвободе человека не ограничивается пределами одного класса и обращается против самого пролетариата, который его принимает. Материализм чреват тоталитарной диктатурой, как змеиное яйцо — ядовитым гадом. В наши дни из учения, что при единстве интересов не может быть разницы во мнениях, прямо вытекает сталинский режим политической и духовной монополии власти.

Отказываясь от этого учения, которое всегда и при всех условиях есть преддверие диктатуры, мы не отрицаем ни материальной природы, ни объективности положительного знания, ни ограничения свободы закономерностью природы. Мы не превращаем материализм в его противоположность, т. е. в учение о таком всемогуществе духа, по отношению к которому природа, в свою очередь, представляется «отражением», или «эманацией», или «продуктом» внеприродных сил. Такого рода идеализм заходит дальше, чем безусловно требуется нашим сознанием свободы. Свобода невозможна, если дух и тело теряют относительную независимость, и один из них присваивает себе абсолютную власть. Такая неоправданная узурпация означает в жизни нестерпимое и неестественное насилие. В мире, который был бы создан строго по проекту материализма или спиритуализма, неоткуда было бы взяться свободе. Закон определял бы всё, преступить его было бы невозможно. Не было бы ни преступлений, ни заслуги, ни дерзания, ни отклонения. Понятие свободы возникает в борьбе за эмансипацию, когда человек — живой и не укладывающийся в схему — подымает мятеж против догматических теорий о Боге и природе, против каждой попытки окончательно и бесповоротно стабилизировать его положение в мире. При этом борьба за свободу не может разрушить те предпосылки, на которые она опирается. Свобода по отношению к природе опирается на существование природы, противостоящей человеку.

Наметим теперь три стадии свободы человека по отношению к природе.

Начнем с противосвободы. Ее самое крайнее и резкое проявление мы находим в постоянной возможности уничтожить свое существование в природе:

выйти из нее, разрушив свое тело. Человек, по выражению Гейдеггера, есть *Platzhalter des Nichts* в системе бытия. Ему дано в любой момент «выйти из круга» — прекратить ценою смерти все отношения с природой. «Ибо ты прах, взят из праха и вернешься в прах» — эта библейская мудрость рассматривает человека в плане природы. Но есть и другая перспектива: природа в плане человека, который не есть прах, и даже переставая существовать, не «возвращается» в прах. Свободен тот, для кого даже смерть может быть формой самоопределения, как у Сократа или Иоанна Гуса...

Это крайний случай. Но то же отношение свободы мы находим во всех формах аскетизма, — в вызове, который человек бросает своему телу: «Если око твое соблазняет тебя — вырви его». Через все формы умерщвления плоти человек не перестает пробовать пределы своей власти над природой. Систематическая тренировка, самодисциплина и работа над своим телом спортсмена, любопытство и неутомимое терпение дрессировщика вытекают из той же позиции «противосвободы» человека в природе. В дальнейшем развитии она превращается в опасную игру, в попытку преобразовать стихии, заставить природу выдать свои тайны, — в экспериментирование, целью которого является творческое вмешательство в процессы природы. Без этой «противосвободы» не было бы ни разложения атома, ни конструкции новых элементов материи, обязанных своим существованием свободе человека.

Дрессируя природу, как если бы вся она была чудовищным хищным животным, борясь с животным началом в себе, человек, великий укротитель, до конца использует слитность, единство и разность духа и тела. Он начинает с отрицания, с отмежевания себя от природы, которое неизбежно включает в себя и самоотрицание: этой ценой он платит за свою природную свободу. Человек вносит в мир отчуждение и ненависть. Но чем сильнее его деятельный дух, чем больше он себя выделяет из природы, тем яснее становится второй момент: *Infreiheit* — внутрисвобода, конформизм и согласование духа и плоти, их сосуществование, *mens sana in corpore sano**) — и в самом широком смысле слова кооперация человека с природой.

Эта совместимость человека с природой имеет свои границы. Попытки представить ее как идиллию нелепы. Мы знаем, что в каждом отдельном случае она кончается катастрофой. Рано или поздно природа нам отказывает в содействии... и роман жизни кончается изменой, корни которой уходят в самое основание жизни. Несмотря на это, переменный ток «внутрисвободы» продолжает существовать в истории духа, как его неперемненное условие. Наши индивидуальные сил надолго не хватает ни на поединок с природой, ни на сожительство с ней. Но жизнь не иссякает в русле природы, без конца она возобновляется и размыкает берега силой свободного развития. Сознание есть то, что бросает вызов природе, как вечная угроза висит над ней, — возвращается после каждого поражения, отходит после каждой победы, — и способно к свободному единству с ней. Человек не раб природы, и природа не раба человека: обе эти теории представляют грубое метафизическое упрощение. Из опыта человек и природа известны нам как соперники, — иногда как любовники, — и чаще всего, рядом, бок о бок, вместе, как элементы одного целого.

Это отношение «внутрисвободы» не следует понимать как «подчинение» или необходимость. Сознание, как река, течет в берегах природы; но нельзя сказать, что берега заставляют реку течь так, а не иначе, что берега — причина, а река — следствие. Возьмем, как пример, возникновение жизни на земле. Жизнь

*) Здоровый дух в здоровом теле.

возникла на земле в условиях, которых нет на других планетах, но из этого никоим образом не следует, что она возникла из этих условий с чисто материальной и причинной необходимостью. Из того факта, что жизнь отдельного человека дана в неразрывном единстве с конкретным процессом природы, вовсе не вытекает, что она во всем своем содержании представляет их неизбежный механический или диалектический «результат» — продукт необходимости. Действительность нашего существования — это *Infreiheit* в большей или меньшей мере. Это сожительство с природой на всем своем протяжении сопровождается напряжением конфликта, но так же легко оно переходит в *Mitfreiheit*, в гармоническое содружество с природой.

Здесь третий аспект природной свободы. Человек не может быть собой, не участвуя тем или иным образом в материальном процессе природы, воздействуя на него или противясь ему, преодолевая его сопротивление или следуя его импульсу. «Следование импульсу» не есть механическое принуждение или фатум: надо видеть его в общей связи природной свободы. Одно из самых очевидных проявлений позитивного союза с природой мы имеем в пластических искусствах: их развитие лучше всего демонстрирует нам соработу человека с природой. Природа дает искусству не только материал, но и первые эстетические идеи. Красота ландшафта, краски и формы существовали до живописи, и независимо от живописи. Классическая теория искусства недаром формулировала задачу искусства, как «подражание» природе. Но в действительности художник не привязан цепью к природе.

Он свободен настолько, чтобы творчески продолжать природу в искусстве. Рабское копирование того, что было до искусства, лежит вне искусства.

Художник, преодолевая сопротивление материала, действует в его пределах, но полной победы он добивается только в союзе, во взаимодействии с силами природы. Музыка не отражает природы, но прекрасный голос и физическая одаренность виртуоза — природные данные, и без них нельзя реализовать музыки. Монументальное зодчество не только оформляет и закрепляет материал природы, но и полностью принимает его в себя и живет его природными качествами.

Но самое неоспоримое и чистое проявление свободного союза человека с природой содержится в явлениях роста и созревания духовных сил, обусловленных органическим ростом в самом человеке и вокруг него. Человек растет — и с ним вместе созревают его талант, дела и творческая индивидуальность. Можно ли видеть в этом одностороннюю зависимость? Можно ли толковать трагедию Шекспира, музыку Бетховена, роман Достоевского как необходимый результат физиологической, физической, исторической необходимости?.. В основе каждой такой «дедукции» лежит правильный учет внешних и внутренних обстоятельств, но никакое творчество не следует логически из определенных данных. Не только гениальное творчество, но и самое заурядное происшествие конкретной действительности невыводимо из общих условий заранее во всей полноте своего существования, и надо быть слепым доктринером, враждебным полноте жизни, чтобы видеть в ней только то, что соответствует схеме. На всем протяжении динамического процесса жизни она включает в себя нечто новое и неожиданное, и свобода ее не менее, чем в отрыве и самоутверждении, проявляется в обогащении тем, что действует извне. Сознание свободы по отношению к природе — не только сознание «инакости», но и сознание того, что природа нас «держит», и нам с ней до известного предела «по пути». Всё, что существует, обставлено причинными рядами и условиями, как высоким забором, но за ним мы находим свободу человека быть в пределах и быть заодно с природой. Молодость духа и

молодость тела образуют одно целое, и в росте молодого и здорового существа жизнь достигает предела свободы не в отрешении от природы, и не «рядом» с ней, а благодаря ей и через нее.

КАТЕГОРИИ СВОБОДЫ

В каждой из областей религиозной, моральной и общественной жизни свобода выражается по-своему. Возникают особые формы или (говоря языком традиционной логики) категории свободы: в области религиозной — заповедь, в области моральной — долг, в области общественно-политической — право.

Заповедь есть религиозный наказ, добровольно принимаемый на себя человеком. В еврейском понятии «мицва» в особенности ясна желанность заповеди, ясно, что исполнение религиозного наказа одновременно и обязанность и право человека, его привилегия и знак его избранности. В чисто религиозном сознании смысл свободы сводится к исполнению заповедей, и каждый религиозный еврей знает, что «время дарования Торы на Синае» было временем дарования свободы в ее положительном и законченном историческом выражении.

Также и в моральном понятии долга совпадают право и обязанность. В этом смысл автономии морального сознания. Право дать себе самому закон морального поведения и обязанность с ним считаться совпадают с понятием личной совести. Объект и Субъект морали совпадают. Если я требую от себя служения правде и человечности, то это мое величайшее право — самому себе начертать дорогу и поступать по совести. И одновременно это право есть также и моя обязанность.

И только в области политической свободы расходятся право и обязанность. По отношению к обществу или государству конкретное содержание свободы есть право. В тоталитарной организации, отрицающей свободу, коллектив прежде всего налагает на человека обязанности, диктует ему законы его поведения и взамен за послушание и лояльность — предоставляет ему карикатуру «прав». Такая точка зрения, при которой право есть зарплата, предоставляемая обществом за выполнение обязанностей — враждебна концепции свободы и враждебна человеку. Примат права означает, что общество признает величие свободы, его цель — освободить человека от подчинения внешним силам. И только там, где право одного противостоит праву другого — на их границе возникает обязанность, как результат согласования и равновесия прав отдельных лиц. Всякий другой подход приводит к гибели свободы.

Обязанность возникает на пересечении двух прав. Нет обязанностей без прав, — этот принцип лежит в основании политической свободы. Этот принцип необратим, т. е. только исходя из прав, можем мы прийти к формулировке обязанностей, но не наоборот: нельзя обосновать понятия права, исходя из обязанностей. Если бы было верно, что человек только классовая, расовая, групповая единица, целиком подчиненная и руководимая законами того общественного целого, к которому она принадлежит, то в этом случае обязанность была бы основанием его жизни, но, вместе с этим, было бы отнято всякое основание, всякая реальная возможность его свободы в коллективе. Ему ничего не было оставалось, кроме безропотной покорности и смирения пред «милостью» коллектива. Но это не так. История есть непрекращающаяся борьба за права человека, и мы имеем полную возможность определить их, исходя из позиции свободы.

Мы различаем три группы прав человека и гражданина:

Те, в которых выражается его «противосвобода», его «внутрисвобода» и «со-свобода».

К первой группе относится право выйти из границ данного коллектива, т. е. покинуть границы общины или государства, переменить гражданство, или если нарушены основные законы свободы, право восстания и борьбы за свободу.

Ко второй относятся все те права, которые закрепляют за членом коллектива внутри коллектива сферу самостоятельной жизни. Это принцип: «Мой дом — моя крепость», свобода мысли, совести, политической деятельности, — неприкосновенность личности и частной жизни, — право свободного выбора труда и места жительства... Совокупность этих прав закрепляет за человеком самостоятельную позицию внутри общества, но еще не содержит в себе положительного требования человека к обществу.

Третья группа прав прокламирует связь личности и коллектива, свободу человека не вопреки обществу, и не в его границах, а через коллектив и благодаря его помощи. И здесь место социальной свободы — права человека на минимальный стандарт, на защиту и опеку, на всё то, чего он не в силах добиться одним личным усилием.

Все перечисленные нами права не являются врожденными, и нельзя их обосновывать чисто исторически. Свобода не более «врождена» человеку, чем самое позорное рабство и унижение его достоинства. Одно и другое зависит от его воли к свободе, от творческого поиска и усилия его духа. Свобода не врождена, ее надо выбрать. Один тот факт, что определенные права исторически возникли, были прокламированы и служили целью борьбы в разные времена, еще ничего не говорит нам об их глубочайшем источнике и стимуле. Что такое «право человека»? — Реализация прав в истории только начинается, нельзя видеть в них готовые исторические факты. Совесть и религиозное самоопределение основываются на решении и на способности человека к свободе. Что касается прав человека и гражданина, то они аналитически вытекают из его политической свободы. В обществе, которое быть свободным не хочет или не может, эти права не существуют, и словесная прокламация их остается пустым звуком. Какое «право на свободу» имеет человек в коллективе, который господствует над ним, бесконечно превосходит его силой и может раздавить его в любое мгновение? Какое право имеет человек требовать от общества тех вещей, которых он не может достичь личным усилием? Какое право имели евреи в гитлеровской Германии на сохранение чести или жизни? — Все эти вопросы неправильно поставлены, ложны в корне. Свобода не вытекает из прав, — права вытекают из свободы. Взятая в целом, политическая свобода не есть ни абстрактная норма, ни действительное состояние, в котором себя находит человек в обществе. Не «идеал-только» и не «историческое данное». Свобода есть динамическое состояние человека между потенциальной полнотой и действительной стесненностью его существования. Богу, который откажет человеку в свободе, человек откажет в вере; моральной слабости и цинизму, для которого совесть — ненужное бремя, человек откажет в уважении; а обществу, которое издевается над требованием свободы и оставляет власть в руках тиранов и палачей, человек, носитель свободы, противопоставит не аргументы и доказательства своих прав, а восстание. На вопрос — «какое право имеет человек иметь какие бы то ни было права?» — человек отвечает всей целостью своего существования, творческой волей и творческим делом.



Переходя от религиозной, моральной и политической свободы к условиям природной свободы, мы констатируем одно глубочайшее различие: по отношению к природе нет речи о правах.

Человек может уповать на Бога и обращаться к Нему с молитвой или вызо-

вом. Он может ставить требования себе и защищать свои права пред подобными себе. От природы он ничего требовать не может. Природа ему ничем не обязана, и напрасно обращаться к ней с «декларацией прав». Категории моральной, религиозной и политической свободы неприменимы к природе. С религиозной точки зрения можно видеть в человеке «царя творения», ради которого были созданы животные и весь мир, но в жестоком поединке между творческим гением человека и грубой мощью стихий человек может предъявлять требования только к самому себе.

Это причина того, почему каждое ограничение прав человека, каждый заговор против его свободы, каждая тирания, которая в наши дни ищет для себя теоретического обоснования, вырывает человека из религиозных и моральных связей, чтобы поставить его лицом к лицу с природой и перетолковать всю его общественную и сознательную деятельность в результат, в продукт или отражение природных процессов, т. е. таких процессов, которые духу человека неподвластны. Человеку в природе никаких особых прав не полагается. Деспотия, которая займет «научную» позицию от имени природы, может, как следствие, пытаться подвергнуть его сознание соответственной обработке и превратить человеческую массу в «прах земной», в живую материю, обязанную подчиняться и лишенную прав.

Но если природная свобода не формулируется в правах, то она имеет свои особые пути и определения. Природа — великая производительница: всё, что в ней происходит, переходит из одной стадии в другую, беспрерывно меняются формы и гибнут, переходя одна в другую. Продукты природы вытесняют друг друга и поглощают друг друга. Только в одном месте нарушается этот порядок. Яблоня вырастает из зерна, и плоды ее, в конце концов, конsumируются другими. Но одаренный сознанием человек отличается от яблока, выросшего на дереве тем, что это такой «продукт», который сам себя конsumирует. Этот внеприродный процесс «самоконsumирования» мы называем «внутренней жизнью», «самосознанием», «духовной активностью». Образно говоря, «природная свобода» человека есть не что иное, как распоряжение яблоком самим собою, которое не меняет и не отменяет материального содержания, но добавляет к нему то, чего нельзя выразить в терминах природы, не фальсифицируя его.

Райское яблоко природной свободы растет не на каждом дереве. Нельзя его объяснить ни религиозным мифом, ни моральным императивом, ни «правом» сознания выйти за пределы природы. Здесь налицо — конкретное достижение. Рождается чувство. Рождается мысль. Рождается воля. Они свободны по отношению к природе, ибо единственные из всего, что существует в природе, они не просто существуют на потребу другого, но и для себя. История свободы человека, как природного существа, есть чудесная и увлекательная история освобождения человека из камнеподобного, плодоподобного, косного состояния чистого продукта природы — в ее консумента, в ее партнера и — пока еще в очень незначительной степени — в ее хозяина.

Библиография

„Звезда“ — 1957

(Годовой обзор журнала)

В течение года в редакции журнала произошли некоторые перемены. В мае ушел долголетний главный редактор В. Друзин. В настоящее время Друзин — заместитель главного редактора «Литературной газеты». Заменял его Г. Холопов, вошедший в редколлегия журнала лишь в феврале 1957 г.

В ноябре был выведен из состава редколлегии критик А. Горелов. Если принять во внимание, что на общем собрании писателей Ленинграда в июне 1957 года и на пленуме Ленинградского горкома партии в октябре 1957 г. А. Горелов подвергся серьезной проработке, то можно заключить, что отвод Горелова был сделан в целях «оздоровления» редакции журнала.

На том же пленуме секретарь горкома И. Спиридонова поставила на вид редакции, что журнал слабо откликается на важнейшие события жизни и что в юбилейный год не было ни одного значительного произведения о рабочем классе.

Редакция поспешила утешить эти замечания.

В декабре, при обсуждении работы печатных органов Союза писателей СССР, в Секретариате Союза писателей Г. Холопов заявил: «Журнал «Звезда», работая с авторами, уделяет сейчас первостатейное внимание темам, освещающим жизнь советских тружеников, темам рабочего класса, борьбы колхозного крестьянства за крутой подъем сельского хозяйства». («Лит. газета» № 145).

Упреки Спиридоновой в адрес редакции вполне справедливы: на важнейшие

события жизни журнал откликается слабо. Так, например, на августовскую статью Хрущева, внесшую, по мнению некоторых критиков, «мудрую ясность» в умы писателей, журнал отозвался лишь в декабрьской книжке статьей А. Дымшица «По велению души и сердца».

Современность почти не отражена как в поэзии, так и в художественной прозе. Подавляющее большинство произведений относится, самое позднее, к годам войны. Значительных произведений о рабочем классе также нет в журнале. Впрочем, это относится не только к рабочему классу. Весь журнал как бы окрашен в серый цвет. Ярких, впечатляющих произведений почти нет.

Наиболее крупное, вернее большее произведение из отдела поэзии — роман в стихах И. Авраменко, «Дом на Мойке». В советской печати о нем уже появилось несколько весьма благожелательных отзывов.

Но, прежде всего, это не роман, о чем говорит и критик Зел. Штейнман: «... слово «роман», впрочем, следует понимать здесь в сугубо условном его значении...» «Дом на Мойке» — это ряд эпизодов, из которых одни действительно хороши, других же без ущерба для автора, могло бы и не быть.

В журнале роман «печатается в сокращении», как сказано в сноске. Но, несмотря на сокращения, прочесть его полностью можно при известном упорстве. Что же касается определения «в стихах», то обращаюсь к его критику К. Бикбулатовой, которая, считая, что «Дом на Мойке» — «явление примечательное», пишет: «Иногда мысли, образы, рифмы, сравнения у него настолько

Журнал «Звезда» № 1 — № 12, Госиздательство художественной литературы. Москва-Ленинград, 1957 г.

неудачны, поспешны, приблизительны, что могут сразу оттолкнуть читателя, заставят его отвернуться».

Лирическая поэма Б. Шмидта, «Весенние звезды» — нечто настолько беспомощное, что останавливаться на ней не стоит.

На творении Б. Кежуна стоит остановиться ради курьеза.

«Рассвет над Невой», лирическая поэма. Название привлекательное. Но в чем же заключается лирика этой «поэмы»?

После небольшого вступления начинается рифмованное славословие Ленину. В этом славословии встречаются такие «лирические» перлы:

Мы скрывали его
от ищеек царя!
От суда палачей,
от штыков юнкеров,
От расправы корниловских
офицеров!

И то, что имя Ленина упоминается в «поэме» более семидесяти раз, не прибавляет славы ни Ленину, ни, тем более, Кежуну.

Совсем особо стоят поэмы В. Луговского, в которых чувствуется и бесспорный талант, и искренность поэта. В журнале помещены: поэма «Новый год» и две поэмы из книги «Середина века» — «Берлин — 1936» и «Москва — 1956».

«Москва — 1956» — сильная и жуткая вещь. В ней отразилась трагедия и обреченность того, кто поверил в «чистый ветер Октября» и пошел «по золотой стезе» «к родному ленинскому свету». «Золотая стезя» ведет через кровь, кости, предательство, духовную гибель. Только вера в истинность «ленинского света» может оправдать все жертвы, может примирить со всеми ошибками.

... О, город мой, ты — средоточье века.
Ты понимал жестокий ход событий,
Ты знал, что даже в самый
страшный час
Мы шли вперед. По крови? Да, по

крови.
(Курсив здесь и дальше наш. — И. Г.)

И по костям? Да, по костям. Спроси
У тех костей — за что погибли люди?
Тяжелый ты ответ тогда услышишь

И справедливый: Люди, мы боролись
За коммунизм. Живите! Мы
простим!...

... О, город мой, какой невероятный,
Что ночью снятся мне звонки ночные
(О, год тридцать седьмой, тридцать
седьмой!),
Что ночью слышу я шаги из мрака —
Кого? Друзей, товарищей моих,
Которых честно я клеймил позором.
Кого? Друзей! А для чего? Для света
Который мне тогда казался ясным.
И только свет трагедии открыл
Мне подлинную явь такого света.
Но ленинский огонь еще светлей,
Чем свет трагедии, прямой и жгучий...
... И все же видел ты, что

оглуплялись
Умы и души, полные тревоги,
Чудесного, земного беспокойства
За новый взлет, за красоту открытий.
Ты видел, как стандартным черпаком
До дна исчерпывались эти души.
Ты видел, как догматиков скрипучих
В мертвящий плен цитаты загоняли.
И все же вопреки железной скуке
И мерзостному холоду канонов
Рвались под солнце зло, неудержимо
Десятки тысяч годлиных людей,
Талантливых, умелых,
непреклонных...

Но только не надо вести к этому «свету». Каждый сам, по своей воле, должен идти к нему:

... Я сам пойду по золотой стезе
Той государственности, что ведет
Меня к родному ленинскому свету,
И, если от него я уклонюсь,
Мне будет плохо, никому другому,
Как человеку, что пошел на холод
Из теплого родительского дома.
Подозревать меня ни в чем не надо.
Довольно подозрений. Хватит с нас!

Надо верить в «чистый ветер Октября». Нельзя в нем сомневаться. Стиснув зубы, не оборачиваясь, надо идти вперед.

... А если вкралась черная неправда,
Она не осквернит наш трудный путь,
Заставит лишь большее биться сердце
Иль разорвет его, или положит
В него кусок спокойного свинца.

Дымшиц поставил народную поговорку «Коли с правдой, так не один». Мне кажется, что автор статьи несколько упрощает мысли Розена, а эпиграф никак не подтверждается всем содержанием романа. Да, в конце концов, «порок наказан и добродетель торжествует», но восторжествовала-то добродетель, главным образом, благодаря стечению обстоятельств. Дымшиц пишет: «За Федоровым правда, за ним признание всех мыслящих офицеров...»

По мнению Дымшица «крушение Бельского, крах Кирпичникова, падение Рясинцева и катастрофа Симочки закономерны, их поражение — это победа нашего общества». Нет, не закономерны. Не вернись во-время из отпуска начальник политуправления Ветлугин, съели бы комдив Бельский и замполит Кирпичников майора Федорова без остатка, как съели они замполита Балычева.

Есть в журнале две пьесы: Н. Никитина «Фирсовы» и Н. Эльяшевой «Ливень». Первая — с претензией на эпопею. Первое действие — октябрь 1917 г., второе начало тридцатых годов, третье — война, четвертое — наши дни. Пьеса «идеологически выдержана». Это все, что можно о ней сказать.

В пьесе «Ливень» есть удачные сцены, встречаются интересные мысли, но в целом произведение бледное и в драматическом отношении интереса не представляет.

Выделяется среди «словесной руды» роман Ю. Германа «Дело, которому ты служишь». Роман не закончен. В двенадцатом номере журнала конец первой книги романа. Живые образы, интересные мысли, яркие эпизоды. Невозможно дать полную оценку романа, так как облик Володи Устименко, героя романа, еще не закончен. Володя — десятиклассник, студент, молодой врач. Для Володи «дело, которому ты служишь» выше всего. Но за этим делом, за служением Володя порой забывает о людях, пренебрегает ими. «Дело» у него становится выше живого человека. Володя честен и принципиален. Но эта принципиальность граничит иногда с жестокостью, делает его эгоистом.

Вот что говорит Володе Варя, девушка, которую он любит: «Там, в институте, ты наверно, вовсе не эгоист, но тут — это даже страшно».

Позже, та же Варя, назвав Володю сектантом-самосжигателем, говорит следующее: «—В общем, я устала от тебя... И от твоих грубостей устала. Кроме того, мне надоели проповедники, среднее образование у меня уже есть, что Волга впадает в Каспийское море — мне известно. А ты, Вовочка, слишком чистенький. Иди своей дорогой, свети другим, сгорай сам, а я пойду своей тропочкой».

Среди товарищей-студентов Володя не пользуется любовью. Беспощадный к себе, он становится непримиримым и к другим: «ему и в голову не приходило жалеть заваливающихся у экзаменаторов студентов, на какие бы причины ни ссылались эти бедняги. — Гнать в шею! — говорил он на комсомольских собраниях института».

Стремясь следовать завету «сгорая сам, свети другим», он сжигает и других. И в то же время, Володя порой сам сознает, что в чем-то он неправ: «Володя остался один со своими печальными мыслями и с хворым Шариком. И, надо отдать ему справедливость, — как следует всыпал себе за свое равнодушие, за черствость, за хамство, за проклятый эгоизм по отношению к тетке Аглае. Он сказал себе слова куда похлеще, чем давеча говорила ему Варя».

Куда же поведет автор своего Володю, которого он очень любит? Оставить его таким, как он есть, невозможно. Не похоже, чтобы Володя утвердился в своей непримиримости и стал «сектантом-самосжигателем». В конце первой книги Володя отправляется на фронт. А где же как не на фронте возможен пересмотр своего отношения ко всему?

Среди рассказов хочется отметить три рассказа: «Мраморная», Н. Алфеева, «Сестры» В. Чубаковой, «На льдине» П. Губанова. Они объединены общим заголовком «Первые рассказы». Но их объединяет и нечто другое. Как и большинство стихов молодых авторов, рассказы эти «вневременные». О чем они? Прежде всего о людях. О человеческих чувствах, о человеческих взаимоотношениях. Эти люди живут в Советском Союзе, они труженики. Но не это главное. Главное — души этих людей. Авторы никого не обличают, никого не поучают. И хотя сюжеты рассказов раз-

ные, их можно объединить одним понятием — человечность.

Иностранная литература представлена в журнале весьма небогато, главным образом, поэтами из стран «народных демократий».

Разделы «публицистика», «наука», «искусство» также занимают немного места в журнале.

Критике и библиографии уделено в журнале достаточно внимания. На статьях, посвященных отдельным произведениям, останавливаться нет возможности. Но о статьях более общего характера необходимо сказать несколько слов.

В Секретариате правления Союза писателей СССР, при обсуждении работы печатных органов Союза в декабре 1957 года, Н. Онуфриев обрушился на многие литературно-критические статьи журнала «за их теоретическую «отвлечённость», нечеткость позиции в постановке важных проблем социалистического реализма, за проявляющийся в них порой заушательский тон критики». («Литературная газета» № 105, 1957 г.).

В газете не указаны все статьи, которые критиковал Онуфриев, но он конечно прав, говоря об «отвлеченности» и «нечеткости позиций». А может ли быть иначе? Ведь положение литературных критиков теперь не завидное. Проявишь некоторую терпимость в отношении «идейно-порочных» или «ущербных» произведений — обвинят в нигилизме и ревизионизме. Раскритикуешь похестче — обвинят в догматизме или заушательстве. Ведь сорвался Софронов со своими статьями «Во сне и на яву». Вот критики и вынуждены блуждать в поисках нужной линии. А какая в блуждании может быть «четкость позиций»? Такие статьи как «В защиту реалистической эстетики» В. Днепров, «В спорах о реализме» Д. Томарченко, «Свет и тени» А. Эльяшевича, «О «верстовых столбах» и образе героя» Т. Наполовой и многие другие — все это образцы блуждания. В некоторых из них, например, в статье Днепров, даже трудно понять, чего хочет автор. Ряд других статей можно было бы объединить под общим заглавием «В поисках рецепта». Авторы этих статей утверждают, что по старым рецептам писать нельзя, да и вообще по рецепту писать не следует, но и писать

как кому вздумается, тоже нельзя. Вот и начинаются бесконечные рассуждения о положительных и отрицательных персонажах, в соотношении сил добра и зла, об облике героя и т. п.

Раздел «Воспоминания» довольно обширен, но охватывает главным образом предоктябрьские, октябрьские дни и отчасти гражданскую войну. Единственное исключение — «Встречи с Куприным» Н. Вержбицкого. Автор описывает ряд встреч с писателем как в дореволюционное время, так и после возвращения Куприна в Советский Союз.

Интересны, несмотря на явную тенденциозность, воспоминания о восстании юнкеров Владимирского военного училища 29 октября старого стиля, 1917 г., И. Кремлева, бывшего в то время юнкером. Кремлев, уже тогда примкнувший к большевикам, был назначен Военно-революционным комитетом комиссаром училища и в ночь на 29 октября был арестован восставшими юнкерами.

Интересны воспоминания генерала М. Д. Бонч-Бруевича, охватывающие период от октября 1917 г. по июль 1919 г. Напечатаны они в литературной записи И. Кремлева и конечно соответствующим образом «отредактированы». В них несколько раз упоминается Троцкий. И вот Троцкий предстает перед нами не в образе предателя, интригана, прислужника мирового империализма и агента всех разведок, а в образе не то мифологического Нарцисса, не то придворного одного из королей Франции: «Надменный Троцкий», «упоенный своей известностью и славой», «был настолько самовлюблен и упоен своей стремительной политической карьерой, что утерял правильное представление об окружающем». Троцкий, принимающий «столь свойственную ему позу этакое разочарованного Чайльд-Гарольда». А на заседании Реввоенсовета в июле 1919 года, заседании очень важном и бурном, Троцкий «сидел с томиком французского романа в руках и, скучая, лениво разрезал страницы». Кто был в это время председателем Реввоенсовета — остается неизвестным.

Почти каждый номер журнала оканчивается «Горестными заметками», автор которых обычно скрывается под псевдонимом «читатель-писатель», некоторые же подписаны полной фамилией

или инициалами. В большинстве случаев эти «заметы» знакомят нас с грубыми ошибками, неточностями, несуразностями, которые встречаются во многих книгах. Но можно в них найти и более интересные сведения. Можно, например, узнать, что известный юморист Л. Ленч не гнушается плагиатом, что не менее известный критик В. Назаренко рецензирует роман, не дочитав его до конца. Нельзя не развеселиться, узнав, что в Ленинграде вышел сборник лекций под названием «За здоровый быт», где среди ряда лекций на разные темы, находится лекция «о манерах хорошего тона», в которой автор поучает, что «женщина должна содержать в абсолютном порядке прежде всего прическу, ноги, обувь, сумку и перчатки», а «суп едят только ложкой». Правда, веселье сменяется горечью, когда узнаешь, что этот сборник издан Ленинградским отделением Общества по распространению политических и научных знаний, а автор лекции — кандидат философских наук. И невольно сочувствуешь «читателю-писателю», который, прочитав лекцию о манерах хорошего тона, ужаснулся: «а что если у ее автора, кандидата философских наук Н. С. Гордиенко, имеются еще и другие труды и, упаси Боже, даже по вопросам философии. А что если и они написаны на том же культурном уровне и тем же изящным слогом?»

Наиболее интересна из «Горестных замет» — заметка «Бедные люди», подписанная инициалами А. Н. Вначале приводятся два разных суждения о романе Ф. М. Достоевского «Бедные люди». Причем, это не просто разная оценка романа или подход к нему с различных точек зрения. Это мнения абсолютно противоположные, одно опровергающее другое. Затем мы узнаем, что оба суждения принадлежат перу одного и того же автора — известного литературоведа В. В. Ермилова. Только первое, громя-

щее, взято из его книги «Н. В. Гоголь», изданной в 1953 году, а второе, хвалебное, из его книги «Ф. М. Достоевский», изданной в 1956 году.

И если в 1953 году Ермилов считал, что Достоевский в «Бедных людях» «уже отступал от гоголевских традиций», то по мнению Ермилова 1956 года в «Бедных людях» «блистательно продолжалась гоголевская школа». Если в 1953 году Ермилов был убежден в том, что в романе «намечается возможность того искажения великих гуманистических и реалистических традиций русской литературы, которое впоследствии привело Достоевского к измене этим традициям», то в 1956 году Ермилов уже считает, что «автор «Бедных людей» настолько обогатил и развил гуманистическую и реалистическую традицию, установленную его учителями, что сразу же утвердился как писатель самостоятельный, со своим, новым словом». Автор заметки не делает никаких выводов. Да и нужны ли они? Не является ли сопоставление годов изданий убийственным выводом не только в отношении Ермилова, но и в отношении многих писателей и критиков?

Каковы же планы редакции журнала на 1958 год? На это отвечает главный редактор журнала Г. Холопов на страницах «Литературной газеты» № 2 1958 года: «Выступления тов. Н. С. Хрущева «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа» дают глубокий партийный анализ современного состояния литературы и искусства, определяют ясную перспективу их развития. Они обязывают нас работать по-новому».

В частности Г. Холопов обещает: «По разделу критики редакция значительное место уделит разработке основных проблем социалистического реализма, борьбе с влиянием буржуазной идеологии».

И. Гусев

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

(ОКТАБРЬ — ДЕКАБРЬ 1957 ГОДА)

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Информационное сообщение.

О Пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза.

В конце октября с. г. состоялся Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза.

Пленум обсудил вопрос об улучшении партийно-политической работы в Советской Армии и Флоте.

Пленум принял соответствующее постановление, которое сегодня публикуется.

Пленум вывел из состава членов Президиума ЦК и из членов ЦК КПСС т. Жукова Г. К.

Постановление пленума ЦК КПСС.

Об улучшении партийно-политической работы в Советской Армии и Флоте.

Вооруженные Силы Советского Союза, одержав всемирно-историческую победу в Великой Отечественной войне, оказались на высоте своих задач и с честью оправдали любовь и доверие народов СССР.

В послевоенные годы благодаря заботам Коммунистической партии и Советского Правительства, на основе общего подъема народного хозяйства нашей страны, крупных успехов в развитии тяжелой промышленности, науки и техники, Вооруженные Силы СССР поднялись на новую более высокую ступень в своем развитии они оснащены всеми видами современной боевой техники и вооружения, в том числе атомным и термоядерным оружием и ракетной техни-

кой. Политико-моральное состояние войск находится на высоком уровне. Командные и политические кадры Армии и Флота беспредельно преданы своему народу, Советской Родине и Коммунистической партии.

Сложная международная обстановка, гонка вооружений в основных капиталистических странах, интересы защиты нашей Родины требуют от командиров, политорганов и партийных организаций и впредь неустанно совершенствовать боевую готовность войск, укреплять воинскую дисциплину среди личного состава, воспитывать его в духе преданности Родине, Коммунистической партии, заботиться об удовлетворении духовных и материальных потребностей воинов.

Пленум ЦК КПСС считает, что в решении этих задач приобретает особо важное значение дальнейшее улучшение партийно-политической работы в Советской Армии и на Флоте, призванной укреплять боевую мощь наших Вооруженных Сил, сплачивать личный состав вокруг Коммунистической партии и Советского Правительства, воспитывать военнотружущих в духе беззаветной преданности Советской Родине, в духе дружбы народов СССР и пролетарского интернационализма. Между тем в практике партийно-политической работы имеются еще серьезные недостатки, а иногда проявляется и прямая недооценка ее.

XX съезд КПСС поставил перед Партией и народом задачу: держать нашу оборону на уровне современной военной техники и науки, обеспечить безопас-

ность нашего социалистического государства. В решении этой задачи наряду с командирами-единоначальниками важная роль принадлежит Военным Советам, политическим органам и партийным организациям Армии и Флота. Все они должны твердо и последовательно проводить в жизнь политику Коммунистической партии.

Главный источник могущества нашей Армии и Флота состоит в том, что их организатором, руководителем и воспитателем является Коммунистическая партия — руководящая и направляющая сила Советского общества. Следует всегда помнить указание В. И. Ленина о том, что «политика военного ведомства, как и всех других ведомств и учреждений, ведется на точном основании общих директив, даваемых партий в лице ее Центрального Комитета и под его непосредственным контролем».

Пленум ЦК КПСС отмечает, что за последнее время бывший Министр обороны т. Жуков Г. К. нарушал ленинские, партийные принципы руководства Вооруженными Силами, проводил линию на свертывание работы партийных организаций, политорганов и Военных Советов, на ликвидацию руководства и контроля над Армией и Военно-Морским Флотом со стороны Партии, ее ЦК и Правительства.

Пленум ЦК установил, что при личном участии т. Жукова Г. К. в Советской Армии стал насаждаться культ его личности. При содействии угодников и подхалимов его начали превозносить в лекциях и докладах, в статьях, кинофильмах, брошюрах, непомерно возвеличивая его персону и его роль в Великой Отечественной войне. Тем самым в угоду т. Жукову Г. К. искажалась подлинная история войны, извращалось фактическое положение дел, умалались гигантские усилия советского народа, героизм всех наших Вооруженных Сил, роль командиров и политработников, военное искусство командующих фронтами, армиями, флотами, руководящая и вдохновляющая роль Коммунистической партии Советского Союза.

Партия и Правительство высоко оценили заслуги т. Жукова Г. К., присвоив

ему звание Маршала Советского Союза, удостоив звания четырежды Героя Советского Союза, наградив многими орденами. Ему было оказано большое политическое доверие: на XX съезде Партии он был избран членом ЦК КПСС. ЦК КПСС избрал его кандидатом в члены Президиума ЦК, а позднее — членом Президиума ЦК КПСС. Но т. Жуков Г. К., в результате недостаточной партийности, неправильно поняв эту высокую оценку его заслуг, потерял партийную скромность, которой учил нас В. И. Ленин, возомнил, что он является единственным героем всех побед, достигнутых нашим народом и его Вооруженными Силами под руководством Коммунистической партии, грубо нарушал ленинские, партийные принципы руководства Вооруженными Силами.

Таким образом т. Жуков Г. К. не оправдал оказанного ему Партией доверия. Он оказался политически несостоятельным деятелем, склонным к авантюризму как в понимании важнейших задач внешней политики Советского Союза, так и в руководстве Министерством обороны.

В связи с вышеизложенным Пленум ЦК КПСС постановил: вывести т. Жукова Г. К. из состава членов Президиума и членов ЦК КПСС и поручил Секретариату ЦК КПСС предоставить т. Жукову другую работу.

*

Пленум Центрального Комитета КПСС выражает уверенность в том, что партийные организации, выполняя решения XX съезда КПСС, будут и впредь направлять свои усилия на дальнейшее укрепление обороноспособности нашего социалистического государства.

(Принято единогласно всеми членами Центрального Комитета, кандидатами в члены Центрального Комитета, членами Центральной Ревизионной Комиссии и одобрено всеми присутствовавшими на Пленуме ЦК военными работниками и ответственными партийными и советскими работниками).

(«Правда» № 307 от 3 ноября).

ХРОНИКА

1 октября. Приветствие Президиума Верховного Совета СССР, Совета министров СССР и ЦК КПСС Верховному совету Якутской АССР, Совету министров Якутской АССР и Якутскому обкому КПСС по случаю 325-летия добровольного вхождения Якутии в состав Российского государства и награждение Якутской АССР орденом Ленина.

(«Правда» № 276 от 3 октября)

✱

4 октября. Сообщение ТАСС о запуске первого в мире искусственного спутника Земли.

(«Правда» № 278 от 5 октября)

✱

13 октября. Призывы ЦК КПСС к 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

(«Правда» № 286 от 13 октября)

✱

25 октября. Хроника. «В газете «Заря Востока» от 23 октября с. г. опубликовано сообщение о том, что Маршал Советского Союза Рокоссовский К. К. назначен командующим войсками Закавказского военного округа».

(«Правда» № 298 от 25 октября)

✱

27 октября. Хроника. «Президиум Верховного Совета СССР назначил маршала Советского Союза Малиновского Родиона Яковлевича Министром обороны СССР».

Президиум Верховного совета СССР освободил маршала Советского Союза Жукова Георгия Константиновича от обязанностей министра обороны СССР».

(«Правда» № 300 от 27 октября)

✱

1 ноября. Снижение государственных розничных цен на свинину, гусей и уток, в среднем на 14-15% на свинину и 12,5% на гусей и уток.

(«Правда» № 305 от 1 ноября)

✱

1 ноября. Указ Президиума Верховного совета СССР — «Об амнистии в ознаменование 40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции».

(«Правда» № 306 от 2 ноября)

✱

4 ноября. Сообщение ТАСС о запуске второго спутника Земли весом 508,3 кг. с подопытной собакой «Лайка».

(«Правда» № 308 от 4 ноября)

✱

6 ноября. К народам Советского Союза. Обращение Верховного Совета СССР (Москва, 6 ноября 1957 г.)

Доклад Н. С. Хрущева на юбилейной сессии Верховного Совета СССР 6 ноября 1957 г.

Обращение Верховного Совета СССР — «Ко всем трудящимся, политическим и общественным деятелям, представителям науки и культуры, парламентам и правительствам всех стран мира».

(«Правда» № 311 от 7 ноября)

✱

4 декабря. Указ президиума Верховного Совета СССР о переименовании Чкаловской области в Оренбургскую область и города Чкалова в город Оренбург.

(«Правда» № 339 от 5 декабря)

✱

15 декабря. Президиум Верховного Совета СССР упразднил общесоюзные министерства СССР: авиационной промышленности, радиотехнической промышленности и судостроительной промышленности и образовал следующие государственные комитеты Совета министров СССР: по авиационной технике, по оборонной технике, по радиотехнике, по судостроению.

Президиум Верховного Совета СССР назначил:

тов. Дементьева Петра Васильевича — председателем Государственного Комитета Совета министров СССР по авиационной технике;

тов. Домрачева Александра Васильевича — по оборонной технике;

тов. Калмыкова Валерия Дмитриевича — по радиотехнике;

тов. Бутома Бориса Евстафьевича — по судостроению;

тов. Устинова Дмитрия Федоровича — заместителем председателя Совета министров СССР.

(«Правда» № 349 от 15 декабря)

*

16-17 декабря. Информационное Сообщение о пленуме ЦК КПСС:

1. Об итогах Совещаний представителей коммунистических и рабочих партий (докладчик Сулов М. А.);

2. О работе профессиональных союзов СССР (докладчик Гришин В. В.).

(«Правда» № 353 от 19 декабря)

*

19 декабря. Доклад заместителя председателя Совета министров СССР, председателя Госплана СССР депутата И. И. Кузьмина — О государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1958 год на заседании Верховного совета СССР.

Доклад министра финансов СССР депутата А. Г. Зверева — О государственном бюджете СССР на 1958 год и об исполнении государственного бюджета СССР за 1956 год на заседании Верховного Совета СССР.

Подписание соглашения о расширении товарооборота между СССР и Сирийской Республикой.

(«Правда» № 354 от 20 декабря)

*

20 декабря. Принятие Верховным советом СССР закона «О Государственном бюджете СССР на 1958 год».

Указ Президиума Верховного Совета СССР — Об отмене взимания налогов на холостяков, одиноких малосемейных граждан СССР с рабочих, служа-

щих и других граждан, имеющих детей, а также с одиноких женщин, не имеющих детей (от 18 декабря 1957 г.).

(«Правда» № 355 от 21 декабря)

*

22 декабря. Работникам государственной безопасности СССР — приветствие к 40-летию ЦК КПСС и Совета министров СССР.

О награждениях советских ученых, конструкторов, инженеров и рабочих, создавших и запустивших первых в мире искусственных спутников Земли и о сооружении в Москве в 1958 году обелиска в ознаменование создания и запуска первых спутников Земли.

(«Правда» № 356 от 22 декабря)

*

24 декабря. Приветствие ЦК КПСС, президиума Верховного Совета СССР и Совета министров СССР ЦК КП Украины, президиуму Верховного Совета УССР и Совету министров УССР в связи с 40-летием установления советской власти на Украине.

Доклад первого секретаря ЦК КП Украины тов. А. И. Кириченко и речь тов. Н. С. Хрущева на юбилейной сессии Верховного Совета Украины.

(«Правда» № 359 от 25 декабря)

*

28 декабря. Указ президиума Верховного Совета СССР о проведении выборов в Верховный Совет СССР 16 марта 1958 года.

(«Правда» № 363 от 29 декабря)

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

1 октября. Сообщение об освобождении Фириубина Н. П. от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла СССР в ФНР Югославии и назначении его заместителем министра иностранных дел СССР. О назначении вместо него в Югославию Замчевского Ивана Константиновича.

(«Правда» № 274 от 1 октября)

*

7 октября. Беседа Н. С. Хрущева с главным дипломатическим корреспон-

дентом газеты «Нью-Йорк таймс» Дж. Рестомом.

(«Правда» № 281 и № 284 от 8 и 11 октября)

*

16 октября. Послание ЦК КПСС Исполнительному Комитету лейбористской партии Великобритании.

То же Центральному Правлению Норвежской Рабочей партии.

(«Правда» № 289 от 16 октября)

*

17 октября. Послание ЦК КПСС Руководящему Комитету французской социалистической партии (СФИО).

Опровержение ТАСС сообщений иностранной прессы о намерении СССР создать военно-морскую базу в Сирии, около Латакии.

(«Правда» № 290 от 17 октября)

*

19 октября. Заявление ТАСС по вопросу о Сирии.

(«Правда» № 292 от 19 октября)

*

20 октября. Обмен посланиями между премьер-министром Японии Н. Киси и председателем Совета министров СССР Н. А. Булганиным (от 24 сентября и 15 октября 1957 г.).

(«Правда» № 293 от 20 октября)

*

26 октября. Сообщение о назначении Пономаренко П. К. чрезвычайным и полномочным послом СССР в Индии и в Непале по совместительству.

Меньшиков М. А. освобожден от той же должности в связи с переходом на другую работу.

(«Правда» № 299 от 26 октября)

*

31 октября. Положение в партии и в стране. Доклад первого секретаря ЦК КП тов. Владислава Гомулки на X пленуме ЦК КП 24 октября 1957 года.

(«Правда» № 304 от 31 октября)

*

13 ноября. Смерть президента чехословацкой республики, члена политбюро ЦК КП Чехословакии Антонина Запотоцкого.

Извещения от ЦК КПСС, президиума Верховного Совета СССР и Совета министров СССР.

(«Правда» № 318 от 14 ноября)

*

14 ноября. Беседа Н. С. Хрущева с корреспондентом американского агентства Юнайтед пресс Генри Шапиро.

(«Правда» № 323 от 19 ноября)

*

14-16 ноября. Совещание представителей коммунистических и рабочих партий социалистических стран в Москве. Декларация Совещания.

(«Правда» № 326 от 22 ноября)

*

19 ноября. Встреча руководителей советского правительства с представителем президента Египта военным министром генералом Амером (прием в Кремле и обмен речами Н. А. Булганина и ген. Амера).

(«Правда» № 324 от 20 ноября)

*

16-19 ноября. Совещание представителей коммунистических и рабочих партий 64 стран в Москве. Манифест мира.

(«Правда» № 327 от 23 ноября)

*

18 ноября. Беседа Н. С. Хрущева с главным редактором египетской газеты «Аль-Ахрам» Мохаммедом Хассанейном Хейкалом.

(«Правда» № 330 от 26 ноября)

*

22 ноября. Обмен Посланиями между председателем Совета министров СССР Н. А. Булганиным и премьер-министром Турции А. Мендересом.

(«Правда» № 331 от 27 ноября)

*

22 ноября. Беседа Н. С. Хрущева с главой газетно-издательского треста В. Р. Херстом.

(«Правда» № 333 от 29 ноября)

*

29 ноября. Доклад В. Гомулки на собрании партийного актива в Варшаве (отчет о поездке в Москву на Октябрьские торжества).

(«Правда» № 334 от 30 ноября)

*

30 ноября. Прием в Кремле в честь китайской военной делегации (обмен речами Н. А. Булганина и Тын Дэ-хуая).

(«Правда» № 335 от 1 декабря)

*

5 декабря. Нота советского правительства правительству Японии (по вопросу о прекращении испытаний атомного и водородного оружия).

(«Правда» № 341 от 7 декабря)

*

10 декабря. Обмен посланиями между председателем Совета министров СССР Н. А. Булганиным и премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру (по вопросу о прекращении испытаний атомного и водородного оружия).

(«Правда» № 345 от 2 декабря)

*

10 декабря. Послание представителя Совета министров СССР Н. А. Булганина президенту Соединенных Штатов Америки Дуайту Д. Эйзенхауэру (к сессии НАТО 16 декабря).

То же — Федеральному канцлеру Федеративной Республики Германии К. Аденауэру.

(«Правда» № 346 от 12 декабря)

*

11 декабря. То же — премьер-министру Великобритании Г. Макмиллану.

То же — председателю Совета министров французской Республики Ф. Гайяру.

Нота Советского правительства правительствам государств-членов Организации Объединенных Наций.

(«Правда» № 347 от 13 декабря)

*

13 декабря. Послание председателя Совета министров СССР Н. А. Булганина премьер-министру Турции А. Мендересу.

То же — председателю Совета министров Итальянской Республики А. Дзоли.

То же — премьер-министру Норвегии Э. Герхардсену.

(«Правда» № 348 от 14 декабря)

*

14 декабря. Прием в Кремле в честь правительственной делегации Сирийской Республики (с обменом речами Н. А. Булганина и Халеда эль-Азема).

Послание председателя Совета министров СССР Н. А. Булганина премьер-министру Дании Х. К. Хансену.

То же — премьер-министру Канады Д. Дифенбейху.

То же — премьер-министру Греции К. Кармаклису.

То же — премьер-министру Бельгии А. Ван Акеру.

(«Правда» № 349 от 15 декабря)

*

11-14 декабря. Послание председателя Совета министров СССР Н. А. Булганина премьер-министру Нидерландов В. Дрейсу.

То же — премьер-министру Исландии Г. Ионассону.

То же — председателю правительства Люксембурга Ж. Бешу.

*

19 декабря. Советско-Сирийское коммюнике о результатах переговоров с 10 по 20 декабря.

(«Правда» № 355 от 21 декабря)

*

19 декабря. Беседа Н. С. Хрущева с главным редактором английской газеты «Дейли экспресс» Э. Пикерингом.

(«Правда» № 358 от 24 декабря)

*

21 декабря. Заявление министра иностранных дел СССР А. А. Громыко и речь Н. С. Хрущева на сессии Верховного Совета СССР.

Постановление Верховного Совета СССР по вопросам внешней политики Советского правительства.

(«Правда» № 356 от 22 декабря)

*

26 декабря. Открытие в Каире конференции солидарности народов Азии и Африки.

Copyright by „Possev“

Главный редактор **Е. Р. Романов**

Заместитель главного редактора **Н. Б. Тарасова**

Редакционная коллегия:

А. Н. Артемов, А. Н. Неймирок, А. И. Попплюко, А. С. Светов.

Адрес редакции журнала «Грани»:
Possev-Verlag, Frankfurt/M., Merianstr. 24-a

Druck: Possev-Verlag, V. Goraschek K. G., Frankfurt Main.

Обращение российского антикоммунистического издательства «Посев»

К ДЕЯТЕЛЯМ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И НАУКИ ПОРАБОЩЕННОЙ РОССИИ

Доводим до сведения писателей, поэтов, журналистов и ученых, не могущих опубликовать свои труды у нас на родине из-за партийной цензуры, — что российское революционное издательство «П О С Е В», находящееся в настоящее время во Франкфурте на Майне, предоставляет им эту возможность.

Беллетристические произведения, сборники стихотворений, статей и научные труды могут быть изданы отдельными книгами.

Повести, романы, рассказы, стихотворения, литературоведческие, публицистические, философские и научные статьи принимает редакция журнала литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли «Г Р А Н И».

Политические и публицистические статьи охотно будут приняты в редакцию еженедельника общественно-политической мысли «П О С Е В», голоса российского революционного движения.

Антикоммунистические материалы пропагандного характера могут быть изданы в виде листовок и отдельных брошюр или же использованы в ряде революционно-фронтовых изданий, как, например, в газетах «Вахта свободы», «Правда солдата», «Посев» (уменьшенного формата), сборник «Наши дни».

УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСТВА «П О С Е В»

1. Редакции журнала «Г Р А Н И», газеты «П О С Е В» и фронтовых изданий пропагандно-революционного характера принимают рукописи, подписанные псевдонимами.

2. Вышеназванные редакции, как и само издательство, обязуются немедленно п е р е п е ч а т ы в а т ь присланные рукописи на своих пишущих машинках, чтобы уничтожить малейшую возможность установить личность автора по почерку или по шрифту машинки. После

перепечатки рукописи будут уничтожены. Издательство «П О С Е В» гарантирует, что ни одна рукопись не попадет в чужие руки.

3. Все права на рукописи автор передает издательству «П О С Е В», включая сюда разрешение переводить их на иностранные языки и печатать в любых странах за рубежом. Право на заключение договоров с иностранными издательствами также передается авторами издательству «П О С Е В».

4. Издательство «П О С Е В» обязуется откладывать на имя автора (указанный псевдоним) гонорар в соответствии с установленными в редакциях журнала и газет правилами. Деньги будут храниться в издательстве до того времени, когда автор найдет возможность их получить.

Примечание: В связи с этим, во избежание возможных недоразумений и затруднений, издательство «П О С Е В» обращается с просьбой к авторам вместе с рукописью присылать и свой пароль, по которому автор легко сможет доказать свою идентичность с псевдонимом, данным им в рукописи.

5. Чистый доход от издания беллетристических произведений или научных трудов как на русском, так и на иностранных языках поступает в размере 40% в пользу автора. Остальные 60% предназначаются в фонд издательства «П О С Е В» для расширения печатной базы и покрытия расходов по изданию тех политических материалов (книг, брошюр, листовок), которые, играя важную роль в борьбе с коммунистической властью, не могут принести коммерческого дохода. В это же понятие входит бесплатное распространение в СССР через подпольные каналы НТС (Народно-Трудового Союза) целого ряда книг, в том числе и произведений данного автора.

6. В том случае, когда присланная в издательство «П О С Е В» рукопись по своему профилю или по политической направленности не сможет быть помещена в вышеуказанных изданиях, издательство «П О С Е В» обязуется пересылать ее в те печатные органы за границей, которые будут соответствовать политическому профилю данной рукописи. Научные труды в аналогичном случае будут пересылаться издательством как в русские научные, так и иностранные журналы.

7. Не принятые по каким-либо причинам рукописи по обязательству издательства «П О С Е В» в перепечатанном виде будут храниться до того времени, пока автор не найдет возможным затребовать их обратно.

ЧЕРЕЗ КОГО ПЕРЕСЫЛАТЬ РУКОПИСИ ИЗ СССР В ИЗДАТЕЛЬСТВО «П О С Е В»?

А) Через моряков торгового и военного флота, плавающих в иностранных водах.

Б) Через туристов, посещающих государства свободного мира.

В) Через членов различных многочисленных делегаций: научных, спортивных, артистических и прочих, выезжающих организованным порядком из СССР за границу.

Примечание: Во всех этих случаях необходимо иметь доверенное лицо или личного друга, который не подведет и не предаст.

Г) Через иностранных туристов, посещающих СССР: артистов, спортсменов, ученых, моряков. При этом необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не обратиться по ошибке к иностранному коммунисту или к «сочувствующему» подхалиму коммунистической власти.

Д) Через иностранные посольства — при имеющихся определенных связях и возможностях. И в этом случае требуется соблюдение осторожности, т. к. за помещениями иностранных посольств ведется наблюдение со стороны МГБ.

На передаваемой рукописи указать следующий адрес:

Possev-Verlag

Frankfurt am Main

Merianstrasse 24 a

Издательство «П О С Е В»

Франкфурт на Майне

Мерианштрассе 24 а

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ РУКОПИСИ ЗА РУБЕЖОМ

Для тех, кто привезет рукопись за границу, имеется два пути ее дальнейшей отправки по месту назначения:

1. Из рук в руки.

Члены НТС имеются во всех европейских странах. Почти каждый пароход или делегация из СССР встречаются ими не только в Европе, но и на других континентах: в Австралии, США, странах Южной Америки, Канаде, Северной Африке и пр.

В связи с этим, приехавший за границу имеет возможность связаться непосредственно с членом НТС и передать ему рукопись из рук в руки, указав в устной форме все свои пожелания.

2. По почте.

Для этого требуется надписать на пакете указанный адрес издательства «П О С Е В» и бросить в любой почтовый ящик любого (некоммунистического) государства.

В случае, когда покупка почтовых марок явится затруднительной или рискованной, можно посылать пакет без марок. Рукопись все равно дойдет по адресу, почтовые же расходы по ее отправке в этом варианте оплачивает получатель — издательство «П О С Е В».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ

**ПИСАТЕЛИ, ПОЭТЫ, ЖУРНАЛИСТЫ, УЧЕНЫЕ, СТУДЕНТЫ,
АРТИСТЫ!**

ПИШИТЕ В СВОБОДНОЙ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЕ!

Участвуйте в духовной революции нашей Родины — РОССИИ!

Активно, свободно и горячо выражайте подлинное общественное и политическое мнение всей страны!

На российскую интеллигенцию возлагается историей ответственной задачей — стать свободным рупором нашего народа, его стремлений, чаяний, борьбы.

За свободное творчество!

За свободную Россию!

С дружеским приветом

Издательство «П О С Е В»

Цена 6 марок (6 DM)
